

Министерство культуры Самарской области
и Самарская областная писательская организация
представляют в проекте
«Народная библиотека Самарской губернии»
книгу

Дмитрий Ахметшин

Туда, где седой монгол

Роман



Русское эхо
2014

Ахметшин Д.А.

А 95 Туда, где седой монгол: Роман. — Самара: Русское эхо, 2014. — 240 с.

ISBN 978-5-904319-73-1

Дмитрий Ахметшин родился в 1987 году в г. Самаре. По образованию — инженер-схемотехник. Первая проба пера была в двенадцать лет, первое серьёзное произведение закончено в девятнадцать. С тех пор накрепко связал себя с литературой. Кандидат в члены Союза писателей России. Живёт в г. Самаре.

Это первая книга молодого автора. Роман «Туда, где седой монгол» вышел в финал всероссийской литературной премии «Дебют» в 2013 году. В этом же году был опубликован в журнале «Русское Эхо» и стал лауреатом журнала по итогам года.

Глава 1. Наран

Наран проснулся оттого, что снова зачесалось лицо.

Сон упорхнул вверх, к отверстию в юрте, стал одной из звёзд. Мальчик лежал, разглядывая полог юрты и выжидая, пока уляжется зверь, который две минуты назад шершавым и болезненным языком вылизывал его лицо. Небосвод качнулся в сторону рассвета — Наран заметил хвост бегущей собаки из четырёх мелких, похожих на семена мака, звёздочек и соцветие из трёх крупных звёзд, относящееся к созвездию соцветия полыни.

Наконец поднял руку и как можно более отстранённо, чтобы не почувал зверь, потрогал лицо. Шрамы никуда не делись. Один пересекал щёку и левую глазницу, другой, располовинив ухо, исчезал и возникал вновь безобразными бороздами на шее. Провёл пальцем по единственному усу, бегущему по левой ото рта стороне, словно тоненькая струйка крови. Справа что-то повредилось, и, когда пришло время, волоски там так и не показались. Было время, Наран считал отсутствие одного уса главным своим увечьем — теперь же свыкся, как свыкается хромой от рождения с неспособностью бегать.

Чаще всего зверь приходил к нему в виде крота с морщинистым розоватым телом, покрытым короткой шёрсткой. Крот становился ему на грудь, когти оставляли под кадыком вмятины, как будто Наран был не из мяса и костей, а из сырой глины. Грудь сдавливало так, будто на неё наступила лошадь. Точно такое же чувство было, когда бешеная лисица едва не вырвала вместе с рёбрами лёгкое.

Из маленькой пласти выпадал неожиданно большой язык.словно большой плоский червь, он полз по щекам мальчика, сдирая кожу и впитывая в себя сукровицу, а тот лежал и боялся пошевелиться. Вдруг животному приспичит вцепиться зубами ему в нос?..

Во сне шрамов не было, но по пробуждении он их неизменно находил — старые и уродливые, отчаянно чешущиеся под загрубевшей коркой, в которую превратилась кожа.

В шатре ещё все спали, и дыхание сна смешивалось с остывающими углями. Наран как младший сын не имел пока ещё права на собственный шатёр и потому ютился в семейном, возле самой перегородки, что отделяла мужскую половину от половины для жён и дочерей. Несмотря на то, что был уже взрослым по меркам кочевых племён. Шатёр будет спит ему силами айла, когда хотя бы одна жена родит ему хотя бы одного сына.

Пока же у Нарана не то, что сына, — жены не было. В его положении завести её было не так-то просто.

Войлочная постель накопила за ночь тепло, лежать было приятно, и даже насекомые, обычно очень кусачие в начале ночи, угомонились. Страшный сон всё ещё свербел в носу свежим воспоминанием, и Наран решил не закрывать глаз и ещё немного полюбоваться на небо. Осенью, даже когда сезон дождей растает во рту Великой степи, будто спелая ягода или комочек снега, нечасто удаётся полюбоваться таким чистым небом.

— Мы, — говорили старики, — дети степи. Наш народ приручает другие народы, чтобы жить с ними в согласии. Народ овец даёт нам шерсть, народ коз и кобылиц — молоко, а жеребцы возят нас на своих спинах. Мы даём им организованность и крепкую руку, на которую они всегда могут положиться.

Наши лица плоские, как степь. Мы и есть отражение степи, мы и есть её любимые дети.

Наран часто думал, что теперь он не похож на дитя степи. Мама-степь не может быть так уродлива, её не могут пересекать столько оврагов и пучить, как живот больного младенца, столько всхолмий. Плавного течения её рек не вправе нарушить никто. Она не может вонять гнилым мясом.

В первые дни после несчастья Наран думал: может, мама-степь не примет его обратно, и быстрый конь скинет его на землю. Или коршун выклюет второй глаз, и аил бросит его умирать на сырой земле. Но ничего такого не случилось.

Старики не слышали ни об одном подобном случае. В степи главным хищником был человек, на быстроногих конях носился он по её бескрайнему покрывалу. И ни один зверь не осмеливался подойти к грозным юртам, об которые спотыкал-

ся даже ветер, а солнце почтительно короновало их тенями, похожими на высокие меховые шапки.

Однако бешеная лисица, которую ради забавы решили загнать несколько мальчишек, об этом не знала. Поначалу охотники действительно видели только её хвост, рыжий с белым кончиком, и уже примерялись, кто ловчее может за него ухватить. На троих у них был тупой нож в ножнах и две палки, одна из которых была «счастливой», поскольку Наран сбил ей двух или трёх странников-голубей. Это слово он вырезал на палке, а ещё сделал отцовским кинжалом удобную ручку и вырезал простой узор, похожий на след, который остаётся в траве от убегающего зайца.

Лисица, обежав куст орешника, кинулась на своих преследователей. Друзья бросились врассыпную, побросав оружие, а Наран, не успевший сообразить, почему вместо лисьего хвоста перед лицом щёлкают лисьи клыки, грохнулся на спину.

Сначала она искусала руки. Кровь брызгала лисице на грудь, забрызгала ей все уши и оставила капли на языке в глубине раззявленного рта. Потом метнулась к груди, разорвав одежду и раскорябав до мяса всю правую половину тела. Может быть, её привлёк стук сердца, может быть, хрипкое дыхание. Наран заорал, и тогда она вознамерилась откусить ему язык, но промахнулась, и мальчик лишился уха, от которого остались только лоскуты.

Возможно, брат Тенгри, бог шутих, отметил тот ореховый куст какой-то своей меткой, потому как один из друзей Нарана, бросившийся было в слезах наутёк и случайно наткнувшийся на гибкие ветки, развернулся и через миг с голыми руками уже отдирает лисицу от Нарана.

Животное, словно сообразив, что эти двое несколько покрупнее полёвок, скрылось в кустах. Наран лежал до тех пор, пока друзья не привели помощь. Когда-то здесь прошёл табун, и под жухлой степной травой, под мелкими белыми цветами ромашки под лопатки ему вдавились отпечатки копыт. Наран навсегда запомнил это ощущение: жёсткая, уродливая, как карлик, земля под мягкими ромашками, и ты совсем не имеешь сил с неё встать или хотя бы чуть-чуть подвинуться.

Мальчик лежал и чудом уцелевшими глазами смотрел в небо. Было ясно, и ветер выскреб его, как воин своё оружие перед боем, от самых крошечных облаков, заточил солнечными лучами. На точки он поначалу не обратил внимания. Мо-

жет, тот же ветер несёт в вышине листья. Но больно странен их полёт... кружат и кружат над ним, две, нет, четыре точки, вот они приблизились и стали крестиками. Грифы.

Наран захотел зажмуриться, но с веками его что-то сделалось, так, что он не мог даже моргнуть. Если сейчас не придут взрослые или не вернутся друзья, падальщики расклюют ему лицо. Прodelают своими, похожими на топоры, клювами в черепе дыру и будут клевать мозг. И воспоминания его так же, по кусочкам, будут исчезать. Их растащат по разным уголкам степи птицы...

Прошла долгая, размазанная по предзакатному небу минута, и мальчик услышал хлопанье крыльев прямо рядом с собой. Двое ещё кружили, примериваясь ухватить землю когтями, а двое уже совсем рядом, хлопают крыльями и разрезают клювы. Наран сделал попытку пошевелить руками, но смог только приподнять кисть, зато рот наполнился рвотой. Трава беспокойно зашевелилась, и гриф отпрыгнул, движениями — ну точь-в-точь большой жирный перепел, но сразу же подскочил ближе, разглядывая свою жертву то одним глазом, то другим. Чуть поодаль опустился чеглок и принялся склёвывать оставшуюся после схватки на траве кровь — Наран стал наблюдать за ним уголком глаз, потому что следить за падальщиком было слишком страшно.

Мир вдруг зашатался, степь будто одеяло, с которого вздумали стряхнуть сор. Звук прокатился внутри черепа, как крик внутри тесного шатра. И только потом их, своих двух посыльных коней, догнала боль. Мальчик попробовал заорать, но только захлебнулся рвотой. Он видел голову грифа прямо над собой, облезлую и свалывшуюся шерсть на голове, маленькие чёрные глазки и такие же точки-ноздри. Вонь от клюва ударила по ноздрям тяжёлым кулаком, и он смог наконец закрыть глаза.

Это движение, единственное, в чём повиновалось ему сейчас тело, произвело неожиданно сильный эффект. Он услышал, как птица отпрыгнула, как тяжело захлопали крылья. И только потом до него докатился стук копыт и возбуждённые голоса. Казалось, этот звук шёл не из воздуха, а из земли, проникая в его голову через макушку.

Наран видел грифа в воздухе всю дорогу, когда его везли на спине коня в кочевье. Конь чувствовал запах крови, пыхтел и рвался с поводьев, но взгляд и остатки утонувшего в боли внимания мальчика были прикованы к птице. Её же он видел

через отверстие в юрте шаманов, когда лежал неподвижный и закутанный в одеяла, с компрессами на лице. Вновь и вновь обращал взгляд к небу и надеялся, что хищник наконец оставил его одного. Но потом стремительный полёт перечёркивал на миг круглое окошко-дымоход, и Наран отворачивался с тем, чтобы вновь с надеждой выглянуть во внешний мир через некоторое время.

Может быть, испробовав крови, этот падальщик решил, что они двое связаны навечно.

На четвёртый день у Нарана вытек левый глаз. Словно молоко из треснутой чашки или озеро, берега которого подпортило засухой. Этот глаз видел всё хуже и хуже, Нарану казалось, что он видит куда лучше сеточку голубых капилляров, чем то, что за ней, и наконец всё исчезло совсем.

Мама сидела рядом с ним, не отходя ни днём, ни ночью, её сёстры носили вымоченные в проточной воде компрессы и прикладывали целебные травы. Щёку зашивали нитками, вытянутыми из конских сухожилий. Ради этого пустили на мясо лучшего жеребца его отца, горного верхолаза редкой в этих краях породы, который должен был принадлежать, когда мальчик подрастёт, Нарану.

— Это был хороший конь. Потомок тех коней, которые ходят по горным тропам наравне с дикими баранами и смотрят в глаза Тенгри. У него самые крепкие и самые толстые жилы, ни у одного из наших степных коней такого нет. Это был мой любимый конь, но ты — мой любимый сын. Пусть теперь всё это будет в одном теле.

Отец говорил, что теперь у него будет сила жеребца. Что он сможет перекусывать и гнуть зубами железо, а питаться в походе ковылём. Что он сможет бежать без усталости три дня и две ночи. Что горы он сможет перескакивать с той же лёгкостью, что и ручейки.

На второй день начала слушаться челюсть. Язык осмелел и начал выползать из своей норки между уцелевшими зубами. На груди образовалась твёрдая, как рыба чешуя, корка, которая сошла только через два месяца.

Когда Наран набрался достаточно сил, чтобы подняться с войлочной постели, миновала зима. Настал период одурелых птичьих криков, разлившихся ручьёв, когда рыба, отродясь не водившаяся в тонких, как хвост трясогузки, степных речках, выпрыгивала из воды, чтобы блеснуть на весеннем солнце обновлённой чешуёй.

Как-то изменилось отношение к нему и у взрослых, и у детей. Получить шрам в схватке с диким зверем считалось очень почётным, но если ты ребёнок и у тебя половина лица в таких рубцах... Друзья-приятели его теперь побаивались, хотя с радостью бы, наверное, взяли в любую свою игру. Вот только Нарана не тянуло к детским играм.

Взрослые всё чаще звали его к костру. Отец сажал его к себе на колени, водил пальцами по зажившему обрубку уха. Когда отец был на охоте или же в дозоре, Наран всё равно коротал вечера у общего костра. Как пересохшая земля, впитывал в себя рассказы взрослых, считал, что тихо робеет в их обществе, сидя на коленях у отца или за спинами монголов, на самом краю света и тени, где власть чахлого степного костра сходила на нет, но скоро понял, что никакой робости, свойственной мальчишкам перед взрослыми мужчинами, не испытывал. Напротив, они испытывали перед ним какую-то скованность.

Паладьщик клюнул его в висок, и позже, когда шрамы зажили, Наран мог нащупать там большую отметину. Шаман, который зашивал ему раны, сказал:

— Это просто удивительно, что он не выклевал тебе оба глаза. Это знак Тенгри. Грифы стараются сразу выклевать глаза и добраться через глазницы до мозга. И даже гиены, живущие в пустынях на западе, суть дикие собаки, пытаются сразу перегрызть жертве горло.

Он рассматривал отметину, и кончики усов щекотали Нарану шею.

— Какой знак?

— Кто знает? Ты должен разгадать его сам.

— Я должен был быть съеден заживо, — сказал Наран. Спыхватился и задал в голосе плаксивые нотки.

Шаман выпрямился, украшения на его шее многозначительно звякнули. Он улыбнулся, и Наран увидел застрявшие с обеда в просветах между зубами волокна мяса. Зубов у него осталось всего ничего: четыре сверху и что-то около того снизу. Шаман уже достаточно старый, и Нарану подумалось, что по наслоившейся еде можно посчитать его возраст.

— Мы достаточно задабриваем Тенгри. Мы даём его идолам много жертвенного мяса, совершаем ежедневные поклонения. Сейчас уже не то голодное время, когда приходилось выбирать, отдать ли кости предпоследнего барана Тенгри или накормить двух умирающих женщин. Не-ет. Сейчас он не даст погибнуть сынам своего племени.

Наран вспомнил позапрошлую зиму — самую страшную зиму в его жизни и в жизни многих молодых из аила. Солнце не показывалось из-за туч целыми месяцами, с самой ранней осени, так, что дети помладше спорили, круглое оно или же квадратное. А совсем маленькие слушали рассказы стариков о белом глазе Тенгри, раскрыв рот, как будто сказки. Было очень холодно. Из-под снега давно уже всё было выедено, овцы и другой скот тощали без еды, но аил не смел тронуться с места. Потому что знали: тронутся — замёрзнут в дороге на-смерть. Стоило выйти из шатра, как начинала замерзать в венах кровь. Пока было чем жечь, жгли круглые сутки костры, а потом начали расширять входы и заходили прямо внутрь коней, чтобы можно было об них греться. У лошадей, что слабли настолько, что не могли больше даже стоять, резали жилы на шее и выпивали ещё горячую кровь.

За одну зиму стадо уменьшилось с сотни голов до четырёх десятков.

Мальчик не осмелился спросить шамана: с чего вдруг Тенгри решил пожалеть мальчишку, если совсем недавно не щадил ни людей, ни животных, настолько уверенный был его тон, настолько властные жесты.

Вместо этого Наран спросил о грифе. Их много носилось в безграничном пространстве над степями, и нельзя было взглянуть в небо без того, чтобы не увидеть одного из них, кружившего у самых усов великого Бога.

Наран не знал только, тот самый ли это гриф или какой-то другой, и следит он вовсе не за ним.

Шаман взялся за кончики своих усов и задумчиво потянул их в разные стороны. Усы у него были пышные, словно конские хвосты, и если бы шаман не был шаманом, что само по себе уже предмет для гордости, он гордился бы этими усами.

— Видишь ли, память у них устроена так, что складывается из частичек воспоминаний тех, кому он выклевал мозг. Таких мелких, как семена мака. Поэтому старые грифы часто забываются и начинают подражать коровам или лошадям, или мышам с кроликами. Или даже вести себя как люди. Ни одна из старых птиц не умирает своей смертью — всё либо от зубов степных собак, либо под копытами лошадей, когда пытаются затесаться в табун.

— Значит, он теперь помнит то же, что я?

Шаман взглянул на мальчика с иронией.

— Твои мозги вроде бы на месте. Этот гриф улетел в тёплый край, мальчик мой, к своему большому брату — Пустыне, которая даже зимой прокормит его мёртвым тушканом или сломавшим ногу верблюдом. Обратно он вернётся, но про тебя уже не вспомнит. Это не очень хорошая новость, если ты жаждешь мести, правда?

Наран помотал головой и ничего не сказал.

Небо в отверстии стало светлее, а угли, напротив, съежились, словно от холода, и распушили белую шерстку пепла. Хорошо было бы посмотреть, как Тенгри откроет свой один глаз и закроет второй — белый, и без того уже наполовину прикрытый веком. Редко когда верховный Бог наблюдает за ночным миром пристально и неусыпно, чаще всего жмурится в полудрёме, слушая дыхание спящих и шорохи ночных существ.

Наран потянулся к завязкам шатра, но остановился на полдороге. Незачем выпускать из шатра тепло. За это ему спасибо не скажут. А между тем этот день он должен провести так, чтобы не запомниться никому ничем дурным. Даже такой мелочи, как толика тепла в этом промозглom предугреннем мире, стоит уделить внимание.

Зверь угомонился, ушёл вместе с остатками сна, волоча за собой свой крошечный кротовый хвостик. Вот уже семь лет, как Наран носит на себе эти шрамы. Может, когда-нибудь удастся к ним привыкнуть, думал он пять лет назад. Три года назад его снедала злость. Думал, очень трудно с таким украшением найти себе жену. Он вырос среди этих людей, и они относились к нему с пониманием до тех пор, пока не приходили от его отца за их дочерьми сваты.

Год назад он решил: настанет время, когда я уйду из аила и спрошу обо всём самого Тенгри. Не этих бестолковых идолов, у которых в голове один большой пук травы, такой большой, что сухие стебли вылезают прямо изо рта, и не шаманов, которые подливают ему тёплого молока жалости, но и на миг не приближают его к истине.

А вот теперь подумал: дальше тянуть уже нет никаких сил.

— На севере, — говорили старики, — спина Йер-Су, матери-земли и первой кобылицы, покрывается болезненной коркой. Было время, когда степь простиралась и туда, но потом Тенгри, её всадник и любовник, решил проехаться верхом, посмотреть, как красиво низвергается водопадами вода с края мира. Дорога была дальняя, и на обратном пути от седла появились первые раны. А за ночь большие небесные оводы раску-

сали их ещё больше, до самого мяса. Рубцы эти заживают тысячелетия, и Йер-Су уже никогда не будет такой же красивой, как раньше. Гряда их тянется, доходили слухи, на север всё дальше и дальше, и только мистическое море, такое холодное, что целые глыбы льда плавают там, когда-то встаёт на их пути. Земля там кричит от боли, и где-то посреди этой болезненной корки можно найти торчащие наружу земляные кости.

Небо чаще, чем куда-либо, обращает туда своё лицо. И лицо его в эти моменты хмурится, и брови-тучи наползают на голубые глаза. Он обдувает землю ветрами, лечит её солнечными лучами.

«Наверное, моё место там, — думал Наран. — Я такой же изуродованный, как степь. Здоровое — ко здоровому, а больное к больному. Это естественный ток жизни».

Он думал и по-другому.

— Может быть, там я смогу поговорить с Тенгри, — говорил он своему другу, когда они вдвоём, бывало, уходили к табуну, посмотреть на лошадей, поиграть со следами копыт и отдохнуть от суеты аила.

Друга звали Урувай, и больше всего он походил на пузатого грызуна в середине осени, когда задняя и передняя его части несоразмерно разные. Серая шёрстка покрывала его руки, а на груди, бывало, застревали ниточки и ворсинки от войлока. И даже привычка складывать на груди кисти, казалось, досталась ему от какого-то животного. Вечно робкое выражение на лице, белые, трясущиеся губы. Урувай выделялся на фоне поджарых ловких сородичей ростом, размерами и неповоротливостью. С потрясающей непосредственностью он разливал драгоценную воду и робко улыбался потом, когда его бранили, падал с лошади так, будто это самое доступное из его развлечений. Получал по своей неуклюжести раны и смотрел потом на них со смесью страха, любопытства и восторга.

На речь друга Урувай жал плечами.

— На это есть шаманы. Твоя работа — всегда быть готовым натянуть лук, на зверя или на какого врага. Твоя забота — высекать искры копытами своего коня.

Наран улыбнулся: друг часто говорил так, как будто его устами говорят умершие песняры древности. С самого детства. Это звучало очень забавно. Каждый вечер он, подыгрывая себе на разных инструментах, рассказывает возле костра сказки и предания и весь следующий день говорит словами из этих сказок. Может быть, когда-нибудь сам станет слагать песни. Опи-

шет в них тяжёлую жизнь айла... и грядущее путешествие, в которое вот-вот сорвётся один маленький степной кот.

— Что, по-твоему, скажут старые? У нас мало людей, а ты хороший охотник.

Наран сидел, свесив между коленями ладони.

— Айлу не будет от меня никакого толку. Рано или поздно какой-нибудь дикий конь завершит начатое той лисицей. Или я погибну в каком-нибудь походе. Или меня унесёт река. И тогда все вздохнут с облегчением, хоть и будут для убедительности размазывать по лицу слёзы. Скажут: «Небесный завершил то, что не доделал десять зим назад. Это должно было случиться. Да. Должно было».

Урувай правильно истолковал интонацию в голосе друга. Он вскочил, и лошади шарахнулись от него в стороны.

— Я не позволю!.. Да и кто тебя отпустит! А? Кто? Или уйдёшь, как крыса, ночью, собрав в мешок еды и украв коня?

— Послушай меня, друг. Сядь и послушай.

Друг уже успокоился. Он всегда вспыхивал и угасал быстро, словно костёр на сильном ветру. Уселся. Наран, вскочивший было следом, опустил ся напротив, поджав под себя ноги. Сначала указал пальцем на живой глаз, потом, для пуцей убедительности, оттянул изуродованные веки.

— Я вижу вот этим глазом земной ковыль. Но вторым своим глазом я вижу ковыль небесный. Гриф целился не в глаза, но глаз мой всё равно унёс в своём зобе.

— Но твоё сердце здесь, в айле, — спокойно возразил Урувай.

Это был серьёзный довод. Тем не менее Наран помотал головой.

— Моё сердце горячее и молодое, а лицо — старика. Я хочу отправиться туда, где седой монгол греет руками раны своей возлюбленной. Откуда духи по имени «эхо» доносят твои слова и слёзы до самого Неба. Поэтому там можно говорить только правду, иначе тебя на месте убьёт молнией. Хочу просить Тенгри, чтобы он вернул мне прежний облик. Или, — Наран тайком оглянулся: нет ли рядом идолов? — чтобы забрал в свои небесные степи насовсем, потому что здесь мне не место. Понимаешь?

— Я буду плакать, когда ты уйдёшь, — сказал друг.

— Я отправлюсь в большое путешествие. Пойми, я чувствую, что тропы, которыми следует аил, больше не мои тропы. Там нет отпечатков ног моего коня.

— Ты такой уверенный. А я? Что я буду делать без тебя?

— Ты можешь отправиться со мной. Кочевье как-нибудь переживёт без твоих песен.

Урувай всплеснул руками. Посмотрел на ладони и вытер пот о бёдра.

— Давай поговорим об этом ещё раз завтра. Нет! Мы поговорим об этом послезавтра. Хотя лучше бы никогда. Я не хочу терять друга, но я не хочу терять и дом. Почему меня заставляют делать такой жестокий выбор? Кто его придумал? Не Верховный ли Бог?

Он опрокинулся на спину и затряс руками над лицом.

— Кто мне ответит?

— Он сам и ответит, — сказал Наран с улыбкой. — Поехали со мной, и ты тоже сможешь спросить, за что тебе дан такой жестокий выбор.

Урувай уронил руки.

— Я лучше спрошу у шаманов.

Наран выставил вперёд палец.

— Не смей. Если ты так поступишь, всё, что тебе останется — оплакивать нашу дружбу и скорбеть по ней, как по отброшенной копыта кляче.

На том закончился их откровенный разговор. Было самое начало лета, время для путешествия самое удачное, но тогда Наран так никуда и не тронулся. Идея отправиться в путь вызревала в нём и наливалась соком, как семечко ковыля. Его пробовали на прочность ветра, дёргая за волосы и бороду, пробовала на прочность земля, пытаясь выпить все соки обратно.

И вот теперь, в день начала настоящей осени, когда кончился сезон дождей и степная трава выцвела до равномерного-бурого оттенка, идея вызрела до самой сердцевины.

Наран больше не смог заснуть. Он дождался, когда дыхание спящих превратится в сонное предутреннее побряхтывание и зевки, и первым выбрался наружу.

Было уже светло. Вокруг стойбища бродили кони, и мальчишки-погонщики сгоняли их в табун. Были слышны их резкие крики да звук рассекающих воздух прутьев. Где-то раздували смоченные росой угли, из шатров вытаскивали просушенный навоз — лучшую пищу для огня. За две недели шатры, казалось, вросли корнями в землю, и земля пустила в них свои корни, пронизав войлочный пол травой и пропитав приятным запахом своего рыхлого чёрного тела. Шатры будут стоять здесь всю зиму, до тех пор, пока сошедший снег

и просохшая под весенним солнцем земля не позволит им двинуться дальше; детские игры, лёгкие прикосновения женских стоп и внушительные шаги мужчин уже превратили колкую траву, достающую иногда до самых бёдер, в мягкий естественный ковёр. На каркасах из прутьев вокруг кострищ сушилось мясо и нанизанная на конский волос рыба, оттуда шёл одуряющий запах. Этим мясом айлу предстоит питаться всю зиму, лишь изредка позволяя себе немного молока или живой горячей крови. Животных требовалось беречь, потому что без стада айлу грозит неминуемая голодная смерть.

Под навесами сложены сёдла и верёвки-уздечки, и Наран пошёл проверить, как нежная кожа перенесла ночь. Вроде бы было довольно холодно, а под утро пошёл запоздалый дождь, отбившийся от стада дождевых туч.

Следом за Нараном из шатра появился его старший брат, Таратар. Он зевнул, похлопал себя по животу, оглядывая окрестности и размышляя, стоит ли ему принимать новое утро улыбкой или лучше рассердиться на него за сырость земли и разболевшийся зуб. В конце концов он поймал лицом солнечные отблески, сладкие, как ягодный сок, и снисходительно пробурчал себе под нос молитву духам.

День обещал быть хорошим.

— Эй, мелкий! — крикнул он. — Что ты там делаешь? Нужно развести огонь.

— Сёдла в порядке, — отозвался Наран. Он исследовал innanку каждого седла, поднял крылья и внимательно проверил на предмет плесени.

Брат пробурчал что-то наподобие «Я рад» и ушёл в сторону выгребных ям — оправляться.

Таратар был главой их семейства, умелым охотником и храбрым воином. Хотя на их жизни войн не выпало, старики считали, что, например, полвека назад, когда ужасающая жара выплеснула в степи темнокожих южан, вооружённых отделанными золотом копьями и луками, он дрался бы за каждую пядь земли, как тигр. Правда, даже тогда войны не получилось. Южане искали в степях города, которые можно было бы захватить, и, не найдя их, отбыли восвояси. Те, кого не убили лошадиные оводы и змеи. Отца не было на свете уже три года, и прах его уже давно уплыл с дымом в небесную степь.

Наран смотрел на прямую спину брата, на широкие голые лопатки и пятки, зазубренные до крепости лошадиного копыта.

Их народ зародился в чреве земли, получив от неё плоть, состоящую из мышц и костей, гордую осанку, черты лица, будто бы вылепленные из размоченной глины руками, и взяв от неба самую малость — пронзительно-голубые или серые глаза и волосы, в которых, как верит всякий обитатель степи, заключено стремление повиноваться ветру и следовать за ним, куда бы он не повёл. Каждый, кто острижёт волосы, мгновенно теряет всякую волю к передвижениям, вообще — всякую волю, и уподобляется цветку, который живёт только до первых холодов, а потом так же покорно принимает смерть. Отросшие волосы по давнему обычаю заплетали в косы и опускали на плечи.

— Хорошее сегодня солнце, — сказал Урувай.

Крупное его тело забрано в лёгкий халат, слегка расходящийся на боку и трещащий при каждом вдохе. Пояса не было, на розовой щеке ещё сохранился след от подушки. Руки испачканы в навозе. Никакую другую работу утром ему не доверяли, да и здесь нужен был глаз да глаз: половина драгоценного топлива рисковала затеряться в траве. Шатёр Уруваева семейства стоял чуть дальше, возле ручья, отличался от остальных искусной, правда, весьма пообтрепанной вышивкой сцен кочевой жизни и погона лошадей. Заправлял там грозный его дед, седоусый и с постоянно трясущейся головой, один из старейшин аила. Даже отец Урувая был там на побегушках. Семейство Нарана было по сравнению с этим древним и почётным родом очень маленьким.

Наран кивнул. Сказал вместо приветствия:

— Сегодня. Я решил.

Урувай побледнел и, встряхивая кистями и причитая, побежал прочь. Наран отправился заниматься костром.

Поздняя осень — не лучшее время для начала путешествия. Даже для конца путешествия не лучшее: все места для зимовки уже заняты и приходится или проситься к кому-то в аил, либо занимать неудобные, продуваемые всеми ветрами, заболоченные стойбища, где до воды придётся ходить по хрупкому льду, а лошадям — вытаскивать из промёрзлой земли луковицы кизила и репейник.

До весны Наран ждать не собирался. Оборвались какие-то корни, связывающие его сердце с аилом, со всеми этими людьми, и Наран получил возможность унести его с собой. И не собирался больше терять ни дня, несмотря на то, что это сердце

начинало колотиться от страха каждый раз, стоило подумать о дороге и об одиночестве.

День прошёл так же, как и две недели накануне. Считали лошадей (их получается всё время разное количество, но до тех пор, пока их получается больше, чем накануне, беспокоиться не о чем), планировали большую охоту на завтра. Женщины подшивали к зиме шатры, мужчины, расположившись кружком на траве, откуда солнце уже выпарило влагу, делали составные жердины для новых юрт и жевали вчерашние и позавчерашние новости. Иногда бубнёж сходил на нет, и тогда над их кружком поднималась хромая и нестройная, но очень душевная песня.

Детей отправили на пастбища, собирать топливо для костра и ягоды к ужину. Над шатром шаманов курился дымок, и под нестройный ритм барабанов оттуда слышались протяжные напевы.

Наран просился почистить и вычесать лошадей, чтобы удалиться под этим предлогом подальше от посторонних глаз и заняться своим Бегунком, которому предстоит пробежать самый длинный и самый трудный за всю его короткую жизнь путь, но брат отправил его таскать воду.

Там, возле ручья, его и нашёл Урувай.

— Я иду с тобой.

Наран с неприязнью смотрел на ручей и морщился, когда особо ретивые брызги долетали до него и оставляли холодные поцелуи на изуродованных щеках. Опускать руки в ледяную воду не хотелось. Разуваться, чтобы подобраться к воде, не хотелось тоже. Вообще по айлу положено ходить босиком, но земля с самого утра щипала его за ступни то листом крапивы, то камешком, словно услышала, что с сегодняшней ночи дотянуться до его ног будет очень непросто, и решила отыгаться заранее. А кроме того, он ведь действительно готовится к походу, так почему бы не разносить сапоги заранее...

— Ты сказал кому-нибудь?

— Нет. Дедушка спросил, зачем я собираю тёплый халат и моринхур, и свою красную шапочку. Я сказал, что хочу исправиться и собираюсь к весеннему кочевью немножко заранее. Чтобы, когда появится свежая трава и первые одуванчики, быть уже полностью готовым и не задерживать своих родственников.

Наран хмыкнул. В любых сборах Урувай был тем, кто умудряется оставить половину своих вещей валяться на траве, а

другую половину — погрузить не на ту лошадь. У любого кочевника способность наводить в своих вещах порядок сидит глубоко в крови. У Наранова друга глубоко в крови сидит способность обувать на ноги не те сапоги и замечать это только к вечеру.

— Он, должно быть, подумал, что это хороший знак.

Урувай смущённо улыбнулся.

— Дедушка сказал, что мне, наверное, следует уже начать искать своего коня.

Наран засмеялся и пнул кадку.

— Пожалуй, и вправду стоит. Сегодня батя Ахнар празднует свой очередной седой волос. Все будут весёлые, после кислого молока всех разморит и потянет в сон. Не думаю, что они будут способны ругаться сильно в таком состоянии. Мы выедем в ночь или ранним утром.

В большом шатре жил старейшина с пятью жёнами. Батя Анхар был старейшиной самого большого семейства, в прошлом не раз ходил в походы на восточные кочевые племена, на урусов и арабов, управлял своим семейством строго, да и сейчас ещё не потерял собачью хватку и нюх на верные решения.

Этот нюх проявлялся в способности в нужное время учинить пирушку, найти для неё повод, чтобы в глазах духов и предков это не было пустопорожним переводом продуктов, и созвать не только своё семейство, но и всех мужчин родного аила. На любом совете слово бати Анхара было решающим, а когда он говорил, замолкали даже собаки за стенами шатров. И сейчас Наран собрался сказать о своём уходе именно ему.

Вокруг шатра бати Анхара целыми днями мельтешили дети, будто осы вокруг земляного гнезда, и никто не мог понять, включая, наверное, и самого старосту, какие из них его, а какие чужие. И число детей, которые укладывались спать там каждый вечер, всё время было разное. Старейшина не был таким уж старым, и вчера вечером у него появился десятый седой ус.

По этому поводу в его шатре собрался почти весь аил. Закололи нескольких баранов, достали обескровленное конское мясо, что возили долгое время под сёдлами, ожидая, пока из него вытечет вся жидкость и пока оно пропитается конским потом. Ковры отодвинули к стенам, скатали из них лежанки и сиденья, а прямо на полу вольготно раскинулся стол. Разложена на блюдах конина, дымит в высоком чане мясная похлёбка, тут же молоко и ягодный сок в кувшинах. После тако-

го пира любой монгол сможет обходиться без еды следующие двое суток. Скорее всего, так и будет, поэтому мужчины ели от сердца и не было такого подбородка, что не измазан бы был соком.

Костёр посреди шатра довольно гудел, выбрасывая в небо всё больше искр и с аппетитом набрасываясь на кости, что с поклоном клали на краешек его трона.

Наран дождался, пока все соберутся и утолят первый голод. Батя был в хорошем расположении духа, шутил, общался на возвышенные темы с шаманом и ковырял в зубах длинным ногтем.

«Пора!» — решил Наран. Повсюду он видел знаки. Вон дети носятся мимо, как листья, будто бы здесь уже зародился первый весенний ветер, и отсюда, из этого шатра, он распространится по всей степи, преодолевая зимнюю стужу.

Он поднялся, выбирал из халата сухие травинки, в то время, как мало-помалу затихали разговоры и все взгляды обращались к нему. Если человек стоит долго, значит, ему есть что сказать. Молодые не имеют права привлекать к себе внимание, они могут только стоять и ждать, когда им это внимание даруют. Но такие, как Наран, редко брали слово, и через минуту установилась тишина.

Когда он почувствовал, как от напряжения дрожит у него под ногами земля, рассказал о своих планах.

— У меня только что появился одиннадцатый седой волос в усах, — хмуро сказал батя Анхар. — Я предлагаю отпраздновать и это тоже. Но понимаешь ли ты, что две рабочих руки — серьёзная потеря для айла? Кто будет вести твоих коней, когда ты уйдёшь?

Батя Анхар был маленьким, жилистым монголом с большим плоским лицом. На этом лице с поразительной подробностью всегда отображались любые эмоции и мысли. Тонкие аккуратные усы висели чуть ниже подбородка, и, глядя на них, каждый понимал, зачем Анхару понадобилось чествовать каждый седой волос. Волос там было не так уж и много. Десятый свисал справа ото рта и был аккуратно подвязан синим шнурком. Глаза раскосые и внимательные, будто две рыбьих косточки.

Он поднёс ко рту чашу с брусничным соком, во второй руке ожидала своего часа и капала соком на халат баранья лопатка. Наран следил за руками бати Анхара. Кисти похожи на головы птиц на длинных шеях, и движения их от стола ко

рту — как будто две птицы кормят в гнезде птенца. На правой руке не хватало мизинца.

— Я тоже иду?! — пискнул Урувай.

— Кто там ещё идёт, — проревел старейшина, вмиг растеряв всю свою обстоятельность, и отбросил от себя полуобглоданную баранью кость. Не вытирая рук, упёр их в бока. — Покажись!

Друг поспешно поднялся, качая подбородком и словно раздумывая, не отвесить ли на всякий случай пару поклонов. Или с десяток.

— Я не навсегда ухожу, — торопливо сказал он. — Я провозжу моего друга и вернусь. Он хороший, и я не хочу бросать его в степи одного...

— Не желаю ничего слышать, — сказал старейшина, и вытянутая для расслабления в сторону нога его задёргалась от тика.

Наран скосил глаза туда, где сидел в окружении своих сыновей дед Урувая, и ухмыльнулся про себя. Рот открыт, словно отказала какая-то мышца, по пышным усам, кое-как закрученным в косы (с тем же успехом можно было бы попытаться приручить жёсткий валежник), струится молоко.

Урувай шажочек за шажочком отступил за спину друга. Тело у него неповоротливое и большое, но шажочки остались самыми детскими, которые Наран видел у взрослых мужчин. Он пытался спрятаться за худощавого Нарана, но полностью это никак не получалось. Вот пытается убрать руку, пригнуть голову, чтобы не торчала над шапкой друга, подвинуть нужным образом ногу. Втянуть живот. Наран слушает тяжёлое дыхание. Сначала всё по очереди, потом одновременно, и в результате довольно громко пукает. Щёки и лоб наливаются краской, будто бы там, в голове, перебили какую-нибудь артерию, по шее струится пот. Но его промах всё равно никто не замечает: Наран прошит взглядами, словно иглами, и кажется, что если вдруг подождёт ноги, то останется на них висеть.

— Ты оставляешь нас совсем одних, Наран. У нас и так мало мужчин. Кроме того, — батя поёрзал, устраиваясь поудобнее, но новое положение тела ему тоже не понравилось, и брови его поползли вниз. — Кроме того, зима наступает. Перед зимой мы беспомощны и медлительны, как улитки. Со всеми юртами, со всеми женщинами и жеребьями, и повозками... А вдруг что! Вдруг нам придётся сняться с места и ехать... Ае! Ты соображаешь, что делаешь? Без нашего костра

ты околеешь насмерть, и, чтобы добыть твою кровь, диким зверям нужно будет самим разводить костёр.

— Я должен отправиться в странствие, — Наран медленно водил глазом по собравшимся. Оба его брата были здесь, и он остановил взгляд на каждом, пытаясь расколоть каменные лица. — Я слышу голос в моей голове, который говорит, что я должен ехать.

Никакой голос в его голове не звучит, но небольшая ложь не помешает. Наран быстро взглянул на старшего шамана. Старший шаман отвёл взгляд и принялся терзать кусок конины, раздувая щёки и показывая гнилые зубы.

— Посмотри на меня, батя! Всё написано на моём лице. Надо мной до сих пор кружит тот стервятник, что должен был склевать мне мозг семь зим назад. Может, я паду по дороге, и тогда круг замкнётся. Всё встанет на свои места. Что бы я не начинал, всё сочтётся сквозь пальцы, как вода. Огонь кусает меня, а если что поручают сделать, всё валится из рук.

— Это правда, — подал голос шаман. — Этой весной я поручал ему забить хромого жеребца и добыть кости. Он пришёл ко мне и положил нож к моим ногам.

Староста поднял брови.

— На ноже даже не было крови, — продолжал шаман. — Он не забил лошадь. Хромой жеребец от него убежал!

— Почему ты не сказал об этом мне? — поморщился батя. — Я бы дал ему плетей. Теперь уже поздно, он ничему не научится.

Это напоминание произвело какую-то перемену в Наране.

— Меня затошнило, и я дал тому жеребцу уйти. Хлопнул его по крупу и сказал ему, чтобы он бежал так быстро, как позволяла хромая нога.

— Он ушёл? — спросил староста шамана.

Шаман, похожий на цыплёнка куропатки с большой головой на тонкой шее, покачал головой.

— Я послал с ножом Мимира, и Мимир нашёл его в стаде.

— Видишь? Ничего не изменилось от твоей добродетели. Жеребец всё равно отдал свою кровь аилу, а ты заклеил себя как малодушный. Теперь я должен принять тебя в услужение, чтобы учить уму-разуму — или выпроводить. Вижу, ты сам хочешь второго.

Батя Анхар замолк, взгляд его пошёл бродить по столу. За спинами взрослых женщины ловили детей, чтобы уложить их спать. Снова послышалась обстоятельная речь:

— Я не мудрый старик и не шаман, но я всё равно дам тебе поучение, которое вертится у меня на языке. Ты должен прикладывать свою доброту так, чтобы она давала плоды. Пустая добродетель хуже злобных мыслей, потому что даёт ложную надежду с одной стороны и покрывает всё туманом с другой. Ты идёшь и думаешь: крови на этом ноже сегодня не будет и за это Йер-Су должна благодарить меня. Жеребец думает: меня не будут колоть и моё сердце останется при мне. И он будет в два раза сильнее кричать и рваться с повода, когда придёт другой человек с ножом, потому что один раз уже родился заново.

Наран молчал. А потом опустился на колени и вдохнул истоптанный ногами войлок. Единственный оставшийся ус его подметал пол юрты. Веки хлюпали, будто почва после едва-едва прошедших дождей, но он ничего не мог с этим поделать.

— Спасибо тебе за важное поучение, отец. Я пронесу его через всю жизнь. Но я всё равно уйду.

Краешки губ бати Анхара от удивления поползли вниз. Отцом постороннего человека монгол мог назвать только в том случае, если тот спас жизнь ему или кому-нибудь из ближних. Не важно, словом ли, делом или как-то иначе. Это самая большая дань уважения, которая возможна от одного человека к другому.

Урувай попытался сжаться в одну большую точку, превратиться в одного большого идола. Но его выдавала крупная дрожь. Наран поднял голову.

— Вы все относитесь ко мне снисходительно, помня, что я часть вашего аила, и помня, как мне не повезло в детстве. Ведь на первом месте семья! Но на самом деле я как подорожник, что запутался корнями с благородным ковылём. Вы не знаете, какую змею поселили с собой жить в одном шатре.

Наран щерится, показывая дырку между зубами, и женщины тихонько отползают к стенкам шатра и поджимают под себя ноги. От дальнего угла, возле костровища, на него большими глазами смотрят дети.

Староста взмахнул рукой. Наран видел, что в лице у него произошла какая-то перемена, но не мог ещё уяснить какая.

— Иди. Убирайся. Не желаю тебя видеть больше никогда. Женщины, соберите им поесть мяса и каши в мешок. Только не кладите самое хорошее. Мясо самое костлявое... ну, да вы меня поняли. Ну, что ты здесь ползаешь? Убирайся! Убирайся! Только не через вход. Не оскверняй мне порог своим

уходом, смертник! Подними вон там полог, вылезай и никогда больше тут не появляйся.

Он швырнул в Нарана чашей, и тот уполз, словно большой паук, утянув за собой друга.

Только снаружи Наран понял, что произошло с лицом бати Анхара. Он же плакал! Плакал и пытался скрыть это за гневной маской и трясущимися губами. Он попытался найти в себе силы, чтобы встать с колен, но вместо этого обнаружил позыв к смеху. Вытащил его наружу, и собаки, дежурившие снаружи в ожидании костей (высосанных до конца и обглоданных: настоящий кочевник с детства знает, какое расточительство — пренебрегать любой жидкостью и самой маленькой капелькой жира), бросились к нему и стали вылизывать его лицо.

Урувай бегал вокруг, тянул в разные стороны и рвал на себе волосы.

— Что ты? Что ты? Вставай!

Всё ещё катая по горлу беззвучный смех, Наран попытался подняться и тут же рухнул обратно.

— Я не могу!

— О Боже! Почему?

— Это порвались последние корешки. Я теперь как одуванчик с пушистой шапкой — целиком во власти ветра.

Семья была всем для каждого монгола. Только вместе, только когда стоят крепкие шатры, этот народ может набросить на гордую степь уздечку. Одиночек она топчет. Только теперь Наран начал понимать, что то, что они задумали, может принести благо только воронам да степным собакам, которые всласть попируют над их костями.

Но отступать уже поздно.

Урувай, с перекошенным лицом, сам как побитая собака, убежал, сказав, что ему нужно забрать вещи, а Наран посидел ещё немного и побрёл к лошадям. Ноги его подкашивались и дрожали.

Было уже темно и будто бы похолодало. Шатры стояли, как отряд древних воинов на конях, усы — разнообразные украшения и шнуры — колыхались, когда их трогал забредший сюда неизвестно какими тропами из степи ветерок. Гнев поднимался над будто бы топором стёсанными головами чёрным дымом, а в сердце каждого трепетал едва угадываемый огонь, разгоняющий по венам кровь.

Наран шагал между ними, как забытый кем-то несмышлёный малыш, не подозревающий о том, что сейчас здесь бу-

дет драка и кровь, и смерти. Думал о том, что там, в каждом шатре, сидит по несколько женщин и детишки. Если он был таким шатром, внутри бы не было никого. Только темнота. Не было даже огня... Нет! Нет! Наран даже взмахнул руками от этой мысли. Там был бы пожар. Горели бы постели, трескалась от жара посуда. Горели тела неопознанных людей, словно внутренние органы, истерзанные заживляющими снадобрями шаманов.

Шатры кончились. Юноша махнул часовому и осмотрелся в поисках своего коня. Из всех лошадей своего семейства Наран выбрал этого приземистого, с которым всегда приходилось быть начеку. Ещё днём он загодя посадил его на корду, чтобы не искать в темноте по окрестностям, и привязал не к колышку и не к коновязи, а к единственному в округе наиболее рослому кусту облепихи. Тихо свистнул, и Бегунок обиженно покачал головой. Все его друзья разбрелись, и жеребец стёр все зубы, пытаясь размохрить верёвку.

Невдалеке паслась пегая кобылка Урувая, под стать всаднику, большая, с несоразмерно большим крупом и с изрядным брюшком. Наран привязал и её тоже, зная, что сам друг ни за что не догадается этого сделать.

Немного погодя появился и сам Урувай. Пыхтя, он тащил на себе седельные сумки.

— Приходил дед, — сказал он, избавившись от груза. Лицо и затылок его взмокли от пота, и косы прилипли к голове, словно два бараньих рога.

— Ругал?

— Гордился, — коротко сказал Урувай. Наран внимательно изучил его лицо. Уши горели — не то от смущения, не то от того, что их хорошенько надрали. Друг разминал плечи и раскручивал скрутившиеся от страха усы. — Сказал, что я настоящий внук его деда, раз не бросаю друзей в беде. От расстройства побил всех своих сыновей и раздал подзатыльников внукам. Я сказал ему, что провожу тебя до гор, а потом поверну обратно. Может, мы сможем вернуться вместе?

Наран обнял его за огромные плечи.

— На большее я и не рассчитывал, дружище. Я буду очень рад, если ты будешь рядом хотя бы до первой точки моего поиска.

Ночь раскручивала над ними длинные хвосты созвездий. Этот день — возможно, последний ясный день перед зимой. Природа уже готовится сбросить старую шкуру, волосы на её

голове увядают и начинают проглядывать длинные чёрные проплешины. Старики говорили, что осень — это старость степи, а зима — её бесконечная седина. Но на то она и богиня, что каждую весну рождается заново и раз за разом беременеет от жеребца-неба бесконечным помётом тварей, больших и малых. Шатры заключали их двоих в кольцо, словно материнские руки младенца, и из главного оставшиеся женщины и дети начинают потихоньку растекаться по своим шатрам. Из темноты слышно похрапывание коней и хруст травы на их зубах.

Рысью подбежал какой-то мальчишка со свёртком из больших листьев под мышкой. Подёргал за руку Урувая. Наран, зная, какое впечатление производит на детей его лицо и в особенности мимика, не стал поворачивать голову, а только скосил глаз.

— Ты и правда уходишь? Тятя Анхар очень разозлился.

— Правда, — Урувай опустил на корточки. — Но я ещё вернусь, чтобы сыграть тебе на морин-хууне.

Малыш посмотрел на него с восторгом. Перевёл взгляд на Нарана. Сказал:

— Надо было выдать вам порки.

Он всунул Уруваю между дряблых ладоней свёрток и испарился.

Друг понюхал свёрток, пошелестел листьями лопуха и улыбнулся.

— Еда.

— Он и правда просто-напросто мог выдать мне плетей. Батя Анхар. Зачем он так расстроился?

Урувай сунул в рот пухлый палец.

— Он специально старался разозлиться, чтобы суметь отправить тебя восвояси. Ты откусил от его сердца кусок, приятель.

— С чего бы? — буркнул Наран. — Я же ему не сын. Хоть и назвал его отцом.

— Но он батя, самый старший в аиле, и должен быть самым заботливым. Ты ему не сын, но он отец всем нам. Понимаешь?

С минуту Наран пытался об этом размышлять. Но ни одной стоящей мысли в голову не шло. Во рту запеклась слюна.

Урувай зевнул, кадык его затрясся в сладкой судороге зевоты. Сказал:

— Я пойду спать. Ты идёшь?

— Нам нужно выехать с рассветом.

— Ты не пойдёшь в шатёр?

— Останусь с лошадьми. Хочу подготовить своего Бегуна к большой дороге. Он ведь никогда ещё не видел столько пустого места сразу, сколько нам предстоит пересечь. Представляешь? Ни единого шатра вокруг, ни единого всадника и не единой лошади. Только пустота.

Друг подумал и уселся прямо на землю. Сказал:

— Ты ведь тоже не видел.

— Да, — Наран улыбнулся. — Мы с конём будем уговаривать друг друга её не пугаться.

Глава 2. Керме

Керме разговаривала с Йер-Су.

Отпечаток конского копыта лежал под детскими пальчиками, пыльный и значительный. Этот след своими изгибами, расположением комьев земли давал ей понять, что Йер-Су её слушает. И Керме роняла в это раззявленное ухо бессвязные слова, всё, что не находило выхода за день, оборачивалось горячими каплями.

Сегодня началось лето. Девочка почувствовала это по тому, как изменила запах полынь и как в общий аромат, разливающийся над степью, вплели свою тонкую ниточку ромашки.

Сегодня кто-то подложил ей в кровать лягушку, и они всё утро проиграли вместе. А потом, когда созвали завтракать, она каким-то образом променяла земноводное на чашу с молоком. Нельзя сказать, что медовое молоко хуже прыгучей твари, но всё же лягушку немного жалко. После завтрака Керме звала её шёпотом, но на зов так никто и не пришёл.

Сегодня она услышала от кого-то, что кони съели всю траву вокруг на дневной переход и теперь гложут лопухи и сырую землю. И что в скором времени придётся трогаться дальше. Это ничего не значит — мало ли новых мест узнавала за свою жизнь Керме, которые казались через два-три дня похожими, как два кивка головы, — просто, чтобы поговорить с сестрицей-землёй, нужно будет искать новое ухо в достаточной удалённости от шатров.

Все эти важные новости она излагала в земляное ухо, иногда наклонившись к нему очень близко, так, что рот щекотали одинокие травинки, иногда выпрямившись и роняя слова с большой высоты, как будто те вдруг обрели вес. Вокруг никого не было — Керме это чувствовала — суета айла осталась в стороне.

Когда не с кем было поговорить, она разговаривала с богами. Она никогда их не видела, но, с другой стороны, она никогда не видела ничего на свете. Так что нет разницы, разговаривать со спрятавшимся в гнезде из спутанных травинок мышонком или с богиней земли, чья коса, говорят, благоухает, как целое поле цветущего крестоцвета.

С другой стороны, разговорами она увлекалась редко. Девочки вообще все неразговорчивые, особенно те, которые уже вышли из возраста детского щебетания обо-всём-подряд, но Керме была среди них как сова среди суетливых соек.

Но если уж доверяла кому-то свои впечатления, то доверяла Йер-Су.

Тенгри Керме любила как сурового отца. Душным знойным летом он мог ударить зазевавшуюся девушку солнечной плетью, просто потому, что она высунулась не вовремя из шатра и попала под горячую руку. Но обычно он ласков. Керме робко улыбалась, чувствуя прикосновение к своей щеке его усов.

А в следующую минуту могла схлопотать от него пощёчину.

Зимой солнечный бог уходит на охоту в далёкие степи, иногда за великое море, и возвращался он только по весне.

Посидев ещё возле лошадиного следа и поигравшись с цветком кашки, Керме бежит в аил. Босые пятки щупают землю, узнают кочки и впадины, которые она уже проходила по дороге сюда. Время к вечеру, а ещё нужно сделать дневную работу, к которой она пока не приступала. Замесить глину, комками которой будут выкладываться очаги в шатрах на новом месте, доплести из гибкого сушёного вьюна корзинку.

Возможно, потом, под шептание ночных мотыльков, бабушка снова расскажет ей какую-нибудь сказку. Выведет из шатра и скажет:

— Чувствуешь? Это ветер. Познакомься и узнай его лучше. Это твой муж. Ты слепая и никому не нужная, поэтому твоим мужем будет ветер. С ним ты сможешь танцевать любой танец, который захочешь.

Керме жмурится, наострив нос.

— Из какого он аила?

— Его аил на облаках. Золотые шатры стоят там, и войлок его прошит белыми серебряными нитями. Бывает, он утаскивает шатры нашего племени к себе на облака.

— А как выглядят облака?

Бабушка молчит некоторое время, и Керме словно бы снова ощущает пальцами складки на её лице.

— Бедная. Ты никогда их не увидишь.

— Но я смогу потрогать, если Ветер увезёт меня на своём коне.

— Счастливая, — вздохнула бабушка и больше ничего не сказала.

Керме хотелось снова послушать про ветер. Другие девочки в её возрасте уже знали, за кого пойдут замуж. У них было преимущество: они росли вместе со своими будущими мужьями, вместе учились ездить верхом и носились под ногами взрослых в то время, как те занимались своими скучными и важными делами.

У Керме же не было никого. Кроме, может быть, Растяпы да дырки в земле, с которой иногда можно было поговорить по душам.

Поэтому, когда появился небесный странник, перед которым склоняется трава, а небесные овцы бегут, как от огня, которых засеивает землю по осени водой, а зимой — снежными хлопьями, она страшно обрадовалась и вцепилась в бабушку, по её выражению, «что голодный клещ». Пусть она никогда его не видела, пусть, но зато она знает, что когда-нибудь окажется там, в расшитом золотом шатре на самой верхушке облака...

Сегодня останусь и послушаю сказку. Упрошу старую ещё раз рассказать про повелителя небес и про его девятиногого коня. А завтра нужно будет улизнуть пораньше, чтобы провести овец и Растяпу.

Девочка не выбиралась к ним — страшно подумать! — со вчерашнего дня.

Керме любила быть с овцами. Иногда ей доверяли пасти их, хотя при этом всё время кто-то находился неподалёку. Она не знала, что такое зрение, но уши, как два пугливых зайчика, исправно доносили ей, что делается в округе. Неведомый сторож ходил туда и сюда, стучая по голенищу веточкой ольхи.

Хотя зачем их пасти, Керме не понимала. Они прекрасно кушают и без её присутствия и не сдвинутся с места, даже если дождь промочит их шкурки насквозь. Но сознание ответственности, несколько большей, чем ответственность за заплату на халате какого-нибудь из многочисленных её братьев, подогревало изнутри.

Среди этого мягкого, постоянно колышущегося облака тепло и хорошо. Будто закутывают в шерстяное одеяло, только оно ещё и живое. И пахнет не так, как мёртвые шкуры, ко-

торыми устлан пол в шатре. Иногда бабка искала её и звала: «Керме! Керме!» — но Керме не отзывалась. Она засыпала, уткнувшись носом в шею какой-нибудь овцы; и кудряшки щекотали ей ноздри. Просыпалась, только чтобы согнать с себя переползшее с животного насекомое, и снова проваливалась в зыбкую дрему.

Если спать не хотелось, Керме сидела и слушала дудочку пастуха. Это Отхон: его дудочка всегда с хрипотцой, как будто в неё набили земли. Хорошо, что он её не видит. Шуточки Отхона всегда глупы и безобидны, иногда он даже неплохая компания, но обычно в такие моменты Керме хотелось побыть наедине со своим стадом. Она считала себя частью этой кучерявой дышащей массы. Иногда даже ложилась на живот и, чувствуя, как по лицу скользят дряблые овечьи губы, жевала вместе с ними жухлый чабрец.

Рано или поздно её находили и вели домой.

— Что мне тебя привязывать, как собаку? Ищай тебя потом, свищай. Не досвищаешься, — сердчала бабка. Хотя знала, где её найти утром и днём, и в любое остальное время. Стоило только получше поискать.

Бабка вырастила её с самых малых лет. Первое слово Керме было «баба», а ещё «куня», что означало «кузнечик», и «шаво», что могло означать либо «шершаво», либо «жарко». Ручонки тянулись, казалось, сразу во все стороны, уши и нос росли вперёд всего остального, словно посаженные в благодатную почву луковицы маньчжурского лука. У неё отсутствовало зрение, но был целый ворох других чувств. Про маму она не расспрашивала — слишком много в аиле женщин, которые могли быть её матерью. Они не делали никаких различий между нею и остальными детьми, и малютка могла запросто засыпать в чужом шатре, обласканная чужими руками. А когда стала старше, подумала: если уж всё воспитание заключалось в кормлении грудью, то спасибо: не хотите кушать — никто не заставляет. Мы покушаем сами. Тем более что есть такая замечательная бабка, которая рассказывает ей сказки и вытирает сопельки, когда суровые морозы загоняют на весь день под одеяло...

И точно так же её отцом мог быть муж любой из этих женщин. Должно быть, он и сам уже забыл, что вот этот слепой зверёк с почти белыми глазами — его родная кровь.

Керме пробиралась по муравейнику-аилу, находя одной ей ведомые знаки. Возле первого шатра запах лука и сушёных

грибов. Неприметно вкопанный в землю маковый стебелёк возле места, где готовят самую вкусную ягодную кашу. Женщина-хозяйка там изрядная ворчунья, но вот кашу, которую она носит раз в неделю к общему столу, все дети уплетают за обе щеки. Пропахшее чужим дымом кострище, настолько чисто вытопанное, что вряд ли кто-то его замечает, кроме Керме. Они здесь только третью неделю, а с зимы здесь стоял другой айл... Она на верном пути. Потоптаться, подождать, пока мимо тащат четыре человека что-то большое. Детское воображение нарисовало огромную личинку, за которую сражаются и которую таскают туда и сюда изредка муравьи. Вот мерный скрип и беспокойные голоса: то чистят от грязи и смотрят повреждённое копыто, и девочку окатывает тяжёлым горячим запахом — животным беспокойством. Здесь живёт лошадиный лекарь, очень уважаемый всеми старик.

Вот наконец и дом. Прошмыгнула в шатёр, налетела на кого-то из мужчин и нырнула с испуга под валяющуюся у самого входа подушку. И так же, прижимая подушку к голове, проползла на женскую половину.

Пахнет дымом. Может, бабуля будет что-то готовить.

— Это ты, Слепая Белка? — голос старухи, слегка чем-то затруднённый. Керме представила, как она сидит, сжимая в уголке рта иголку из рыбьей кости. Руки заняты шитьём.

— Я, бабуля! — отвечает, удостовераясь, что взрослый мужчина покинул шатёр.

— Поди сюда, чертовка. Сегодня для тебя особое занятие. Лёгкое. Можешь немного отдохнуть от своего каждодневного сидения на моей шее. Только не спи, — бабка спустила на неё всю свою словесную воду, доканчивая на шитье последние стяжки, и только потом перешла к сути: — Бебеку нужен отвар из горьких трав. Вот и они лежат, видишь, я уже сама встала и всё для тебя собрала. Вот полынь, вот чабрец... даже разозгла тебе огонь и поставила воду.

— А ты? — упавшим голосом спросила Керме.

— Мне нужно дойти до Тары. Накопилось что-то, что двум старым женщинам в расцвете сил нужно обсудить.

Керме сразу поняла, что спорить бесполезно. «Если бы я прислушивалась, что жужжит над моим ухом каждая муха...» — сказала бы непременно бабка. Девочка уже давно решила про себя, что в старости ни с кем ничего и никогда не будет обсуждать. Даже если вдруг все мужчины разом начнут ходить на голове, и — не будет. А когда между её ног будут

суетится собственные малыши, всё время пойдёт только им. И конечно же, никакой работы. Для них она всё будет делать сама.

Керме не злилась. В конце концов эта бабка — не её мама и даже, может быть, не родная её бабушка.

Девочка осталась одна. Под котлом шипел горящий дёрн. Иногда он плевался, с резким свистом выбрасывал искры, и тогда она вздрагивала, суча ногами, пыталась сильнее вжаться в стенку шатра.

Огонь был ей врагом. Этот большой змей, волокущий своё тело сквозь дыру в потолке юрты и обратно, вновь и вновь старался тяпнуть её горячими клыками — раскалённым краем котла.

Девочка приближалась к нему осторожно. Рядом с огнём нельзя было пользоваться острыми предметами и вообще держать в руках нож или иглу. Огонь — тонкошей небесный скакун, нервный и стремительный, может наскочить на острое и распороть себе брюхо. И тогда огня айлу не видать до самого конца времён.

Орудовать топором рядом с живым огнём тоже нельзя. Так же, как и рядом с текучей водой.

Однажды она уже встречалась со змеей: когда-то давно, когда мама-земля ещё не отпускала её далеко от себя, брат нашёл для неё полоза. Сказал, что держит ягнёнка, но Керме сразу поняла, что это не ягнёнок. То, что протягивал ей брат, было холодным и вертлявым, как земляной червь. И когда девочка почувствовала под пальцами холодное тело в тугой скользкой коже, когда голова, похожая формой на рыбу-краснопёрку, ткнулась ей в ладонь, Керме закричала и кричала до тех пор, пока не прибежала бабка.

Брата пожурили, хотя к тому времени он уже приделал себе лошадиные ноги, так что журить пришлось оставшуюся после него тень. Керме слышала, что взгляд Тенгри выжигает на земле от каждого живого существа такое специальное пятно, и считала, что тень уж точно никак не может поспеть за зайцем — и за удирающим братцем. Керме же ругали несравнимо сильнее за то, что переполошила своим криком весь аил.

Следовало приблизиться к этому змею, вдохнуть его запах, от которого изнутри рвался кашель или сильная икота. Опустить ему в пасть подношения в виде трав, стараясь, чтобы горячая желчь из пасти змея не укусила тебя за ногу.

Но это была работа, такая же, как следить за овцами, и Керме делала её без жалоб. В такие минуты она думала о Растяпе. Иногда её забывали на лугу или же просто не могли найти, и тогда Керме оставалась ночевать с овцами. Это были лучшие ночи в её жизни. И лучше любой пастушьей дудки — хоть Отхона, хоть кого ещё — был для неё стрекот кузнечиков и крик ночных птиц.

Вечером бабка не вернулась, зато заглянул сам Бебек. Керме к тому времени уже со всем почтением затушила костёр. Молча он прошёл мимо, как всегда угрюмый, как не ведавшая долгое время воды земля, и вышел, прижимая остывающий котёл к груди. Бебек — помощник и старший сын лошадиного лекаря. Должно быть, сегодня они будут кого-то лечить этим горьким отваром.

Мужчин она побаивалась, хотя в общем-то существами они были добрыми. Но эта их способность становиться вдруг непомерно большими... четыре дрожащих ноги восходили к шатрам Тенгри, и девочке мерещилось, что вот сейчас солнечный бог спустится, натянет эти ноги-струны на свой моринхур, и сыграет громоподобную, очень страшную степную песню. Керме робела, слушая их величие и едкий, кислый запах, их песни грубым голосом, фырканье и прядание губами.

Много позже она узнала, что лошади и мужчины — это не одно и то же. Что лошади по нраву очень добрые, хоть и гораздо беспокойнее овец, и даже иногда разрешают покормить себя корнеплодами. Мужчины о двух ногах теряли стремление куда-то лететь и орать, тоже были довольно милыми, хоть обычно не обращали на таких, как Керме, никакого внимания. Они собирались возле очага — долгими вечерами Керме слышала их мерный говор — и вели свои непонятные разговоры. Лился по чашам кумыс, женщины подносили еду, и стоял душный аромат пареного мяса.

Потом кто-то брал музыкальный инструмент, и Керме оказывалась на охоте.

Ради этого она могла часами сидеть в уголке женской половины, зарывшись в одеяла, слушать непонятные и неприятные запахи, ради этого она готова была оставить ненадолго своих овец.

Вместе с жаром от очага она чувствовала ток дикого ветра, слышала хруст диких яблок, что лопаются под конскими копытами. Песня — это единственное доступное для неё путеше-

ствие, не считая слепых странствий между юртами по цепочке окриков женщин, которые говорили: «Нет, здесь не твоя юрта, слепая белка! Иди-ка дальше».

Под звуки струн, трубные, как крик болотной птицы, охотники загоняли джейрана. Тявкали собаки, бросаясь в клубы пыли, которую поднимали лошади, звенела тетива и шлёпала (певец обыкновенно в этот момент шлёпал по груди, шлепок по пузу означал у него почти пустой бурдюк с водой) о землю стрела.

Вот наконец финал. Джейран, топча лягушек, хотел уйти болотом, но завяз по самые колени, и здесь подъехавший на коне охотник в последний раз спустил тетиву. Собаки, оставляя целые ручейки следов в проседающей, гнилой земле, бросились вытаскивать добычу. Испуганный стрекот суслика и крики грифов, надеющихся на какую-то поживу.

Это был для Керме новый, непознанный мир, из тех, что, как она догадывалась, ей никогда не суждено познать. Девушка покидает аил только на обозе с приданным, и путь её лежит только до следующего аила. А если слепая белка покидает аил, то...

Керме ни могла придумать ни одной причины, которая могла бы её в конце концов вывести в мир бескрайней степи, мир, где Йер-Су горлом поёт песни, вновь и вновь ведая стрелам ковыля древние сказания.

Дослушав сказку, Керме хлопала в ладоши, и колокольчик на шее тихо вторил её радости. Этот колокольчик у неё с самого детства. Такой, говорила бабка, надевают на самых ценных, самых норовистых жеребят, которые могут, погнавшись за какой-нибудь бабочкой, упустить из виду мамку или даже табун.

— Ты несмышлёная, как жеребёнок, — говорила она, — Степь вокруг полна опасностей. Вдруг яма? Вдруг гадюка или скорпион? Вдруг ты потеряешься, блуждая вокруг аила, или свалишься в овраг?

Наверное, можно было бы попросить снять это украшение: она ведь уже достаточно свыклась с миром вокруг, нашла с ним общие языки наострённых ушей и запахов. Но как-то непривычно легко сделалось бы без него, будто с коня, который всю жизнь проходил под седлом, сняли уздечку.

Пальцы всё время цеплялись за язычок, чтобы не звякал при ходьбе, так пальцы опытной монголки придерживают язык телёнка при клеймении и держат рот открытым, чтобы он его вдруг не прикусил.

Умением извлекать из горла различные звуки обладал старик Увай. Жил он в юрте, расшитой богатым узором и с тремя десятками разных заплат, к четверти которых приложила руку и Керме. Девочке он приходился дедушкой, и, помимо матери, у него было ещё трое сыновей и четыре дочери. Керме слышала, как он распевался, как стучались в его горле и в груди костяные шарики. Сама сидела тихонечко и слушала, уповая, что раз она его увидеть не может, раз не издаёт шума, то не замечает её и он. Во всяком случае старик никогда не гнал её прочь. За это она его любила, хотя он ни разу не удостоил её своим вниманием.

Иногда ему помогал другой старик — Кочу, у которого в горле жили сразу шесть скорпионов, и поэтому его пение было резким и пронзительным. В то время, как Увай рассказывал историю и наигрывал себе на моринхуре, Кочу изображал птиц, диких степных волков, а в сказках — злых стариков, и был очень собой доволен. После песни он громко хохотал, и говорил:

— А, приятель, как отлично, что ты у меня есть! Один я ни за что бы не рассказал эту историю.

Хотя охота была любимым сюжетом, бывало, старик пел предания. Случалось это во время больших праздников, когда собранному за год дикому рису из мешков был только один путь — в котёл, а оттуда в желудки, а вяленая конина застревала между зубами. Кто-то говорил:

— Время песни, старик. Мне так кажется!

Голос отзывался дружным гомоном.

— Расскажи нам про луну, что отправилась в странствия по южным степям за своим сыном.

— Расскажи нам про погоню за серебряным жеребцом, который покрыл в безымянном аиле всё стадо кобылиц.

— Расскажи нам про то, как ты ходил на медведя с собаками.

Увай посмеивался, хлопая себя по плотным бокам, и говорил:

— Не время сейчас для сказаний про охоту. Разве не видите, что сегодня за день! Сегодня наш аил — как семейство грибов, что вечно тянутся к небу, и сегодня небо увидело шляпки наших шатров, и захотело сорвать их в свою небесную корзину. Во славу Тенгри я расскажу про серебряного жеребца: это очень достойная история. Жеребцом у нас будет Кочу. Кочу, будешь для меня жеребцом?..

— Только тем, который покрывает всех кобылиц, — скрипуче говорил, ковыряя в зубах Кочу, и Керме вздрагивала, услышав этот голос прямо рядом с собой.

Бывало, дед Увай рассказывал про юношу, который ушёл до самой высокой горы, горы с белым хвостом, чтобы распространить Тенгри о несправедливости мира, о том, почему всё происходит так, как происходит. Его сопровождали верный друг и жеребец из дыма и копоты, в чьём животе вечно тлеют угли, его сопровождали лисы и степные антилопы. Эта история была самой длинной в репертуаре деда-рассказчика, и пока он её рассказывал, многие успевали заснуть прямо возле печи, другие — разойтись по юртам. Но только не Керме.

Бог высоко на небе, считал юноша, и землю от него скрывают тучи да туманы. Он видит только малую часть того, что происходит внизу, в так мало обласканной его лучами степи. Юный и не слушающий стариков, он говорит: «Заверну я солнце-Тенгри в плащ и принесу его вниз, чтобы посмотрел он на степь изблизи. На то, как режут друг друга кочевья и как воют оставшиеся без сыновей матери».

Увай пел, периодически прерываясь, чтобы всхрапнуть пять-десять минут, а лёгкие Керме наполнялись горным воздухом, ноги болели и ныли от длинных переходов по краю уступов, с камня на камень и с корня на корень. Руки вдруг превращались в крылья, и там, в паутине истории, мудрый шаман даровал такие же юноше, чтобы он мог забраться на самую высокую скалу, куда спускался взглянуть на свою степь сам Тенгри; и она, забываясь, хлопала ими по бёдрам, вызывая вялый смех тех, кто ещё не заснул...

Под конец дед Увай говорил что-то такое, что вызывало сдержанное одобрительное ворчание и непременно выдёргивало Керме из ночной сладкой дрёмы. Он говорил с неприкрытой грустью:

— Эта сказка самая длинная и самая унылая, но ею единственной я горжусь. Потому что сочинил её сам, от первого слова до звучания последней струны.

Неприменно кто-то говорил:

— Она слишком длинная, дед Увай. Там много лишнего. Её нужно укоротить.

— Это сделают мои внуки и правнуки. Те, кто будет петь её после меня. Те, кто сейчас пытается дёргать струны на моём моринхуре, хотя ручки их едва ли не тоньше этих струн, и петь на каком-то своём, детском языке. Я же рассказываю

так, как впервые спел её, вернувшись из одного долгого путешествия обратно в аил...

Овцы — самые стадные животные. Одна капля тумана уже не будет облаком, она растворится в воздухе, будто бы её не было, и они, словно облака, не могут порознь, и стадо иногда напоминает человеческое лицо, оттого, как верно всё, и как всё на своих местах. Овцы, словно волосы, увязаны в плотную косу, и если одна её крупца вдруг сделает шаг вперёд, то это совсем не значит, что она сделала этот шаг просто потому, что ей вздумалось. Это значит, что лицевые мышцы напряглись, чтобы согнать со щеки слепня, а стадо выдвинуло вперёд малую свою часть, чтобы добраться до зарослей сладкой красной смородины.

Керме была большим знатоком во всём, что касается овец. Когда, пригретая с обеих сторон боками животных, она погружалась в дрему, то через ноздри проникало странное чувство. Будто она становится чем-то огромным, покрывающим собой землю сразу на десяток шагов в обе стороны. Слух становился необыкновенно острым, и даже шорох крыльев ночной птицы, пробующей воздух своим неспешным полётом, не оставался незамеченным. Иногда ей казалось, что она может пошевелить хвостом, и это было довольно забавно.

И, самое главное, в слепом мире намечались просветы. Она угадывала наступление рассвета не по волнам тепла, прокатывающимся по степи, а по вспышкам красноватого света и неясным, вытянутым и бесконечно перекрещивающимся теням. Керме ни разу не удавалось потерпеть, пока свет не перестанет прыгать в голове, а станет чем-то твёрдым и основательным. Сознание всегда пробуждалось раньше, полное радости и неясных счастливых воплей, принималось и долго осознавало, что оно снова в темноте.

Когда она была мохнатым комком тепла, ей хотелось только быть вместе и быть частью чего-то большого. Ей хотелось остаться в этом состоянии подольше, но голова качается на тонкой шее, и в ней очень сложно складывать из спокойных размышлений о нотках вкуса травы, о звуках и запахах что-то целое.

Постепенно Керме начала узнавать некоторых овец. В стаде их было всего два или три десятка, и девочке они поначалу представлялись чем-то вроде большого шерстяного покрывала. Только живого. Она думала иногда: как там чувствуют себя её незрячие глазки? О чём они думают? Плачут ли, тихо укрывшись покрывалом век, как две брошенные сестрички?

И потом понимала: чувствуют они себя так же, как она в окружении стада. Им тепло и хорошо, как ей сейчас...

Ещё позже она начала узнавать каждый лоскут в этом полотне и даже давать им имена — про себя. Вот тонконогий, как жеребец, и вечно дрожащий — Кузнечик, этот тучный и с обвислыми по краям рта губами — Тыква. Есть ещё Соловей, прозванный так за высокий и очень мелодичный голосок.

Любимчиком стал для неё Растяпа, грустный барашек с большими влажными ноздрями и бугорками вместо рогов. Девочка сразу почувствовала, что на него можно положиться. Что у него есть то, что взрослые называют характером. Он сносил все ласки Керме, уперев в землю ноги и сделавшись полностью неподвижным. Казалось, перевернёшь землю, как глиняную тарелку, а Растяпа будет стоять даже кверху ногами.

Керме хорошо изучила его повадки.

Растяпа любил крошечные тюльпаны, которые росли на всхолмиях, поближе к солнцу. Керме находила их по вдумчивому жужжанию шмелей и осторожно, чтобы не повредить луковицу, срывала цветок. Несла ему, сопровождаемая гулом насекомых, через всё стадо, прикрывая цветок ладошкой от назойливых губ. А потом сидела и слушала, как исчезает во рту Растяпы бутон, а вместе с ним зазевавшиеся шмели и пчёлы. Иногда после такого лакомства у него из уголка рта торчал стебелёк, который Керме любовно заправляла между губами.

Он любил чесать морду о колючий куст или о камень. Камней в степи было не так уж и много: в основном гольцы, облизанные бесконечными воздушными потоками и ланями, что собирали с этих камней нанесённую ветром соль. Поэтому морда его вновь и вновь оказывалась усыпана колючками репейника, которые Керме терпеливо выбирала, вполголоса поругивая Растяпу.

Он отвечал перестуком копыт или громко шлёпающими губами.

Но больше всего Растяпа любил смотреть на север, откуда год за годом прилетали холодные ветряные течения, а зимой хлестала снежная крупица. Куда бы не привели стадо и как бы его не поставили, он всё время поворачивался к северу. Когда Керме и других детей вместе со многими полезными вещами учили определять, с какой стороны на них смотрит отдохнувший Тенгри, а на какую он опускается, уже готовый укрыться расшитым звёздами одеялом, девочка быстро усвоила всю

эту науку при помощи своего друга. Там, где ухо у него слегка надорвано, был восток, и, если утром в ясную погоду Керме поворачивалась туда, она чувствовала слепыми глазами жар и в сознание странно светлело. Как будто действительно вот-вот распахнутся глаза, и она увидит... увидит... весь мир разом, и никак иначе.

С другой, соответственно, запад. А хвост животного всегда указывал на юг, где, говорят, за бесконечными песками плещется ещё более бесконечное солёное море.

Даже когда девочка слышала рядом хруст и ощущала, как щекочут голые ноги торчащие изо рта барашка травинки, она всё равно знала, что Растяпа начеку и глаза у него на затылке — смотрят в нужную сторону света. Если Керме нужно было что-то показать ему, она обхватывала его за шею и вела, но даже тогда Растяпа поворачивал морду к северу, а зад его то и дело заносило к югу. Керме это страшно смешило.

— Эх, были бы у меня твои глаза, — говорила ему на ушко Керме. — Если бы я видела то, что видишь там ты и что остальные не замечают...

Если рядом со стоянкой был ручей, раз в день овец следовало сводить к воде, а перед подстрижкой нужно было ещё хорошенько отмыть каждую от грязи и выбрать весь крупный сор. Керме худо-бедно справлялась с этой работой, даже просила пастушка, чтобы тот «закрыл на неё глаза» и разрешил сводить на водопой овец одной.

Она бралась с радостью даже отмывать шёрстку от навоза, и эту работу ей уступали с видимым облегчением.

Направление на ручей было разное: аил кочевал, хоть Керме и слабо представляла, для чего это нужно. Неизменным оставалась только осока, которой густо заросли оба его берега. Осока вонзала ей в бока свои когти, смеялась лягушачьим смехом и голосила на разные голоса, пытаясь запутать девочку. Керме старалась различить в этом гомоне журчание воды, уловить ступнями, долго ли до неё осталось и не сорвётся, не покатится ли она вместе с поползшей вдруг землёй.

Вдохнув запах ряски и смочив губы, отправлялась за своей паствой, медленно, шаря по сторонам руками и окликаая овец по именам.

Часто её ругали за изрезанные в кровь руки, допытывались:

— Где была, сайга, где ходила? Слепая, а туда же — носится, как угорелая.

Она молчала про овец. Иначе попало бы пастухам за то, что доверяют юродивой, и те больше никогда бы не позволили даже приблизиться к овцам.

— У меня из рук, — как-то шепнул ей по секрету Отхон, — пальцы могут вырастать в розги. Как у тёрна, только сильнее и крепче. Вжжжж! Вот такие. Я подгоняю ими овец, а могу рубить головы врагам из другого айла.

Керме ему верила. По правде, Отхон любил прихвастнуть — как-то раз он сказал ей, что барсы белые потому, что его отец поймал одного за хвост, и тот от страха сделался белым, как снег. Не то, чтобы Керме ощущала какую-то разницу между чёрным и белым, но когда она сказала об этом бабке, та долго хихикала в рукав и сказала, что отец Отхона сам бы сделался седым, как месяц, если бы поймал за хвост барса. Но она слышала, как свищет в руках мальчишек что-то гибкое и овцы проявляют живость, убегая от них, как от брехающих собак.

Несколько раз за тёплое время года юрты исчезали, а вместо них появлялись груды войлока, на которых очень любили играть малыши, и какие-то палки. Брехали собаки, нервный перестук — это переступают кони, уже навьюченные и осёдланные. С исчезновением юрты мир для Керме разваливался на части. Будто овсяная лепёшка, разломленная пополам. Вокруг готовились к переходу, а она садилась посреди этого и ждала, пока о ней вспомнят и отведут в телегу, или же брела к овцам.

В её голове мир был, что разбросанные по тарелке бобы. Ничего не менялось оттого, что два или три боба передвинули от края ближе к центру тарелки или наоборот. Только начинала слегка холмить почва под ногами, брыкаться, как озорной жеребёнок, или вдруг вспухала и становилась похожа по форме на материнскую грудь. Реже встречались овраги с пересохшими ручьями, и, если вдруг останавливались переседлать коней, Керме садилась рядом и слушала вой ветра в них. Дудочка Йёр-су — вот как она это называла.

Где-то было холоднее, где-то от земли поднимался горячий воздух, похожий на парное молоко. Однажды шатры их встали посреди дикого грохота, воя и стенаний, и Керме несколько дней просидела, не выходя из юрты.

— Там бесновице духов, — объяснял, подсев к ней на повозку Отхон, когда грохот ещё только начал нарастать. Звонкий голосок степи выпустил из себя эту нотку, словно локон

выбился из косы, и она становилась всё громче, всё толще с каждым оборотом колёс. Сначала толщиной с лошадиный хвост, потом с руку взрослого мужчины, и, наконец, грохнулся сверху, вдавил в землю, словно гигантский удав. — Кровь всех зверьков... всех, понимаешь? Сайги, кречета, тушка-на — всех... отправляется сюда на последнее беснование и отправляется отсюда в поход, — Отхон взмахнул руками и повалился на спину. Керме едва успела убрать из-под его лопаток коленки. — Втекает прямо в рот Тенгри. Отойдёшь от шатров — они утащат тебя с собой. Пойдёшь куда-нибудь одна — утащат, можешь даже не сомневаться. Называется это Енисей — великое шествие мёртвых.

— А как же овцы? — дрожа, как птаха на ветру, спрашивала Керме.

— Овец мы покараулим, будь спокойна, — в голосе Отхона появляются знакомые хвастливые интонации. Хвастовство живёт в его горле, как колония грибов, и выпускает в слова потомство. — Отец даст мне настоящий лук.

Времена года складывались в прихотливый узор на ткани её жизни и текли, как тот самый Енисей, грохоча над головой Керме, иногда согревая монотонным звуком, а иногда обжигая и заталкивая в уши острые камешки. Зимы коротали возле очага, редко-редко выскакивая наружу, чтобы пробежаться по снегу и разломать на земле ледяную корку. Одев тёплый халат и упрятав по самый нос голову в шапочку, девушка пробиралась в поле проведать Растяпу и стряхнуть снег с его шкурки, но ночевать не решалась. Ночью весь мир промерзал до самых звёзд и спастись можно было, только собрав под одеялом руки и ноги вместе, превратившись в куколку бабочки. Устремляя дыхание на грудь и живот, чтобы не пропало ни толики тепла, она грезила о скорой весне.

Растяпа любил зиму. Особенно ему нравился снег, который так смешно с тихим шипением обращался во рту в воду. Носом и копытцами он раскапывал снег и находил в мерзлой земле зачатки новых растений, и поедал их с видимым удовольствием. От летней меланхолии с выпаданием первого снега не оставалось и следа. Между висячими его ушами зрело множество игр со снегом и со снежинками, которые он пытался ухватить пастью в падении, будто каких-то приятных на вкус мошек. Корка льда ломалась под копытцами, и всё, что находилось там, — комок земли, корешок или что-то другое — Растяпа относил в специальное место, где складывал горкой.

Особое предпочтение отдавалось маленьким круглым камушкам. Он брал их мягкими губами и скидывал на кучку таких же камней. Приподнимал уши, слушая, как они стучат друг о друга, поднимал и бросал снова. Или отправлялся на поиски нового. Другие овцы его играми никак не интересовались, всё, что они делали, — это меланхолично двигали челюстями, пережевывая засохшие стебли растений или просто воздух.

И, конечно, Растяпа никогда не забывал о севере. Спать он устраивался головой на север, даже если с той стороны торопился искупать руки в незамерзающем море промозглый ветер. Заметив поднятую над сбившимся вместе стадом голову, он хмурился. Плясал у Растяпы на голове, хлопал в ладоши, пытаясь его напугать, но барашек только прижимал к голове уши и раздувал ноздри. По подбородку на шею его тянулася ниточка слюны и там, на завитках шерсти, замерзала. Оставив бесполезное занятие, ветер торопился дальше.

— Как ты выглядишь? — спросила Керме старуху на расвете очередной весны.

— Как соцветие ромашек. Почти облетевших ромашек, дочка. Если ты чувствовала, как облетает у тебя на руках ромашка, то ты можешь меня представить.

Руки у женщины тонкие и жилистые, локти выпирали в стороны, словно у жеребёнка. Кажется, кости там обёрнуты сушёным прессованным мясом, вроде того, что возят по полгода под седлом, выжидая голодного времени... или вовсе нет его, мяса, а под кожей сразу начинаются кости.

Может, люди после того, как вырастают из жеребьячьего возраста и идут к старости, вновь становятся жеребятами? Нужно будет расспросить об этом поподробнее...

Керме протянула руку и дотронулась до лица. Женщина, смеясь, подставила щёку. Тоже жилистое и костлявое, а губы почти провалились в рот, будто песчаник в растрескавшуюся землю. И правда — как облетающая ромашка.

— Меня бы давно уже выслали прочь из аила. Если бы не видели, как я управляюсь с лошадьёю и с домашним скотом.

— А как выгляжу я? — задавала следующий вопрос Керме.

Старуха призадумалась (а может, напрягала ослабевшее зрение) и ответила неожиданно многословно:

— У тебя лицо, похожее на маленькую круглую луну. У многих других, у мужчин и у женщин, и у таких старух,

как я, лица плоские, а у тебя не такое. Твои брови — словно силуэты гордых соколов в небе, а ресницы бесконечно стремятся к ним, как конская грива на ветру.

— А какие у меня глаза?

— Которые не знают, что ты слепышка, ничего могут и не заметить. Белки у тебя как козье молоко, совсем без прожилок, а зрачки посветлее, чем у остальных, — будто два солнца. Может, поэтому ты ничего не видишь, что эти солнца вечно загораживают тебе взор. Что ты видишь? Вечную ночь или вечный свет?

— Что такое темнота и что такое свет? — спросила Керме.

На самом деле перед ней всё было белое. Золотые пятна возникали иногда перед её взором и медленно, словно капли жира в мясном бульоне, плыли прочь, за границы зрения.

Старуха расстроилась.

— Никогда не видеть себя, ни других, ни солнца, ни луны — это самое страшное, что может случиться с человеком. Ты должна знать хотя бы, что ты очень красива. Тому, кто возьмёт тебя замуж, несказанно повезёт.

Керме не особо страдала по поводу того, что ничего не видит. Если бы она знала, что значит видеть, тогда дело другое. А так... У неё есть нюх, такой, говорят, какого нет даже у собаки, у неё есть слух, такой, что она слышит иногда, как тянется вверх, к солнцу, выпрямляя свою шею, одинокий подсолнух. Пальцы её ловки, настолько, что могут находить в пряже узелки и распутывать их одним движением — так к чему страдать?

— Ветру повезёт. Он уже готовит для меня шатёр, я уверена, как для старшей и самой любимой жены. Позавчера мы с ним гуляли за руку по ущельям. А когда он увезёт меня, его рука будет направлять все ваши стрелы, и ни один зверь не сможет от них ускользнуть. Только птиц он будет хранить, потому что птицы и есть его стрелы.

Керме почувствовала на своей макушке старухину руку и замолкла.

— Если бы ты не была слепой белкой, твой ум бы не стал таким острым и пытливым, как копьё.

— Какой ум, баба! Мне интересно только одно: когда он уже придёт за мной.

Керме вскочила, словно большой слепой овод, принялась кружиться вокруг старухи. Шатёр был достаточно просторный, но всё равно на пол полетела какая-то утварь.

— Ну, ну, спокойно, — прикрикнула старуха. — Сядь. Ты разольёшь молоко.

Керме сразу успокоилась. За спускание в землю еды или питья карают жестокими побоями и надолго лишают еды. Кроме того, в голосе старухи ей почудилось нечто такое...

— Послушай, что я скажу. Может, удастся выдать тебя за кого-то, в ком течёт настоящая кровь, а не бесцветная.

Керме замотала головой, так, что косы хлестнули её по щекам.

— Мой жених — ветер. Ты говорила это мне, ещё когда я была вот такая вот маленькая. И даже пела мне о нём песню.

— Я не знала, какая ты будешь красивая, — терпеливо объясняла старуха, — таким цветком каждый захочет украсить свой шатёр. Кроме того, ты не невежда и руки у тебя умелые, даром, что незрячие...

— Но я хочу, как в песне!

— О тебе сложат новую песню. О тебе, а не о ветре, который похищает невинных девушек...

Игнорируя восклицание Керме («А он меня тоже похитит?»), старуха продолжала:

— Ты слышала о всаднике, что околачивался возле нашего аила последние три дня?

Керме замотала головой. Слышать о всадниках она ничего не хотела. Их и в самом аиле полным полно. Гораздо интереснее, кто же родится у беременной овечки, которую Керме назвала Нерпа-счастливица. Роды должны начаться через пару дней, и девочка дорожила каждой минуткой, проведённой рядом, каждой мелочью, которую она отмечала в поведении животного.

— Ходит слух, что ему приглянулась именно ты. Ты, не смотря на твои слепые беличьи глаза. Ходит слух, что вчера он сватался к старосте и обещал пригнать в качестве выкупа десять коней. Неизвестно, кто он, но десять коней — это не шутка! Особенно сейчас, в годы нашей слабости... прошлая зима поистине была несчастливой: столько заболело народу и так отощали кони... Староста отправил его восвояси, хитрый лис! До чего жадный! И завтра этот всадник повторит попытку, и будет обещать уже двадцать коней.

— А ветер бы меня украл просто так. Перекинул бы через седло и украл.

Старуха её не слышала. В её голосе смешивались солоноватые нотки и гордость.

— Ах, девочка моя. Девочка моя...

Она протянула руки, и Керме прижалась щекой к мокрому рту.

Керме думала, хорошо бы обнять так же этот Ветер. Он с самого детства обнимает её, иногда сурово, плеча по щекам заплетёнными в косы жёсткими волосами, и тело его дышит холодом и снегом, иногда нежно, берёт тёплыми пальцами за мочки ушей. Керме делает осторожные попытки обнять его в ответ, но каждый раз он, точно вертящаяся рыбка, ускользает из её объятий, оставляя на руках чешую из лепестков бобовника.

Другие девчонки, видя её потуги, хохочут:

— Может, тебе попробовать сплести из вьюна сети? Может, твой суженый запутается в них и ты сможешь схватить его хотя бы за ногу?

Керме хмурилась.

— Это мой муж. И когда-нибудь он увезёт меня в свой шатёр на самой высокой туче. На самом высоком облаке. Я смогу спускаться и гулять вместе со своим мужем по далёким степям.

— Он никогда не станет тебе мужем, — смеялись, видя её упрямство, девочки. — Это просто воздух, и он катится по степи, как большой клубок ниток. У него нет рук, чтобы тебя обнять, и нет губ, чтобы тебя целовать.

Керме стискивала зубы. Вокруг столько всего, что можно почувствовать и назвать по имени, услышать запах и позвать с собой играть... Как они этого не видят? Девочка давно заметила, те, у кого надкрылья поднимаются, выпуская крылышки зрения, не могут ощутить иногда и половины понятных для неё вещей. Люди, которые могут ощущать и пробовать на вкус на расстоянии, могут понюхать цветок, до которого нужно идти почти двадцать шагов, да ещё и спускаться в овраг. Иногда Керме сомневалась: точно ли это она ущербная, а не они?

Она шла с этим вопросом к бабке.

— Ручеёк, перед которым стал холм на юге, поворачивает на запад, — говорила женщина. Керме нашла её за стиркой одежды, спустилась в овражек, чтобы помочь. — И там он течёт через заросли диких вишен, чтобы захватить с собой и нести через свою ручейную жизнь вишнёвые лепестки и косточки, которые роняют птицы. Он не стал бы вишнёвым ручьём, если бы не было холма, понимаешь? Может быть, каким-нибудь другим, может, лучше, может, хуже, этого нам узнать не дано.

Керме кивала, полоща руки в ледяной воде, хотя почти ничего не поняла. Получается, она пахнет вишнями, а они нет?.. Или нет, не так. Получается, они текут в гору или у них нет своего коварного холма?

Доставали её и мальчишки. За пару лет с тех пор, как она была самой незаметной, самой скромной частью жизни айла, всё очень сильно поменялось, и Керме не понимала, с чего всем вдруг стало до неё дело.

— Он стреляет из лука лучше каждого из вас! — отвечала Керме на какую-то очередную пустяковую нападку.

Нугай, один из пастушков и приятель Отхона, сказал:

— Лучше меня не стреляет никто. Меня учил сначала отец, но сейчас у него не хватает двух пальцев и стрелять он не может. Потом учил старик Терек, который мог по движению ковыля определить, где бежит суслик, и попасть ему в хвост с двадцати шагов. Теперь его руки разошлись от старости и расплзаются на щепки, как срезанная неделю назад вишнёвая ветвь. Теперь у меня руки гибкие, как розги, и лук в моих руках становится мной, а я становлюсь им. Лук из ивы? Я становлюсь ивой. Лук из орешника? Я орешник.

Он долго заучивал всю тираду и произнёс её на одном выдохе. После чего облегчённо вздохнул и прибавил:

— Скажите же, ребята?

— Он отлично стреляет, — подтвердил Отхон. — Не так хорошо, как дед Терек... дед Терек надрал бы ему шею семью розгами, если бы услышал про то, что его руки разошлись, как срезанный вишнёвый прут... ох и голосил бы ты тогда, дружок...

Звук удара. Невнятная возня и недовольный шёпот примятой травы. Керме закричала:

— Прекратите! Я докажу вам, что мой жених стреляет куда лучше вас. У него есть свой лук, из камня, а тетива из ковыля, и колосья ковыля привязаны к нижнему его плечу.

Возня прекратилась, и Нугай насмешливо сказал:

— Кто же делает тетиву из ковыля?

— А лук из камня? — вставил Отхон. — Такое даже придумать — не сразу придумаешь.

— Вот поэтому я ничего и не придумала, — сказала Керме. — Я же глупенькая. Мне все так говорят. Я слепая белка и поэтому глупенькая. Как я могла что-то придумать?

— Да, и правда, — с сомнением сказал Нугай. Было слышно, как он поскрёб затылок между косами. — Тогда что же получается, ты правду нам говоришь?

— Идёмте, покажу.

На этой стоянке они встретили уже десяток пробуждений. Чтобы не заблудиться во времени, Керме брала иглу и ставила узелки на клочке войлока, который постоянно таскала с собой, за пояском. Узелки ставятся в столбик, если аил стоит на месте. Если шатры сложены и мир превращается в череду бесконечных покачиваний, грохотания колёс, Керме ставила отдельный узелок рядом и последующие ставила уже в ряд, до тех пор, пока мир, как пшено в кувшине, который хорошенько встряхнули, не становился на своё место и шатры снова прочно не вращались в землю. Тогда она начинала новый столбик.

Это помогало ей не потеряться в бесконечно пустом пространстве. Керме говорила себе: мы в дороге, всё хорошо. Вон тянет песню бабка, скрипит иголка, ныряя в чей-то халат, и прореха в нём становится всё хуже. Вон с весёлым гомоном отмечают путь каравана стрижи. Сминала в кулачках свой войлочный платок, и ждала нового утра, чтобы поставить очередной узелок. И мир переставал молотить копытами по воздуху, и худо-бедно опускался на четыре ноги, фыркая и прядая ушами.

Это стойбище отличалось от других. Встали они лагерем возле большого бугра, на который карабкались, поддерживая друг друга крючковатыми руками, кусты малины. Как жеребёнок, что припал к соску кобылицы влажными губами, дымом от печей окружил всхолмие аил.

Керме нашла это странное место, когда пошла искать отару. Что-то заставило её повернуть сюда, ободрать ступни о колючие кусты, которыми побрезговали бы даже верблюды. На острогу интереса насадил её тонкий голосок, словно звавший именно её: «Кермее-е, Керме-е-е...» Лишь подойдя вплотную, она поняла, что это вой ветра, утекающего в небольшой овраг и трущегося боками о голые камни, гладкие, словно гольшики на дне ручья. «Земляная кость», — назвала её про себя девочка.

С минуту она колебалась, вслушиваясь в зов, а потом решилась и, раздвигая ветки, двинулась дальше.

«Конечно, он зовёт меня, — подумала она с нежностью и немного со страхом. — Я же его невеста».

Сейчас она нашаривала ступнями свои следы, которые травяной покров за четыре дня запомнил и вплёл в рисунок рядом с вялыми цветами желтоцвета и кашки. Отхон позади ойкнул — укололся о малиновый куст. У Керме все руки были в подживающих уколах.

Наконец вышли на свободное место. Ветер здесь завывал и швырялся мелкими камушками и комками земли.

Нугай протянул:

— Во дела...

— Это выбрался наружу огромный крот, — авторитетно сказал Отхон.

Керме чувствовала лопатками, как начинают цепляться друг за друга, заслушав этот звук, мальчишки. Всё-таки они боялись. Её накрыла странная радость: они боятся её жениха, сильного и свирепого ветра!..

— Давай стрелу, — сказала Керме.

Нугай развязал тесёмки на своём колчане, и девочка ощутила между пальцами гладкое древко. Отец Нугая не пожалел времени, чтобы сделать сыну колчан стрел, правда, всего лишь учебных. Наконечник был туго обёрнутый тряпицей, в которую для весу вложен круглый камешек.

Цепляясь за дёрн и камни, девочка спустилась вниз, и ветер осторожно взял у неё из рук стрелу. Сдвинул на затылок шапку — Керме готова была ответить перед Тенгри, что слышала подходящие звуки, — загудела тетива, и сверху, где остались мальчишки, раздался дружный вздох.

— Далеко? — спросила Керме.

Камни у основания оврага на самом деле густо поросли ковылём, и Керме была уверена, что свою волшебную тетиву он сплёл из него.

— Где она, — шепчутся ребята, не обращая на неё внимания. — Где она? Ты видел?

— Ну что там?

Керме опустила на четвереньки и стала выбирать из овражьего зева, похожего на раззявленную змеиную пасть.

— Он сломал стрелу и швырнул её на камни, — сказал Отхон.

— Твой ветер совсем не умеет пользоваться луком! — в нос сказал Нугай. Когда он сердился, ноздри его, казалось Керме, извергают целые облака горячего воздуха. — Кто его только учил.

— Он учился у лучших племён по всей степи, — произнесла Керме и впервые в жизни заметила в своём голосе нотки надменности. Но она понимала, что это её триумф. — Он не хочет стрелять напоказ, перед сопливыми юнцами и к тому же чужой стрелой. Его стрелы — это птицы и стрекозы, да такие быстрые, что ты едва успеешь услышать трепетание их крылышек.

Мальчишкам нечего было возразить. Свою речь она не репетировала и никогда не проговаривала про себя, но она звучала убедительней, чем слова Нугая.

— Ну, ты рассказывать, — наконец неловко сказал Отхон.

А Нугай протянул нарочито беззаботно:

— Точно. Ну, мы пойдём. Оставайся тут со своим воображаемым другом. Сказать тебе, что он состоит из двух каменных стенок и мха на самом дне?.. Идём, Отхон.

Керме осталась побыть наедине с ветром и покормить его с руки малиновыми листочками. Никто не смел отнять у неё первую в жизни значительную победу.

Глава 3. Наран

Бегунок был невысоким жеребцом каурой масти. С Нараном они были с детства, но он был не такой, как многие лошади. Нарану это нравилось, хотя иногда и немного обижало. Жеребец не выказывал никакой радости, когда к коновязи подходил хозяин, хотя мог узнать его запах и даже звук, с которым хрустит под его ногами земля, из сотни других. Он наострял уши, скашивал глаза и сосредоточенно начинал жевать траву и пускать из-под хвоста газы. Если перед его мордой была голая земля, то просто делал жевательные движения, уткнув вниз морду. Седло постоянно сваливалось со внезапно становившейся скользкой и несимметричной спины, шёрстка становилось колючей и похожей на ежовые иголки. Для интереса Наран как-то принёс с собой гриб и легко приколол его к боку шляпкой вниз.

Кроме того, иногда приходилось следить, чтобы жеребец не отдал тебе ногу, что делал он, конечно, специально. Это уже вообще не лезло ни в какие аилы.

Но если попробовать сделать в брюхе надрез и сцедить лень, такой наберётся очень мало. Он не ленив — он просто был очень спесивым. Или обладал таким чувством юмора, которому могли бы позавидовать даже шаманы, вечно шатающиеся после своих снадобий или после потребления настоящего на травах козьего молока.

Как всегда, пришлось некоторое время побегать, взглядываясь в лошадиные силуэты, чтобы найти Бегунка. Он мог обнаружиться, например, ближе к кобылам с жеребятами, которых держали отдельно, никуда не привязывая, — всё равно без вожака стада друг от друга они никуда не уйдут. Бегунок же часто оказывался не там, где привязал его хозяин, и Наран видел, как его зеленватые от травы зубы мусолят столбик коновязи.

— Я уверен, он берёт его в зубы и переносит, куда нужно, — как-то поделился со своим другом Наран.

— Кто? Куда? — Урувай проследил за взглядом Нарана и увидел хитрые глаза каурого. — Он что, по-твоему, зарывает его копытами?

— Не знаю. Но они у него в земле. А в зубах щепки.

Друг смеётся.

— В дождь или в холодный снег — ты ни разу не обнаружил этого демона в своём шатре?

Наран засмеялся тоже.

— Думаю, когда-нибудь я обнаружу себя привязанным к коновязи. И ничего не смогу сделать. У меня ведь нет таких вот зубов...

Ночь проходила мимо. В аиле постепенно стихла пирушка, и легко можно было представить, как мужчины, насытившись и вдоволь напившись воды, разлеглись прямо в шатре дяди Анхара. Женщины, бережно убирая их ноги со служившего столом ковра, тихо, как ночные мыши, очищают стол от объедков. Кто посмелее, будят мужей и уведут их в шатры.

Не спалось. Урувай пристроился возле своей лошади, зарывшись в одеяло, и Наран видел его живот, полукруглым клеймом отпечатавшийся на фоне неба. Это видение волшебным образом превращалось то в скорбный лоб бати Анхара, то в полукружья лепёшек с тмином, что подавали на пиру. Но настоящий сон так и не приходил. Зато над горизонтом заалела свежая полоска, предвещающая рассвет.

Наран поднялся. В темноте обошёл своего невысокого скакуна, два раза хлопнул в ладоши.

— Айе! Бегунок! Это я.

Жеребец сделал вид, что спит и в такое время суток хозяина узнавать не собирается.

— Отвязывайся и седлайся. Уздечку я тебе принёс, положу вот здесь. И нужно ещё начистить копыта. И мне тоже, вот эти сапоги.

После того, как отзвучала, шутка показалась Нарану очень неуместной. Бегунок стоял, уставив морду в землю, как будто собрался сделать кувырок, и лишь слегка топтал траву передними ногами.

Наран пристроился рядом, сложив под собой ноги и подставив горячему дыханию свою шевелюру.

— Сегодня мы отправляемся в дальнюю дорогу. Ты сжуёшь всю траву, до которой доскачут твои копыта, а я, чтобы не го-

лодать, буду питаться слепнями, которых соберу с твоей шкуры. Так мы будем жить, пока не доберёмся до гор. Не будет ни шатров, ни костров, а от дождя или, если путешествие затянется, от снега я буду прятаться под твоим пузом. Ай!

Бегунок показал, что при таком образе жизни ему будет необходимо жевать хозяйские уши.

— Чтобы опередить зиму, нам нужно будет звать на подмогу ветер, чтобы даже ковыль склонялся в сторону нашего бега. Ты помнишь зиму? Которая сковывает твои ноги глубоким снегом и даёт тебе сделать только трудные и медленные шаги... Нельзя допустить, чтобы она нас застала!

Наран вскочил, обошёл жеребца. Проверил, красиво ли лежит грива. Даже попытался от полноты чувств перепрыгнуть через него, но не рассчитал высоту прыжка и съехал по боку обратно.

— Я придумал. Ты будешь скакать так, как будто у тебя нет всадника. А я стану твоими лёгкими и твоей кровью, буду ухаживать за тобой на привалах, как раб за добрым монголом. Тебе нравится эта идея? Я знаю, что нравится. Ну-ка, давай, как знакомые с детства монголы, пожмём лапы...

Завладев конским копытом, Наран стал чистить его, выковыривая землю специальной палочкой. Когда он добрался до третьего копыта, приглушённый гомон увядающей пирушки принёс грузные шаги. Это Урувай, он извлёк из полутьмы своё тело и тело лошади на поводу.

— Ты чего тут орёшь среди ночи?

— А ты чего припёрся?

Друг помахал перед лицом ладонью.

— Если уж суждено провести остаток ночи на ногах и по локти в лошадином поте, давай сделаем это вместе. Всё равно, не могу я спать когда... когда происходит такое.

Невыразимое Урувай продемонстрировал серией гримас. Наран кивнул.

— Представь, что мы отправляемся в далёкие земли за сокровищами — за шелками и расшитыми золотом одеждами. За оружием, украшенным такими блестящими камушками, как будто это сами звёзды.

Друг смеётся:

— Тогда мне нужен круп пошире. А ты... признайся, что сокровища тебе, как листья в тех лесах, о которых поётся в песнях. Только посмотреть, похмыкать, померить, длиннее ли тень от них тени от твоего члена. И пойти дальше.

Наран молчит, и Урувай не отстаёт.

— Ну вот куда тебе, с твоими щуплыми телесами, шубы и мантии?

— Сделаю из них попону для коня. Таковую, чтобы сидеть повыше.

Смеются, а потом снова сгущается молчание.

— Я бы нашёл себе музыку, — сказал Урувай. — Какие-нибудь новые звуки. Знаешь, чему я сейчас учусь? Только послушай! Я научился воспроизводить, как деда Ошон пытается попросить своей половинкой языка ещё молока и мяса.

Наран снова усмехается. Деду Ошону, когда он ещё не был дедом и лёг прикорнуть под солнышком в высокой траве, съели половину языка мыши. Разговаривать он стал очень непонятно, зато прекратил храпеть, чему очень рады две его оставшиеся в живых жены.

— Сочиняй о нём сказки, — посоветовал Наран. — Получится очень здорово. Деда Ошон тебя боготворит и завещает тебе своё шатёр и своих старых кляч. Я про жён конечно же...

— Тебе бы всё смеяться. Только представь! Новые звери, невиданные птицы да послушать, как выдыхает из ноздрей горячий воздух земля... это было бы хорошо. Хорошо бы ещё научиться воспроизводить звуки битв: какие же сказки без драк и схваток, но для этого я слишком труслив. А те, что у меня получаются, похожи больше на возню моего деда с жёнами в постели, чем на битвы.

— Зря ты всё-таки хочешь со мной ехать. Там будет очень трудно. Представь только, нашим главным блюдом будут кузнечики!

Друг сглотнул комок, но замотал головой:

— Пусть кузнечики. Но мы вместе с детства, и я не хочу отпускать тебя одного.

Наран сказал, пытаясь придать своему голосу суровости:

— Если отстанешь, обещаю тебе, что повернёшь обратно.

— Хорошо, — ворчливо сказал друг. — Но поклянись небом, что не будешь специально от меня убежать.

На том и порешили. Помолчали немного, пытаясь пристальными взглядами как-то повлиять на расширяющуюся полоску рассвета. Наран сказал:

— Ритуал отправления в путь.

Урувай вздрогнул и закивал.

— Да.

В аиле шаманы начали своё предутреннее представление для Тенгри. Считается, что, когда спит его единственный глаз, он видит сны о том, что происходит на земле, и шаманы во всех аилах стараются подарить ему замечательные сны, полные огня и дыма. «Не то, — думал Наран, — чтобы Тенгри не узнал в горбатых шаманах в масках разных животных горбатых шаманов в масках разных животных, но может, он от души посмеётся».

— Поднимайся, нам пора, — говорит он Уруваю, и друг что-то невразумительно мычит, пытаясь вытянуть затёкшие ноги.

Оба сидят между лошадьми, расстелив на земле плащи. Обоим кажется, что на губах ещё держится горячий солёный привкус.

Надрезы сделали на крупе, передавая друг другу Наранов ножик и стараясь повредить шкуру животного как можно меньше. Днём на привале на образовавшуюся корку налетят мухи и слепни, но пока ранки не причиняют лошадям никакого беспокойства.

После этого припали губами к ранке, слизывая выступающую кровь и слушая, как глухо отдаются в затылке удары хвоста. И Наран, и Урувай слышали о таком ритуале, ритуале отправления в бой или в дальнюю, важную дорогу, когда нужно, чтобы всадник и лошадь были одним целым, но никому из их аила не было до этого в нём нужды.

Лошадей пугает запах крови, и поэтому обратная передача крови происходит через холку. Нужно прокусить себе язык, или проковырять чем-нибудь десну, и сплюнуть на холку коня. Жидкость в этом месте впитывается лучше всего.

Они надеялись, что сделали всё правильно, а спустя какое-то время в их сознание проникла уверенность в этом. Кровь в венах вдруг стала вполне ощутимой, как будто жидкость замёрзла и корябала вены кристалликами льда. Тело лихорадило, и только спустя какое-то время Наран понял, что на самом деле она нагрелась, сравнялась по температуре с температурой тела лошади.

Перед самым выездом от аила к ним пожаловали несколько мужчин. За рукава некоторых держались сонные мальчишки. Наран был рад, что они не пришли раньше, и они, похоже, понимали, что двоим нужно было подготовиться к дальней дороге.

— Это очень плохо, что вы идёте против воли старейшины, — сказал один.

— Я привезу ему степных цветов, — сказал Наран. — Может быть, горных маков.

Ответом ему был дружный хохот.

— Хорошо, что гриф пощадил твоё чувство юмора. Хотя, похоже, немного поклевал мозги. Но не думай плохо о старейшине. Он заботится об айле, и для него важна каждая блоха на спине каждой овцы.

— Он их пересчитывает? И как же он справляется? Наверняка ему не хватает десятого пальца.

На этот раз монгол не улыбнулся, и Наран понял, что немного перетянул стремяна.

— Ну хватит. Праздник не удался. Старший весь вечер сидел хмурый и рано ушёл спать. Главное, чтобы ус по этому поводу не обиделся и не прекратил расти. Ни один монгол не вынесет такого позора. Короткие усы! — мужчина покачал головой. — Такие могут быть только у детей.

Когда солнце показалось над горизонтом, они отправились в дорогу. Никто не вышел их провожать — напротив, случайный мальчишка-пастух, проснувшийся за час до этого и наблюдавший издали за последними их приготовлениями, поспешно отвернулся к юртам. Если смотреть на уходящего в степь путника достаточно долго, можно увидеть, как следом в высокой траве семян маленькие степные божки и несут в руках лошадиный помёт и мёртвых птиц для проведения свадебной церемонии. В жизни наблюдателя и в жизни путника этот миг станет поворотным моментом, так как у каждого свои, тайные отношения с Великой Степью, и она никогда не прощает излишне любопытных. Йер-Су может быть жестокой, как бешеная волчица.

Урувай, насвистывая, обозревал горизонт, Наран жевал травинку. Страх прошёл. Может, тому помог ритуал, может, то, что они наконец сдвинулись с места. Не струсил и не испугались в последний момент.

Ехали небыстрой рысью, чтобы дать лошадям разогреться. Урувай подгонял кобылу тычками и пинками и тихо ругался.

— Когда ты издохнешь, в небесных степях для тебя уже заготовили роль шатра. Ему-то уж точно не нужно никуда ехать самому. Шевелись уже, ну?

Кобыла только грустно вздыхала и спотыкалась, словно бы специально, на самом ровном месте.

— Смотри, как бы ты в Небесных Степях не стал резвой кобылкой, — насмешливо сказал Наран.

Постепенно как-то сама собой возникла походная песня. Урувай устал свистеть, начал клевать носом и тогда, чтобы не уснуть, затынул:

— *Горизо-о-онт и солнце прямо в глаза...
Трава ложится под копыта моего коня,
Жухлая, потому что скоро
под копыта моего коня ляжет осе-е-ень...*

Наран подхватил, сначала робко и негромко. Он всё умел делать лучше Урувая, но у того было два неоспоримых преимущества: лицо без отметин, пусть не самое симпатичное и похожее на земляную жабу, но зато без отметин — и голос.

— *Бегут полевые мыши,
А зимородки, похожие на стрелы,
Летают сверху.*

Друг одобрительно хмыкнул, и дальше затащили уже вместе:

— *Справа камни, слева камни...
То маленькие камни, нужные только сулам.
Мы едем искать большие камни.
Большие камни — где стон бубна
Духов призывает...*

Даже лошади подхрапывали в тон. Так и пели, пока не запыхались.

У Нарана с собой была небольшая дудочка-свистулька, сделанная из косточки какого-то животного. Играть он на ней почти не умел, но когда уставал петь, старался внести хоть какой-то вклад в общую мелодию.

— Петь у меня получается не очень, — чуть смущённо сказал он.

На привале друзья спешиваются, и Урувай объясняет:

— Это довольно легко. Ты просто берёшь звуки, которые издаёт степь, и раскладываешь их на земле.

Он оглядывается и собирает с куста сморщенные ягоды шиповника. Затем набирает с соседних растений каких-то семян и цветов кашки. Лошадь тянется к рукам, надеясь на подношение, и Урувай великодушно делится цветами.

Добыча его расположилась на проплешине, где трава уже была выедена с корнем лошадиными губами. Урувай рассыпает семена, бросает как попало ягоды и щёлкает по носу лошадь.

— Всё вокруг звучит как попало. Ты не найдёшь там никакой закономерности, никаких связей. Куропатка кричит только тогда, когда ей вздумается закричать, она никак не соотносит свой крик со скрипом кузнечиков.

Но есть мистические звуки. Они постоянны и повторяются через равное время. Именно они делают музыку.

Пальцы копошатся в земле, делая в линию, на равном расстоянии друг от друга маленькие ямки.

— Когда тебе нужны эти звуки, ты вспоминаешь, как шумит в траве дождь. Или как идёт по ровной степи хороший иноходец. Цок-цок, ритм готов! Ты берёшь все звуки, которые нужны тебе, чтобы рассказать сказку, и голос своего морин-хуура, и выкладываешь на ритм, — он пальцами перекачивает семена ягоды в углубления. — Получается песня. Если нет моринхура, просто слушаешь ритм природы. Вот и вся музыка. А ты говоришь — сложно.

— Это всё шаманское искусство, — пробурчал Наран. — И ты тоже шаман.

Тем не менее когда снова запели, получилось в лад, аж удивительно. Словно сунули руки в две разных заячьих норы и встретились там крепким рукопожатием.

В голове Нарана сами собой всплывали слова отца:

— Мы живём в степи, мальчик. Она бесконечна. Когда ты скачешь по ней, ты чувствуешь её дыхание. Копыта коня становятся твоими ноздрями, и через них ты чувствуешь, как вздымается её грудь. Это грудь нашей матери. Если тебе повезёт найти её сосок, ты вдоволь напьёшься её молока.

— А ты его пробовал? — спрашивает маленький Наран. Он сидит у отца на коленях и играет с его усами. Дёргает то за один, то за другой.

Отец жмурится, и морщины от этого становятся особенно заметны.

— Оно должно быть кислое, как кумыс. Только ещё гуще и ещё кислее. Нет. Я не пробовал. Грудь великой матери везёт найти только настоящим смельчакам. Притом что они совсем её не ищут, а следуют своим целям...

Можно ли их двоих назвать смельчаками? О да, у них есть цели, ну, во всяком случае, у Нарана. Накормит ли степь их своим молоком?..

Всё вокруг казалось неправдоподобно огромным, слишком громко заливались песней сверчки, слишком низко летали сойки. Будто людей рядом нет и не могло быть. Обычно кочующее племя сопровождали целые тучи пыли и различных кусачих насекомых, ведь за грузёными всадниками двигались повозки с юртами, а перед ними — табуны коней, кобыл и жеребят, и отары, и стада коров в окружении беспрестанно

лающих собак. Только высылаемые вперёд дозорные могли видеть, куда движется аил.

Не было ничего, что не мог бы подмять под себя этот огромный слизень, и не было ничего, чего бы он боялся. За ним оставалась скомканная и вмятая в землю трава, вывороченные корневища и лепёшки навоза. В свежей земле, вывороченной колёсами телег, мелькали сырые земляные черви.

Теперь же друзья чувствовали себя парой земляных жуков, заброшенных чьей-то безжалостной рукой слишком далеко от дома.

— Ты и вправду надеешься уйти в горы и вдруг встретить там Тенгри? — спросил Урувай.

Вся его фигура вызывала желание протянуть руку и спихнуть со спины коня, согнать, как большого, объевшегося крови овода. Сгорбился над загривком лошади, волосы повылезали из-под завязок и висели неопрятными прядями по обеим сторонам лица.

Наран более жизнерадостно смотрел в будущее.

— Я найду тамошних шаманов. Они должны мне помочь. Наверняка они видят Тенгри каждый день за обедом.

— И ты думаешь, что он даст тебе новое лицо или новую жизнь, или что?

Тяжёлый поход развязал узлы на языках друзей.

— Над этим я ещё не думал, — честно ответил Наран. — Даже у мухи с одним крылом есть назначение. Погибнуть и послужить пищей травяной ящерке... у меня же цели нет. Совсем. Знал бы ты, как я хочу быть хоть для чего-нибудь нужным.

Урувай задумался над тем, есть ли назначение у него самого, но вслух ничего не сказал. Наверное, подумал он, его назначение в том, чтобы сопровождать и поддерживать в путешествии друга. Эта мысль приободрила его, и он слегка выпрямился.

— Может, он уберёт твои шрамы.

Наран вытянул трубочкой губы.

— Он взглянет на меня и ужаснётся. Великая Кобылица ни за что не может родить ему такого уродливого сына и носить его потом на своей спине. Все её сыновья прекрасны. Конечно, он уберёт мои шрамы.

— И что ты будешь делать потом?

Наран открыл рот, чтобы ответить, но тут же его закрыл. Задумчиво проследил, как бежит ветерок по пустым коробочкам конского яблока. Семена уже вызрели и рассыпались по сдобренной дождём земле.

— Что пристал, — ответил он наконец. — Я об этом ещё не думал. Может, вернусь в аил. Может, найду себе жену в горах, уйду в степь по другую сторону гор и стану зачинателем нового аила. Пока что это так же важно, как твоя грязная шея.

Летом айлы переходили горы и уходили далеко в северную степь, чтобы испробовать на вкус тамошнего ковыля. Звери там были непуганые и по ночам подходили к кочевью почти вплотную. Воздух более влажный, чем на засушливой родине, а при желании и если женщины и дети не будут сильно тормозить поход, можно дойти до мест, где сама земля становится топкой от влаги. Где до самого края мира тянутся болота и где нет никакого спасу от кусачих насекомых.

— Наши-то оводы, — говорил отец Нарана, — ни черта ночью не видят. Ну, разве что, такую тушу, как конь, разглядеть могут. А эти летают-летают, жужжат-жужжат... даже ночью донимают. Неет, наши оводы роднее, скажу я вам.

Зато трава здесь была на самом деле зелёная. Такая сочная, что как сорвёшь травинку, так брызжет из неё сок, как будто кровь из перебитой вены.

Люди там жили тем, что питались соками земли. Землю они взрезали длинными ножами, сеяли семена. Рыли каналы, чтобы рядом с посевами всегда была вода. Всё это было для кочевников в новинку.

— У нас бы ничего не получилось, — говорили они, — степь бы нас прихлопнула, словно муху. Больно сухая земля, да и не приняла бы она в себя теплолюбивую и нежную, вашу эту... как её? Гречиху.

К осени возвращались в родные земли, везя в животах копей тёплую молочную траву и залегали на зимовку как раз ко времени, когда небо начинало хмуриться непроглядными тучами и с земли поднимался, словно снежный барс, ветер, обдирающий семена со степного костра. Такая зима кочевникам привычнее, и когда выпадет первый снег, похожий на мелкую манку, они уже обустраивают как нужно юрты.

— Те зимы не про нас, — прибавлял Наранов отец. — Они мягкие, как коровий навоз, в то время, как наша сечка, бывает, оставляет на незащищённых щеках царапины. Местные жители зарываются в снег, словно дикие барсы...

Видя, как друг поспешно плюёт на ладони, как трёт ими свою могучую шею, Наран засмеялся.

— Никто ведь тебя не видит. А мне какое дело до твоей шеи?

- Ты думаешь, я тоже прекрасен? — робко спросил Урувай.
— Волнуешься? Хочешь себе жену?
— Хочу.

Краснота перешла с шеи Урувая на его подбородок, а потом и на щёки.

— Вернёшься, подберёшь себе такую жену, какую только захочешь, — разрешил Наран.

Так, за песнями и разговорами ни о чём, они скоротали время для первого ночлега. Лошади, казалось, только слегка запыхались, да и то от вида свежего ветра и бескрайних просторов. Бегунок радостно подбрасывал круп, а Наран устало его бранил и шлёпал ладонью по ушам.

С наступлением ночи степь превращалась в серию толчков и падений, все чувства, кроме тактильных и в некоторой мере обоняния и слуха, пасуют перед слепой ночью. Стараешься идти медленной рысью. Падать на ночлег можно где придётся, друзья так и поступили, свалившись с коней, просто когда поняли, что на сегодня хватит путешествий. С тем же успехом они могли проснуться и обнаружить себя посреди змеиного логова, а кусты, к которым примотали коней, могли сигануть с места двумя перепуганными сайгаками.

— Славная бы вышла сказка, — расхохотался Урувай, когда Наран поведал ему свои соображения. — О неудачниках, чьих коней похитили сайгаки. Я бы с удовольствием такую рассказал.

Поужинали собранными им в аиле лепёшками и кусками мяса и упали спать, даже не разводя костра.

Утром Наран проснулся, чувствуя, как мышцы играют в перетягивание каната. На руках вздулись волдыри, на голених в паре мест показались синяки. Стряхнул с груди прикорнувшего там кузнечика, поднялся и с охом опустился обратно.

Урувай, похожий на беспомощного быка с подрезанными сухожилиями, сочувственно пошевелился:

- Что, тоже не очень спалось?

Наран разглядывал хмурое лицо друга.

— Ничего не поделаешь. Пришёл рассвет, значит, надо ехать дальше. Чем хорош рассвет: он всегда вовремя и никогда не даст тебе проспать.

Друг перекатился на бок. Для ползающих по нему букашек, одного шмеля и примостившейся на большом пальце левой ноги стрекозы это было настоящим землетрясением. Наран прибавил:

— Когда-нибудь кто-нибудь в великой степи придумает искусственный рассвет из глины, водяных капель, песка и двух-трёх прутиков камыша. И это их погубит.

Второй день пошёл далеко не так гладко, как первый. Начался он с того, что, когда они всё-таки поднялись и начали собирать плащи, Урувай что-то увидел. Глаза его расширились, изо рта брызнула слюна:

— Оглянись!

Позади них, всего в десяти шагах, возвышался огромный муравейник. Такой, что Уруваю доставал до подбородка, а Нарану едва ли не до макушки.

— Я никогда не видел таких муравейников, — сказал он.

Урувай покивал. Большая часть муравьёв, должно быть, была по степи и гонялась за сайгаками-кузнечиками, и муравьёв здесь было не так много. Рабочие достраивали задетую каким-то животным стенку, стаскивая туда комочки засохших травинок, палочки и семена растений. С другой стороны женщины вывели на прогулку детишек-куколок. А на самой макушке муравьи-шаманы восславляли Тенгри, устраивая дикие пляски вокруг крылышек пойманной и давно уже съеденной стрекозы. В лучах солнца крылья серебрились и напоминали огонь.

— Так вот почему я так плохо спал. Эти зверюги небось понадёргали из меня лучшие куски.

Друг задрал халат. Придирчиво измерил пальцами толщину жировой прослойки на боку.

Наран не мог оторвать взгляда от муравейника, смотрел, как отряд муравьёв, весело соприкасаясь усами, отправился доить колонию тли на лопухе здесь же, совсем рядом.

Урувай сказал:

— Я слышал, некоторые муравьи, кроме таких наземных юрт, роют ещё и подземные. Такие глубокие и с таким множеством ходов, что земля не выдерживала большого веса и люди или лошади, что проходили сверху, проваливались вниз. Это как червивое яблоко, что лопается в руках. Хлоп! — он сцепил пальцы, сделал движение ладонями друг к другу. — И нету. Пойдём-ка отсюда.

— Да. Позавтракаем где-нибудь в другом месте.

— Сейчас, только наберу нам муравьёв на закуску...

— Пошли, — Наран дёргал друга за рукав. — Наловишь их потом на себе.

За завтраком они до последней крошки доели то, что им собрали в аиле, сжевав даже листья щавеля, в которые была

завёрнута еда, и начали свои запасы. Там был кусок вяленого мяса и горькие травы, которые помогают утолить аппетит. На сегодня и на завтра хватит. Послезавтра придётся глотать кости.

— Сколько дней ходу до гор? — выразил общие мысли в осторожном вопросе Урувай.

— Не знаю, — ответил Наран. Взболтал воду в бурдюке. Её хватало на подольше, чем еды, но хорошо бы по дороге нашёлся какой-нибудь ручеёк. — Я же не шаман, чтобы предсказывать путь заранее. Всё зависит от того, в верную ли сторону мы едем. Если в верную — то мы приедем сразу же, как приедем.

— Хорошо бы поскорее, — прокряхтел Урувай.

После недолгого молчания Наран спросил:

— Что об этом говорят старые хроники?

— Какие хроники?

— Ну, ты же знаешь всякие сказки. Про луну, что катается по степи, как колесо повозки, и молодого монгола, что скачет за ней, чтобы развернуть и погнать плетью к своей любимой... — Наран стал загибать пальцы. — Про семьдесят семь ханств, у которых семьдесят восьмой хан похищал молодых невест... что они ели в походе? Не одной же любовью все питались.

Урувай сморщил лоб.

— Наверное, любовью. Там нет таких мелочей.

— Это грустно. Почему же предки не донесли до нас самое важное? Какое же дело нам до того, как он там заарканил луну или насколько похотливые крики издавали жеребцы при приближении той девки?

— Принцессы, — поправил Урувай.

Наран ударил кулаком в ладонь.

— Вот это мелочи! А откуда они все доставали еду в степи и в пустыне — это загадка. Вот об этом надо было рассказать...

Урувай только развёл руками.

Оседлав коней, они тронулись дальше.

Урувай пытался мурлыкать песню, но Наран не поддержал. Подавленное его состояние было видно по тому, как скорбно напоззло на пустую глазницу веко, и по тому, как скалил зубы и сбивался с хода конь. В тяжёлых раздумьях юноша пихал Бегунка в бок правой ногой, и сам этого не замечал.

— Эта степь нас растопчет, — сказал он. — Никто ещё не переходил её без табуна, без запасов еды и воды. Она играет с нами, как весна с талым снегом. Захочет — надавит горячими

руками, а захочет — закроет глаза и даст отдышаться... Захочет — подсунет ручей, а захочет — заплутавшего барса. Помнишь муравейник? Так вот, это был знак! И если мы сейчас хорошенько посмотрим по сторонам, мы таких знаков разглядим — хватит, чтобы наш старик-шаман схлопотал себе сердечную болезнь.

Щёки Урувая потекли к подбородку.

— Что же нам делать?

— Нужно просить покровительства. Превратиться в часть великой степи. В куст жимолости, в мошку, кружащую над крупом Бегунка — во что угодно. Чтобы при одном взгляде никто не мог сразу увидеть, где плоть Йер-Су, а где — мы.

— По-моему, это зовётся — «спрятаться».

— Нет разницы! Нужно, чтобы они увидели, что мы ничем не отличаемся от зайца или от той же лошади. Что мы не нож в их плоти и не блоха в их постели.

После этого Наран замолк и молчал весь день. Иногда слышался его голос, подхватывающий какую-то ноту в песнях Урувая, пока хозяин блуждал в своих думах, а потом прятался, как собака, боящаяся попасться на глаза излишне суровому хозяину.

— Наловил мыслей? — спросил он на привале.

— Только мошек, — Урувай яростно плевался. Мелкие противные насекомые почему-то всегда летают так, что всаднику ничего не стоит попасть в их облако головой и хорошенько зачерпнуть разъявленным ртом или веками. — Может, породниться с этой степью, а?

— Я тоже так подумал.

Привал они устроили возле пересыхающего ручейка, в котором удалось напоить коней и восполнить запасы воды в бурдюках. То был даже не ручей, а так, ленточка мокрого песка, спрятавшаяся среди пышных зарослей какого-то кустарника. Лошади зачерпывали своим огромным ртом изрядно песка, а потом смешно плевались и фыркали. Урувай уселся рядом, пристроил между ног один из бурдюков и принялся отжимать туда воду. В желудке образовалась ощутимая пустота, а до ужина оставалось ещё порядочно времени.

Они вновь взгромоздились на коней, и ручеек остался далеко позади, когда до Урувая дошло, что в тоне Нарана не было и намёка на шутливость.

— А ты? — спросил он осторожно. — Ты что-нибудь придумал?

Шли быстрым шагом, чтобы дать лошадям немного размять мышцы. Бесконечные пустые пространства, кажется, перестали впрыскивать в них свой яд, понукающий рваться и рваться вперёд, чтобы догнать горизонт и одним прыжком оказаться на солнце, и теперь всадникам ничего не оставалось, кроме как пытаться определить по бешено вращающимся ушам, что так беспокоит животных.

Животных беспокоило всё. Пролетающие мимо огромные жуки с блестящими надкрылками, необычно густая трава, что пыталась захлестнуть вокруг ног петли. Отсутствие табуна рядом. Периодически то один, то другой пытались подать голос, но отвечал на него только конь приятеля.

Наран повернул голову.

— То же, что и ты. Нам нужно породниться со степью. Придумать какие-то ритуалы. Иначе нас съедят здесь с потрохами. Ты не видишь, там, наверху, есть грифы или вороны?

Урувай запрокинул голову и действительно увидел нескольких птиц. Часто-часто закивал.

Наран прикрыл глаз.

— Мы для них всего лишь будущая падаль. Там, наверное, есть тот самый, что не успел выклевать мне глаза.

— Но здесь нет ни шаманов, ни идолов. Чему ты собрался поклоняться?

— Мы теперь в самом сердце дикой природы. Посмотри на своего коня. Такие вещи, как повод и ремень под седлом теперь для него всего лишь ивовые прутьики, вставшие поперёк бега леопарда. Чем дальше мы от айла, тем меньше эти символы твоей власти имеют значение. Он терпит тебя только по старой памяти, но скоро ветер выдует из его развесистых ушей последние мозги, он скинет тебя и ускачет в степь. Поэтому нам нужно её чем-то задобрить.

Друг с ужасом смотрел на своего скакуна, мирно на ходу срывающего цветы с облетевшими уже лепестками.

— А ведь правда. Вчера он хотел меня скинуть. Когда увидел суслика. А я думал, он просто испугался...

— Ну вот, видишь. Нужно иметь волю толщиной с берцовую кость, чтобы удержать в кулаке уздцы. Или договориться со степью, чтобы она рассказала твоему коню, что мы скачем по её заданию.

У Урувая на уме было другое.

— Слушай, это суслик ей сказал, что меня теперь можно не слушаться?

— Ну, не думаю, что лошади понимают языки грызунов.

Наран улыбнулся и кивнул сам себе, словно принял какое-то трудное решение.

— Доставай еду.

— Ты проголодался? — обрадовался Урувай, и суслик, не смеющий шевельнуться под пристальным изучающим взглядом, поспешил слинять из его головы.

— Нужно показать Йер-Су, что наши намерения искренни.

Наран взял повод в зубы и принял из рук друга оставшиеся у них продукты. Кусок мяса с кровью, немного грибов. Просяная каша, завернутая в лопухи. Зелень. Сказал, стараясь, чтобы речь звучала как можно более внятно (с поводом в зубах это было не так уж легко):

— Эй, Йер-Су! Мы верные твои кони. Верные степные кони, слышишь! Перелётные гуси, опустившиеся на ночлег в полынь. Мы просим, чтобы ты не оставляла нас, чтобы сделала нашу плоть стойкой, как глина, чтобы даже вороны застряли бы в ней своими клювами. Чтобы ты нашла для нас место среди питающихся молоком и мясом зверей, среди птиц, земляных гадов и жуков с пауками.

Конь под ним закрутился, пытаясь держать в поле зрения большую белую бабочку, что подлетела непрослительно близко. Наран упрямо сжал его бока коленями.

— Мы накормим тебя всем, что привезли с собой, и надеемся, что ты тоже дашь нам еду, когда она потребуется.

Он выпустил из рук мясо, и оно полетело под копыта. Ухнуло в траву так, будто там, именно в этом месте, в халате Степи была прореха. Урувай снял шапку, молча утёр ей со лба и с шеи пот.

— Теперь мы без еды.

Наран вскинул подбородок, готовясь защищаться.

— Йер-Су даст нам поесть из её тарелки.

— Может, тогда стоит притвориться кем-нибудь более родным для неё? Например, навозным жуком?

Наран собрался сказать что-то ещё, но застыл на полуслове.

— Хорошая мысль. Только жуками-навозниками нам быть не пристало. Лучше я буду лисицей.

Род кочевых племён происходил с одной стороны от сайг, которые питались подножным кормом и были вечно в пути, а с другой — диких серых лисиц, которые питались падалью и известны своим подхалимством перед великими богами и ду-

хами. Столько ритуалов, сколько у лис, нет ни у кого. Так, считается, что на кончике лисьего носа сидит дух умирания и гниения. Самое главное, что лисица сама так считает, поэтому, заимев себе на день ужин, первым делом мажет в крови нос, чтобы умастить своего покровителя.

И каждому известны ночные лисьи танцы в оврагах, когда нервный лай взлетает до самой луны.

Противоестественный союз этих двух животных когда-то и породил племя людей, а смешавшиеся толики крови — лукавой крови от лисицы и степной — парнокопытных — научили их ладить с лошадьми.

Он слез с коня, и повод устроился в руке у Урувая. Опустился на четвереньки, осторожно, как малыш, что делает первые шаги — уже не верхом, а своими собственными ногами. Лёг пузом на траву, как это делают лисицы, лопатки неуклюже выпирают из-под одежды. Поводил носом и сказал с вопросительной интонацией:

— Тяв?

Урувай разглядывая его, склонил голову на бок.

— Что за шаманская лиса тебя укусила?

— Тяв-тяв.

— Немного не так. Теав, — изобразил Урувай довольно правдоподобно. Виляя задом, сполз с лошадиной спины на землю и собрал оба поводка себе под мышки. — Теав-теав. Попробуй растягивать звуки. И не тявкай басом: голоса у лис нежные, как у куропадок.

Наран повертелся вокруг своей оси, словно пытаясь дognать невидимый хвост. Повторил:

— Теав-теав.

Лошади заволновались и потянули друга в стороны, как будто две своенравных жены. Он грустно сказал:

— Ну вот, хорошо. Мне остаётся тогда только быть сайгой.

— Отличная мысль! — поддержал Наран, стараясь не выходить из образа. Голос был высокий и певучий, а одежда на спине вздыбилась, как будто под ней был настоящий меховой заливок. — Попробуй!

— Тебя не понятно, — ещё больше погрустнел Урувай. — Ты говоришь по-лиси.

Наран не без усилия вспомнил, каким образом цеплять на язык сложные человеческие слова. Повторил.

— Какая же из меня антилопа?

— Слегка упитанная. Но это ничего. Давай же!

Он вновь затаивался и бросился в кусты, виляя задом и низко припадая к земле. Где-то далеко впереди поле выстрелило в небо пучком стрел — стайкой ябликов.

Урувай с обречённой миной наблюдал, как качается трава, как будто там, у самой земли бегают новорождённый ветерок, после чего связал поводья коней вместе и сам опустился на четвереньки. Выпрямил руки и ноги и сделал первые неуклюжие прыжки. Земля опасно шатнулась, потом вдруг перекувыркнулась, и небо внезапно оказалось внизу, прямо под «копытами».

Наран, устроившись в густой траве в сторонке, поджав под себя конечности и выставив наружу нос, наблюдал, как друг, словно большая, набитая пухом подушка, вновь перекатился на ноги. Стал считать вслух:

— Первый удачный прыжок. Молодец! Давай ещё. Второй удачный прыжок... тебе не кажется, что эта одежда слишком неудобна для животных?

— Что?

Слово на человеческом языке подкосило ноги новорождённого сайгака, и он вновь свалился.

— Раздевайся. Выползай из своей шкуры. Она тебе только мешает.

Урувай послушался. Пыхтя, растянул пояс и остался только в исподнем. Выгнув дугой спину, он сосредоточенно совершал один прыжок за одним.

— Эй, сайга! — крикнул Наран. — Кажется, время завтракать. Ты голоден, как дикий зверь.

Друг остановился, согнув ноги для очередного прыжка. Прислушался к голосу своего живота, а потом радостно развернулся в сторону, где осталась лежать в траве еда.

Наран сказал строго:

— Что, по-твоему, едят сайгаки? Не конину и не лепёшки... что они едят? Айе! Кушай!

— Ну, положим, от лепёшек бы они не отказались, — промямлил Урувай, но покорно ткнулся носом в траву.

— Мы покормили Йер-Су твёрдой кашей и мясом. Теперь она должна нам немножко нежной травы. Немножко своей силы, своего молока.

Послышался скрип зубов друг о дружку, и даже лошади подошлись поближе, почти столкнувшись лбами, чтобы посмотреть, как человек шлёпает губами и из уголков рта у него свисает трава.

Наран покотился со смеху, дрыгая в воздухе ногами.

— А можно есть цветы? Такие, синенькие...

— Не отвлекайся.

— Ага. Вкусные, — пробормотал Урувай с набитым ртом, и Наран снова не смог совладать со смехом.

— Посмотрю я, как ты будешь ловить своих мышей.

Наран перекатился на живот.

— И поймаю. А пока пожую немного конины, пока её не нашли грифы. Лисы ведь едят мясо.

— Да, только не такое солёное, — Урувай уже поднялся с колен и ухмылялся во весь рот. Он видел впереди сладкую расплату. — Для начала тебе сойдут и насекомые. Да-да, лисы питаются насекомыми, а ты не знал?

— Все лисы, которых я знал, питались моей кровью, — пробурчал Наран. — Слушай, а трава на самом деле вкусная?

Друг почесал жировую складку на животе. Задумался.

— Она была съедобной. Во всяком случае мой животик больше не просит есть. Удивительно, что, чтобы наесться, мне хватило травы.

— Ты ведь это говоришь не для того, чтобы заставить меня есть букашек? — осторожно спросил Наран.

Увидел, как поползли вниз усы друга и поспешно сказал:

— Да я шучу. Конечно же нет.

Ловить юрких насекомых руками оказалось очень трудно. Урувай посоветовал попробовать ему использовать пасть, и за пять минут Наран поймал немного крупной саранчи и одну большую бронзовку. Всё это, удивляясь весьма слабым рвотным позывам, покорно сжевал и продемонстрировал другу в доказательство языка.

Что-то странное происходило. Шея как будто вытянулась и гнулась совсем не так, как должна гнуться шея. Или это просто из-за усталости и с непривычки к дальним походам так свело мышцы?..

Наран сел, задумчиво почёсывая за ухом. Означает ли это, что они больше не будут нуждаться в человеческой пище? Значит ли это, что Йер-Су приняла их подношение и вдоволь повеселилась их неуклюжим попыткам впустить в себя необузданную дикую природу?..

— Пожалуй, здесь мы и устроим привал, — наконец решил он.

Глава 4. Керме

Керме никогда в жизни не видела птиц. Хотя иногда на ужин давали мясо степных куропадок, высушенное на солнце, с выпущенными соками и слегка подрумяненное на огне. Ещё, бывало, мальчишки хвастались своими стрелами, она могла потрогать оперение. Но она никак не могла связать эту крошечную тушку и эти мёртвые волосинки, похожие отдалённо на человеческий волос, и стремительный полёт над степью, когда ничего не касается земли. Это казалось ей волшебством.

От этого волшебства ей один раз досталось перо. Оно спланировало ей прямо в руки, длинное, острое, как стрела, и с таким мягким приятным кончиком, что хотелось пощекотать нос и как следует чихнуть. Керме не могла представить, как такое хорошее перо кто-то мог уронить. Только сбросить специально, прямо ей в руки.

— Что ты там такое несёшь? — спросили её, и девочка узнала голос старика Увай.

Обычно Увай, как и другие мужчины, замечал малявку, только когда она попадалась ему под ноги. Но в этот раз девочка различила в его голосе неподдельный интерес. «Наверное, моё лицо меняет цвет, когда перо у меня в руках, — подумала Керме. — Меняет цвет на счастливый».

Старик подошёл ближе, она слышало клокотание в его горле прямо над свое головой. Увай был очень плотным, и шея его всегда и за много шагов источала запах пота.

— Это журавлиное перо, — сказал он. — Хорошее перо. Ты знаешь журавлей? В это время они обычно летят к вечному морю, а оттуда выше — чтобы ловить в небесной воде звёзды.

Керме его не слышала.

— Наверное, журавлик сбросил мне это перо. Деда Увай, а какое оно?

Дыхание, такое, будто деда Увай был бурдюком, наполненным внутри молоком, переместилось и было теперь перед ней. Он наклонился, и кончики его кос щекотали Керме за ухом.

— Белое, слепая белка. Это белый журавль. Оно такое же по цвету, как снег. Или как соцветия кашки.

Керме глубокомысленно кивнула, а старик усмехнулся в усы.

— Это подарок от моего жениха. Он отправил мне перо как знак того, что помнит обо мне и скоро придёт за мной.

— Ветер — вечный кочевник, — ответил Увай. — Ты будешь или всё время с ним, или всё время в шатре — сидеть и ждать его. Мне кажется, тебе будет лучше в родном кочевье,

где ты дала уже кличку каждой овечке. Такую красоту лучше держать под присмотром.

Он, кряхтя, потопал прочь, прежде чем Керме успела что-нибудь ему возразить. Она открыла рот и вновь закрыла.

Перо она вплела себе в кафтан, так, чтобы не было видно, и оно день за днём щекотало ей кожу. А когда оставалась одна, доставала его и пыталась проследить подушечкой пальца за ровными краями. Пальцы у неё были как и у любой женщины, и Керме в каком-то роде этим очень гордилась. С детства они привыкли работать. Если мужчины, юноши и маленькие мальчишки с трёх лет развивали кисти, чтобы суставы ходили плавно, легко отпускали тетиву и чтобы копьё было продолжением рук, а руки — всегда продолжением копья, то для женщин важны пальцы. Ими они пробуют, просох ли навоз и годится ли он для костра, ими они мяли и превращали в войлок овечью шерсть, пальцы у них варились в кипятке, ныряли в снег и кололись иглами. Они превосходили по упрямству сыромятную кожу, потому как сами мяли её и делали годной для уздечки и для седла. «Мужчины сражаются кистями, а женщины — пальцами» — такова поговорка кочевых племён.

Конечно, Керме нравилось думать, что она сражается рядом со всеми остальными.

Не меньше ей нравилось подмечать связи между вещами. Она чувствовала, что если не будет этого делать, травяной ковёр может вдруг превратиться в плотное одеяло, которое накроет её с головой и лишит её способности рассуждать. С утра суета и коней возле шатров куда больше, чем обычно. Пахнет мясом, хотя летом, когда кобылицы дают молоко в большом количестве, степной народ мало ест мяса. Значит, ночью приехали гости. Вот её с несколькими другими детьми отправили собирать высушенный на солнце бычий навоз и заодно лошадиный, где найдут. Вот, некоторое время спустя, зашипел огненный змей и следом за ним второй. Значит, гости приехали издалека и разжигают очищающие костры, чтобы все хитрые демоны, что расселись по их плечам и уцепились за конские хвосты в дороге, сгорели, как семена одуванчика. Коней, упирающихся и рычащих сквозь зубы, проведут тоже, и позже стоит ждать запаха тлеющего волоса.

Мясом пахнет хорошим, значит, шаманы забили не собаку или быка, или коня, мясо которых годится в пищу только после того, как с него слижет соки солнце — зарезали одну овцу, и кого-то из своих подопечных она сегодня не досчитается.

Что же, так нужно. С малых лет Керме знала, что всё когда-нибудь переместится в небесные степи, будь то овцы, или юрты, или даже люди.

Шаманов она боялась и старалась их избегать. Это было довольно легко: они шествовали важно и долго, похожие на диких яков в своём медленном величии и в том, как колыхалась вокруг них их шерсть. Волосы у них росли сильнее, чем у обычных людей, и заплетались вместе с разными тряпочками, с лоскутами войлока, с конским волосом и бычьими жилами в тяжёлые шнуры, которые доставали до земли и даже волочились по ней. Они так шуршали в траве, что создавалось впечатление, будто за шаманом следует целое стадо мелких зверушек. Травы склонялись за его шагами в глубоком полклоне.

На шее у него звякали друг о друга разные железки, ножи без ручек, кольца, продетые друг в друга. С сухим звуком стучались друг о друга полые кости. Дети шептались, что шаман перед каждой зимой вытаскивает по косточке из своего тела, выпивает костный мозг и вешает себе на шею или на уши, а бывает, что цепляет на нос. Всё это богатство передавалось от шамана к шаману, и каждый служитель Тенгри преумножал его.

Каждый шаман носил в руках ручной гром. Делать его женщинам не доверяли: слишком грубы у них руки, чтобы выделать нужной толщины кожу и согнуть для каркаса вишнёвые прутья, не повредив их. Шаманы, которые не занимались ничем, кроме служения, сами делали себе бубны.

Их шатёр всё время как бурлящий котёл, травы и коренья, ягоды и грибы превращаются там в воздух и устремляются прямо на небо, боги и духи пляшут вокруг этого, видимого для других и ощутимого для Керме, дымного столба, и радость их звучит одурелыми криками птиц или ломким хрустом снега в зимнее время.

Во время заката оттуда разносится мерный грохот бубнов, и всё живое замирает и прячется по норкам, думая, что это катится гроза.

Солнечные лучи, говорили, просвечивают таких людей насквозь, и видно, что, кроме халата, нет в них ничего плотного, и даже кожа больше похожа на воду. А в лунные ночи от них остаются только тени, которые пляшут вокруг потухающих углей до самого утра.

— Шаманы — особенные люди, — говорила бабка. — Без них с нашим кочевьем не будет ни мяса, ни молока и солнце

всегда будет разить наших охотников в глаз. А стужа вморозит нас в землю, так, что даже лисицы не смогут разгрызть промёрзлые кости.

Перед каждой юртой было особенное место, где жил Тенгри. Лицом, вылепленным из войлока, он наблюдал за тем, правильно ли пасутся стада, вдоволь ли они едят и хорошее ли молоко дают кобылицы. Смотрел за людьми: чистят ли коней и слезливо ли поют на застольях песни. Летом, когда не было сильного солнца, женщины занимались шитьём перед входом в шатёр, и под грозным взором работа спорилась скорее. Шаманы окуривали его своим дымом, принося его в специальных сосудах, или, напротив, внося идола меж двух костров в шатёр бога. Керме вместе с остальными женщинами доводилось участвовать в их изготовлении, и в такие минуты, нанизывая войлок и перемежая его с высушенными травами и шёлковыми тряпицами, она думала, что вот сейчас своими руками создаёт лицо великого и грозного Тенгри.

«Интересно, что возникло сначала, — проносилось в её голове, — солнечное лицо или лицо из войлока?»

— Тенгри — пастух пастухов, — важно говорили шаманы, и Керме чувствовала себя под перекрестьем пристальных взглядов, даже не видя лиц. Словно маленькая овечка под взглядом пастыря.

Шаманы забивали под каждым новым идолом по одной овце, вскрывая длинным ножом, похожим по форме на звериный коготь, — хотя Керме не знала о зверях или птицах с такими большими когтями — вену на шее животного и пачкая руки в крови, и выдавливая весь сок к ногам статуи. Это единственная, пожалуй, вода, которой позволяли в степи беспрепятственно уйти в землю, ведь ей питается верховный бог. Сердцем он лакомился тоже, его вырезали из груди и на ночь ставили на нарядном блюде перед идолом, чтобы он смог утолить свой голод. Керме всегда поражало, как мало он ест: то, что вносили утром в шатёр, чтобы разделить между всеми его жильцами, было не намного меньше того, что оставляли вечером.

Шкуру и неповреждённые кости предавали огню, а пепел вместе с золой оставляли на ночь, чтобы им могли полакомиться робкие духи убитых животных.

После этого идол начинал видеть глазами бога, и Керме часто представляла у него вместо глаз дыры прямиком в небо.

Овечьи стада уменьшались, потом тучнели, потому что из степи пригоняли других овец, и вновь уменьшались в дни гу-

ланий или когда вдруг наступала ранняя морозная осень и требовалось мясо, чтобы подогреть кровь.

Утром возле шатра воина по имени Усул ставили нового идола, и все его обитатели: сам Усул, два его малолетних сына и четыре жены — проходили очищение огнём. Перед новым ликом Бога требовалось предстать чистыми. Дети орали с самого утра, а Усул говорил с ухмылкой, что подпалил себе усы и теперь, стало быть, помолодел.

Поэтому Керме ждала сегодня шаманов. Овцы, не ведая о возможной участи, бродили вокруг, и она чувствовала касание их ушей или в лицо ей прыгал удирающий от овечьих зубов кузнечик. Водя носом почти у самой земли, она собирала землянику. Наступило шаткое время, когда ягоды только-только поспели, но не оказались ещё съедены грызунами, муравьями или скотом, чей зев переваривал, помимо травы, без разбору кузнечиков, семена, корешки, ягоды и даже землю. А бывало, и нерасторопных хомяков...

От палящего солнца земляника пряталась в ладошках растений и степных цветов. Ещё десяток дней, и суровый папа-солнце заприметит, что детишки прячут во вспотевших росой ладошках сладости, и отберёт, раздвинув своими чуткими пальцами траву, высушит оставшиеся ягоды дотла.

Со стороны, где стояли шатры, возникло долгожданное звяканье шаманских украшений, хлопанье рукавов халата, долгие важные шаги. Бубен на поясе отдавался долгим гудением при каждом шаге. Овцы перестали жевать, даже жужжание насекомых многозначительно стихло.

— Ну, кто сегодня послужит великому богу, мои маленькие облачка? А ты, слепая белка? Ты не хочешь?

Собаки, что помогают пасти стадо, не могут иметь имени, и собаки Тенгри — не исключение. Поэтому этого шамана звали Шаман. Так же, как и любого другого, но если бы Керме произнесла это имя вслух, в имя этого человека она бы вложила чуть больше чувств.

— Могу, — шепчет Керме, — но зачем Тенгри в личном стаде слепая овца?

Шаман брызгает смехом, и Керме представляет, как этот смех течёт у него изо рта прямо по усам.

— Ты хорошо сказала. Ладно, твоя попа обойдётся пока без моего клейма. Ну-ка девочки и мальчики, кто из оставшихся? Сейчас посмотрим, с кого жёны Тенгри будут стричь шерсть для халата своего господина?..

Керме полагала, что в Шамане, в одной шкуре, родились сразу два человека и оба самые весёлые, которые могут родиться на этой засушливой земле. Поэтому он такой полный и такой смешливый. Один из этих двух людей рождён для того, чтобы говорить с Тенгри, другой — задира, драчун и любитель охоты. Поэтому, когда сотрясать степь выезжают очередные охотники, из шаманского шатра доносится полный горести вздох.

На лошади, при всех его габаритах, Шаман ездит отлично, но оружие его поёт громовые песни вместо того, чтобы рубить врагов и пускать стрелы. Шаман, чувствовала Керме, хотел бы сразу и того, и другого.

Она была рада, что пришёл именно он.

— Пожалуй, ты, — решил Шаман. — Самый смирный. Стричь тебя будет легко. И навоз для розжига костра собирать легко, и не придётся бродить по всему пастбищу.

Керме вздрогнула, в ладошке появилась мокреть. Раздавленные ягоды дали сок. Она уже знала, на кого пал выбор. Внутри всё перевернулось, словно кто-то опрокинул кувшин с молоком.

Сквозь меланхолично расходящихся животных он проследовал к Растяпе с ритуальным жалом в руке — полой и слегка заточенной бычьей костью. Барашек дёрнулся под его руками, но тут же успокоился: укусы от слепней, и те бывали иногда посильнее.

— Вот так, — сказал Шаман. — Можешь собирать вещи. Травы с собой не бери: там, наверху, она сочнее.

Когда шаман удалился, пожелав Керме, чтобы слепни хоть немного отличали её от овец, девочка на коленях подползла к Растяпе, нашарила у него на крупе липкое пятно. Шерсть быстро намокала, сваливалась и не давала крови течь дальше. Почуввав запах крови, вокруг тотчас же закружились мухи. По этой кровавой метке, когда понадобится, можно будет легко опознать животное, предназначенное в жертву.

Керме взмахнула руками, отгоняя мух. Ощупью добралась до головы животного и повисла на шее. Растяпа, как и положено, стоял мордой туда, где далеко-далеко, по рассказам других, темнели горы. Обычно он никак не реагировал на девочку: даже на розги и пинки мальчишек он реагировал слабо, вяло перемещаясь в требуемом направлении и не отворачивая морду от вождя севера.

Однако в этот раз он чуть повернул голову и взмахнул ушами, словно вопрошая: «И что теперь?»

— Теперь, — Керме уселась на траву, нагнув голову животного к своим коленям, — теперь твоя кровь выльется в землю, а тебя самого увезёт на небо огненный конь на тонких ногах. Прямо в небо. Понимаешь, что это значит?

Овца внезапно дёрнулась под руками, и Керме от неожиданности разжала руки. Жгучая волна чужого беспокойства накрыла её.

— Растяпа! Растяпа! — зовёт она и слышит, как он пятится от неё где-то совсем рядом, расталкивая задом товарок.

Керме слепо бросилась вперёд, и пальцы её сомкнулись на чём-то копыте. По бляению и суматохе, что никуда не пропала, а перемещалась от неё прочь, девочка поняла, что копыто принадлежало кому-то другому.

Она села и громко сказала:

— Я знаю, что делать.

Шум поутих. У Керме вдруг перехватило дыхание. Она облизала испачканные в ягодном соке пальцы, пытаясь умерить пыл бешено стучащего сердечка, которое словно вознамерилось убежать из грудной клетки.

— Вернись ко мне, Растяпа! Поверь той, кто знает все твои привычки, до последней. Кто знает, что ты любишь бутоны полураспустившихся маков и терпеть не можешь, когда я забываю достать оттуда всех пчёл. Я только стараюсь тебя спрятать.

Почувствовав, как в руку ткнулся мокрый нос, она сказала:

— Хорошо. Я не знаю, какого ты цвета, но надеюсь, что за тобой придут другие шаманы. Теперь нужно найти что-нибудь острое.

В волосах родилась и прошла по телу холодная судорога. То, что она задумала, делать нельзя. Ни в коем случае. Если узнают, ей влепят розг. Или навсегда выгонят из аила, и она будет скитаться по степи до тех пор, пока не упадёт замертво от голода.

А если узнает Верховный Бог, он навсегда закроет тучами небо для аила. Что же делать? Все погибнут. Бабушка, ребята, женщины, все... И всеильные мужчины ничего не смогут поделать. Шаманы больше не смогут достучаться до неба своими бубнами.

Керме так далеко зашла в своих страхах, что схватилась за голову. Ей мерещился топот разбегающихся стад, стоны умирающих, костры, которые то не могут согреть, то, напротив, своими искрами прожигают людей насквозь. Опомнилась, только когда почувствовала дрожь в прижавшемся к ней тельце.

«Я ещё не совершила ошибки! — обрадовалась она и потом обрадовалась ещё больше: — Ты жив!»

Пока жив. Но это продлится недолго, словно говорил холодный, как земляной слизень, нос.

— Ты убежишь туда?

Каким-то образом животное поняло её вопрос. А Керме уловила дрогнувшими мышцами и заходившим вдруг кадыком положительный ответ. Горы там или что-то ещё, от чего не отводит взгляда овечка, но она пойдёт туда. Будет стелиться по жухлой траве, словно барс, избегая скачущих на высоких конях монголов и степных хищников. Через день, говорили шаманы, ляжет первый снег.

— Земля засыпает, — вспомнила она подслушанный утром разговор. — И скоро укроется своим одеялом.

Сказал это один из младших шаманов, когда весь аил сидел возле общего костра и поглощал завтрак из жидкого, разваренного в воде пшена. Все наострили уши: шаманы говорят свои новости за завтраком и ужином так, будто это не новости вовсе, а так, словесный мусор, который накопился под языком и от которого следует избавиться, и к тому же предпочитают их не повторять. Вообще повторять сказанное шаманами не следует, ведь совсем не значит, что они узнали это лично от Тенгри. Скорее всего, подглядели в рисунках, которые великий Бог делает, чтобы не забыть, что ещё ему сотворить с землёй и со своими подданными в ближайший день или в ближайшие сто лет.

По другую сторону раздался голос доброго Шамана.

— Сегодня к обеду накройте всех этих идолов какими-нибудь тряпками. Уверен, старику не понравится иметь белую бороду, как у западных лесных дикарей. Снег будет хороший.

Керме почувствовала, как поёжились все вокруг костра, и даже мелочная женская ссора, возникшая было у одного из дальних костров из-за отданной собаке не до конца высосанной кости, вдруг затихла. В тишине было слышно, как шумно и с удовольствием хлебает свою кашу Шаман. Он ни на семечко не побеспокоился, что его слова вызовут какое-то возмущение в небе.

Керме вообще сомневалась, что до неба достанет какой-либо человеческий звук — шёпот ли или говор, или даже крик. Говорили, оно очень высоко. Так высоко, что даже самый умелый лучник не сумеет докинуть до него свою стрелу.

Керме вспомнила детскую сказку: мол, овцы на самом деле комья такого тёплого снега, что падает по ночам с небес летом.

Она никогда не понимала, как могут быть родственниками холодное и рассыпчатое, что покрывает травы зимой, грызёт, как беззубый щенок пятки, а в особо лютые ночи отрачивает зубы — и эти тёплые животные. Но сейчас вспомнила, с каким вниманием слушали бабушку остальные дети, и решила для себя, что в ней, может быть, есть капелька правды.

Овцам, наверное, и правда легко укрыться среди снега.

Она опустила на колени и поползла между овечьих, тонких, как тростинки, ног. Пробовала руками траву, пока наконец не нашла, что искала. Один раз наткнулась на старое перепелиное гнездо, и в любое другое время эта находка увлекла бы Керме надолго. Скорлупа или даже птенцы — это всегда интересно.

Но сейчас ей нужно спасти Растяпу...

Керме нашла нужную траву. Ухватила за соцветия и осторожно потянула на стебель. Потрогала пальцем кончик — не сломался ли? Очистила его от крошечных жёлтых цветков. Это называется травяная игла, или кипчак. Его стебель тонок, но прочен, и сила его роста и жизнелюбия настолько велика, что, говорят, он может прорости даже сквозь животную шкуру.

Взяв иглу в зубы, ощупью она направилась обратно, к Растяпе, но остановилась возле другой овцы. Погрузила руки в тёплую, слипшуюся от грязи шерстку... Игла проткнула кожу легко, словно настоящий костяной нож. Животное дёрнулось, выскользнуло из рук, оставив в воздухе тоненький аромат крови.

— Спокойно, — шептала ей вслед Керме. И, противореча себе, добавляла: — Беги, милая. Беги.

Почувствовала, как в уголках глаз собираются слёзы. Но плакать некогда, даже если этой овечке она когда-то тоже дала имя. Благодаря девочке, с кличками ходила половина кудрявой отары, хотя эти клички постоянно менялись и кочевали от одного животного к другому. Она подозвала к себе Растяпу и, смочив в слюне пальцы, принялась выбирать кровь из его кучерявой шерстки.

— Сейчас придут и уведут Бабочку. А ты — затеряйся среди братьев и сестёр и не показывайся никому. Даже мне. Начни пахнуть по-другому, поменяй повадки, стой теперь мордой не на север, а на запад. Измени цвет шкурки... если можешь, конечно. А завтра, когда выпадет снег, беги в степь и доберись до своих драгоценных гор. А теперь иди и больше ко мне не приближайся.

Убедившись, что он всё понял, девочка отпихнула от себя морду животного. Напоследок почувствовала на лице шершавый язык.

В шатёр Керме нёс за шкурку, как щенка, страх. Дважды у неё заплетались ноги, дважды она теряла нить одной ей ведомых знаков, сворачивала не туда и попадала то в объятия шиповниковых лап, на которых, к тому же, проветривалось чьё-то бельё, а то в собачью стаю. Садилась на землю и грызла от бессилия ногти, пытаясь восстановить в голове цепь стежков на замысловатом узоре жизни айла, которыми она следовала.

В конце концов её заметила какая-то женщина.

— Ты, наверно, заблудилась. Идём. Я видела твою бабушку. Она должна быть уже на празднике.

— Нет, мне в шатёр. Простите, я... я заблудилась.

Керме протянула руку, чтобы поймать чужую ладошку.

— Идём тогда, отведу тебя в шатёр... всемогущие духи, ты знаешь, что у тебя на голове? Там как будто зимородки гнездо свили. Тебе нужно немедленно заняться волосами.

Оказавшись наконец в пустом шатре и дождавшись, пока опустится за женщиной полог, девочка первым делом прислушалась к шуму снаружи. Она различила мерный гул бубна. Всё ещё только начиналось. В остальном аил жил своей обычной жизнью: прошли двое мужчин, о чём-то возбуждённо беседуя; их голоса напоминали собачий лай. Провели в обратную сторону лошадь, вокруг которой увивался жеребёнок.

Немного придавив в себе страх, Керме занялась волосами. На празднике, где открывали глаза идолу, раздавали сладкое просо и молоко, но девушка не собиралась сегодня туда выходить.

Конечно, они ничего не заметят. Молодые шаманьи чёртики, молодые прислужники, в голове у которых только дурманящий дым, а в руках — костяные трубки с тлеющими травами. Вряд ли Шаман описывал им все повадки Растяпы. Как он ставит ноги, каким образом любит рыть землю копытом — вот так или эдак. Если, конечно, цвет не сыграет с ней какую-нибудь очередную шутку, и у Растяпы не окажется вдруг на спине приметного пятна. Метку Бабочке она поставила на том же месте, где следовало.

Увлёкшись заплетанием кос, она не сразу заметила, как всё вокруг вдруг затаило дыхание. Только нечуткая муха продолжала кружиться где-то вверху да она, Керме, продолжила плести свои косы.

Когда звяканье и звон, и тяжёлые медвежьи шаги подкрались к её сознанию и аккуратно, но назойливо постучались, прятаться было уже поздно. Полог качнулся, впуская внутрь толику прохлады и тучное тело. Муха издала последнее, отчаянное «зззз» и вдруг замолкла. Мгновение спустя крошечное тельце скатилось по ладони Керме, задев крылышками пальцы.

Девушка застыла, не смея пошевелиться, а Шаман тяжело взгромоздился на подушки. Словно большой старый тетерев на своё гнездо из высушенных трав. Он подобрал под себя большую часть свободного пространства, раздуваясь всё больше и больше и оттесняя скатанные ковры, кострище, разномастные женские принадлежности и Керме к противоположной стенке.

Сказал печально:

— Там все празднуют. Почему ты не идёшь, слепая белка?

— Я... — Керме сглотнула. Она нащупала в рукаве своё истрёпанное перо и провела пальцами по краям, пытаясь выпросить таким образом хоть капельку успокоения. Но безрезультатно. — Я хотела сначала заплести себе косы.

— Да, я вижу. А потом бы пришла? У Усула большое сердце. Огромное. Он заготовил столько молока и сладостей, что у детей должны склеиться зубы.

— Нет, я... я уже не ребёнок. И мне не хочется сладостей. Баба задала мне работу. Много работы, на весь день.

Она никогда раньше не врала. Лукавила — может быть, но вкус вранья, горький, вяжущий язык, расчувствовала только теперь. Хотя то, что она сделала накануне, наверное, куда гроше слов. Просто оно такое большое и такое, что язык не способен донести всей мерзости.

Шаман задумчиво постучал пальцами по бубну. Тот отозвался басовитым мурлыканьем.

— Конечно. Ты не хотела бы слышать, как большое сердце Усула лопнет от гнева Тенгри. Бам! И всё. Ты не хотела бы слышать, как идол душит своими соломенными руками жён и детей Усула.

— Почему... — Керме задохнулась. — Почему?

— Потому что Великий Бог не получит той пицци, которую он захотел. Потому что ему предложат не того, на кого дёрнулась моя — его слуги — рука. Что, ты думаешь, он может сделать?

Наступило долгое молчание. Барабаны невдалеке сбились с ритма и растерянно затихли, только где-то неожиданно громко чему-то радовались дети.

— Тебя видел один из пастушков, — сухо сказал Шаман. «Нугай», — догадалась Керме. Затаился, спрятал свою свистульку и смотрел, как она пытается спасти Растяпу. — Нам придётся всю ночь и семь ночей послед молить Тенгри не посылать на нас гром или суровый холод. Может, мы вымолим прощение, может, и нет. Наверное, ты хочешь знать, что дальше будет с тобой.

Керме зажмурилась. Ни один монгол не мог говорить так долго и так тяжело, как этот шаман. Вытягивать из тела жилки и играть на них, как на музыкальном инструменте.

— Ты ещё очень молода и, кроме того, очень красива, хоть и слепа. И ни разу за свою жизнь ещё не совершала ошибок. Поэтому ты получишь сегодня не смерть на алтаре от ритуального ножа, а всего лишь пятьдесят розг.

Из груди Керме вырвался всхлип. Полсотни розг выдерживает не каждый мужчина. Её ни разу не пороли, но девочка слышала, как шипят эти звери: звук совсем не страшный, даже где-то приятный. Так шипит в котелке земляное масло, поедая травки и ожидая главного блюда — шмата мяса. Но эта тёплая сонливость испаряется где-то после девятого удара, когда начинают доноситься хрипы и крики наказываемого и у девочки начинают трястись чувствительные поджилки.

Наверное, Шаман покачал головой или что-то в этом роде. Такие действия Керме училась угадывать по паузам в диалогах — по паузам, которые так и просят себе какое-то действие.

Она подтянула к себе коленки.

— Вставай, слепая белка, и идём. Наказание должно быть исполнено немедленно. С гневом Тенгри нельзя шутить, так же, как нельзя спать в степи, ничем не загородившись от ясного его взгляда.

Будто сдвинулась гора. Он поднялся с кряхтением, и Керме готова была поклясться, что этот мужчина может высунуть голову в трубу дымохода и оглядеться, не выходя наружу.

Безвольная рука девушки вдруг оказалась в огромной тёплой ладони. Ноги не слушались её, а может, специально, больше не уповая на хозяйку, старались уцепиться за землю, но Шамана это совсем не смущало. Он волок её за собой, будто тряпичную куклу, а второй рукой степенно придерживал украшения на широкой груди — чтобы не слишком звенели.

Оказавшись снаружи, Керме наконец услышала, что кричали дети. «Снег, снег!» — было на всех устах. И правда —

Шаман фыркнул, видно, вдохнув снежинку, а девушка почувствовала, как застывает в волосах и тает холодный пух. Она пожалела, что не может порадоваться ему как следует. Ни один осенний снегопад до этого не обходился без её радости.

Промежуток между шатрами, оставленный для собраний, седлания лошадей и религиозных обрядов, был заполнен людьми. Все и каждый старались стать как можно более незаметными, и почти у всех получалось. Но всё вместе это казалось большим озером, которое невозможно не заметить, даже если твои глаза видят пустоту.

— Слушайте меня, кочевой народ, народ степи и псы великого Солнца, — в нос произнёс Шаман. Рука девочки затекла и онемела в его огромной ручище, но он и не думал её выпускать. — Воистину, всякое может повстречаться на пути айла к ноздрям Йер-Су. Бывает жёсткий загривок, бывает полная зубов пасть. Бывает, аил забредает и в другие малоприятные места Великой Кобылицы. Бывает, люди срываются под копыта и гибнут там в страшных муках, с переломанным хребтом и истекающей из ушей и из глаз кровью. Нам всем предстоит пасть на колени и молить Богов, чтобы они вывели нас на нужное направление.

— Айе! Что ты говоришь, шаман? — послышался голос. Керме съёжилась ещё сильнее, узнав Ревана, летящего на закат мустанга, решительного из решительных и храброго из храбрых. Все эти шатры, всех детей, женщин, мужчин и овец он везёт на своей спине, а Шаман служит для него уздечкой. — Хан старается слушать шаманов и ведёт вас туда, куда чихает Верховный Бог. Разве не ты разговариваешь с ним, чтобы узнать, где зеленее трава и твёрже почва? И после этого нам нужно падать на колени?

Шаман с достоинством ударил ладонью по бедру, где висел бубен. Приглушённый звук прокатился среди шатров. Послушники истерично заколотили в свои колотушки, зазвонили бубенцами, но сбились, перепутались и сконфуженно замолкли.

— Да и нет. Мы с тобой всё делаем правильно. Но попадают те, кто тянут лошадей за хвост в другую сторону, обыкновенно по молодости и неопытности.

Все взгляды вновь устремились на Керме. Девочка не сме-ла вдохнуть, она висела на них, будто на копытах. Всхлипы бабки звучали в тишине оглушительно, как капающая вода.

Реван зарычал.

— И всё это из-за не той овцы? Мы стараемся, выбираем путь, который удовлетворил бы и небо, и наши табуны, которые вечно хотят жрать... Ведь у нас нет дорог, по которым можно было бы ехать. У нас не так, как на востоке или далеко на западе, где живут дикие бородатые демоны. Наш выбор — тысяча направлений в степи, из которых мы вольны выбирать любое. А потом появляется какая-то овца... не та овца, и где бы мы ни были, куда бы не направлялись, мы снова оказываемся у Йер-Су под хвостом. Куда это годится? А? Ответь мне, говорящий с предками!

Если бы Шаман и вправду был уздечкой, то его кожа бы была самой лучшей и самой крепкой, а узор — самым тщательным, потому что в огромном теле его не дрогнул ни один мускул. Жеребец-Реван скорее стёр бы зубы, чем сумел прокусить свой повод.

— Это годится, — сказал он спокойно, — потому что как бы быстро мы не хотели бежать за солнцем, это невозможно. В степи есть овраги, есть ручьи и трава — козлиный рог — которая цепляется за лошадиные копыта и ломает галоп.

«Интересно, жив ли ещё Растяпа», — отстранённо подумала Керме. Ведь если нет, розги ей придётся сносить просто так, а это обидно втройне.

— Значит, нужно выровнять эти овраги, — Реван фыркнул и отвесил кому-то из младших сыновей, стоящих рядом с ним, оплеуху.

— Мы можем только попытаться, — смиренно ответил Шаман. — Никто не скажет тебе заранее, если вдруг следующим оврагом окажется один из твоих сыновей.

Шлёп! Звук ещё одной оплеухи.

— Я уж об этом позабочусь, — проворчал Реван.

Грохот копыт поначалу никто не заметил, кроме Керме, уши которой, как у собаки, привыкли подмечать любую мелочь, чтобы потом добавить её, ещё один слог или слово, к песне о мире вокруг, непрерывно звучащей внутри.

И только когда он заслонил все другие звуки, по поляне пронёсся дружный ах. Громкий хлопок — то занесло лошадь, и она задела крупом один из шатров. Визг и тявканье — то улепётывают из-под копыт собаки. Шаман потерял обладание, он выпустил руку Керме и схватился не то за нож, не то за голову.

— Где часовые? — ревел Рёван. Сигналов тревоги не было, звуков битвы — тем более. — Ты кто, навозная муха, что тебя не заметили мои воины?

За внешним кругом аила у мужчин были при себе только ножи. Более серьёзное оружие — копыя и луки — осталось в патах.

Всадник натянул поводья. Конь под ним храпел и метался, стремясь внести ещё больше разрушений в привычный для Керме мир. Пыль поднялась с земли, будто стая растревоженных уток. Девушка чихнула, а второй чих попыталась удержать в груди, закусив губу, чтобы не пропустить ни звука.

— Твои часовые лежат со стрелами в груди, — сказал незнакомый голос.

Рёван сжал челюсти так, что, судя по хрусту, сломал себе зуб. Сказал:

— Сын, тащи лук.

— Брат уже побежал.

— Так тащи стрелы! Твой брат никуда не годится. Он забудет. Зря, что ли, я его колочу?

В голосе незнакомца рокотал гром.

— Я только возьму, что принадлежит мне, и уйду. Айе, мой милый! Вперёд!

Шаман, сделав было шаг к незнакомцу, упал на колени, а конь перемахнул через него, словно через большой валун. И Керме, чувствующая себя паучком в пустом кувшине, чей мир внезапно перевернулся, когда до него добралась хозяйка, потеряла ногами землю.

Глава 5. Наран

Ночь прошла странно. Долго не приходил сон. И Наран, и Урувай, каждый по отдельности, пытались отыскать внутри хоть малейший знак того, что желудок отторгает новую пищу. Но он не капризничал. Как ребёнок, которому дали вместо обещанного мяса невиданных сладостей из страны пустынь. Потом, так же вместе, ни слова друг другу не говоря, искали крупички вновь возрастающего голода. И тоже безрезультатно.

Ветра не было. Костерок горел ровно, умиротворённо шипя, и иногда, будто вспоминая, что порядочному костру положено рычать и бесноваться, выпускал в небо снопы искр. Надвинувшийся с наступлением темноты холод безуспешно пытался развернуть закутавшихся в одеяла и подложивших под себя попоны странников, точёно маленькая хищная птичка, нашедшая перепелиное гнездо и пытающаяся расколотить яйцо с крепкой кожурой. Прятался от огня за их спинами, туда, куда не доставал свет.

С топливом им повезло. Навоза, что за день производили две лошади, вполне хватало, чтобы поддерживать такой вот небольшой костерок. До заката они сушили его, разложив на пополах и на перевёрнутых сёдлах.

Ещё когда предыдущая ночь грозила им скрежетом насекомых и провожающими солнце птичьими криками, Урувай спохватился:

— Как мы будем разводить костёр? Нужно добывать огонь.

На самом деле, чтобы добыть огонь, путникам приходилось немало трудиться. Зимой, ранней весной или в период редких дождей, как правило, вообще не путешествуют. Даже в засушливый сезон у неумелого путника могла пройти за двумя палочками вся ночь, и долгожданная искорка появлялась только к утру. Как правило, если странник к этому времени дремал сидя и не успевал поймать искорку на заготовленную кучу мха или навозный холмик на заранее расчищенной от сушняка площадке, он легко мог сгореть заживо.

Вся ночь — если только не было огненного камня. Этот чёрный гладкий камушек давал искры, стоило ударить почти по любой поверхности, да такие, что могут скакать даже по водной глади, как плоские гольшки.

Всё дело в огненных духах, которые очень любят гнездиться в таких камнях. По этой же причине их не стоит держать возле костра: огненная птица, хлопая крыльями, запросто может перелететь со своего продуваемого всеми ветрами места в более укромное местечко — внутрь камня.

— Мне кажется, я добыл огонь, когда стирал кожу на ладонях о поводья, — продолжал сокрушаться Урувай. — Надо было держать на коленях навоз, но кто же знал?

Наран молча достал из своей сумки гладкий блестящий камешек.

У друга загорелись глаза.

— Где ты его взял?

— Отколол от того, что остался у нас, в аиле.

— Думаешь, они заметят? Как ты туда пробрался?

— Не думаю, — сказал Наран и заёрзал. Огненный камень в аиле был не такой уж большой, и исчезновение его части оставит на их репутации чёрные горелые пятна. — А что там сложного? Все же на пиру. Даже собаки ждут своих костей. Я просто зашёл и отколол кусочек.

Огненный камень довольно хрупкий, его легко ломать на части руками. Хорошо ещё, что, давая огонь, он не стирается.

Ну, может, самую малость, но его всегда можно нарастить, обваляв в золе.

Камень хранился в шатре старейшины, укрытый от чужих глаз шёлковыми покрывалами. В шатре у шаманов хранить его было опасно: со своими плясками и призывом разнообразных духов они могут случайно взорвать его, а могут, наоборот, переместиться внутрь этого чёрного камня, вместе со всеми своими бубнами и с шатром. Целиком, раз — и нет...

Развести костёр что эту, что предыдущую ночь Наран успевал, пока Урувай протяжно зевал и усаживался на траву, давая отдых ногам.

Перед тем, как закутаться в одеяла, они ещё немного поговорили.

— Всего второй день нашего пути, а мы стали уже полными дикарями, — сказал Урувай.

Он вытягивал руки к костру так близко, что волосы на обратной стороне запястий скручивались и чуть не начинали тлеть.

— Мы совершили ритуал. Представь, что всё это огромный шаманский шатёр, расшитый днём солнечными лучами, а ночью — звёздами. В шаманском шатре нельзя находиться просто так, там всё делается для Тенгри.

Урувай выпятил нижнюю губу.

— Во всяком случае мы теперь можем питаться тем, что даёт степь. Лук и стрелы в этом походе нам не пригодятся.

— Может, нам лучше избавиться от всего, что связывает нас с аилом, — задумчиво сказал Наран.

Он покачивал в руках лук. Это отличный лук, без резьбы и украшений, которую наносят себе некоторые охотники, но из молодой берёзы, такой, что из неё вдруг ни с того ни с сего начинал сочиться сок, и Нарану приходилось срезать свежесрезанные глазки и отсекал сучки. С одного из плечей оружия свешивались окрашенные в разные цвета конские волосы. Большая часть их принадлежала Бегунку, остальные ещё одной лошади, на которой ездил Наран в детстве — Свирели, и мощному скакуну отца. Тетива довольно свежая, иногда она вспоминала, какого это — быть жилкой в теле живого существа, и начинала дрожать и биться, стягивая плечи друг к другу.

Урувай не поверил своим ушам.

— Ты хочешь его выбросить?

Наран поморщился.

— Этот лук мне делал ещё отец. Лучше я отрежу и выброшу своё ухо... Не знаю, как лучше. И спросить не у кого.

— Тогда мне придётся расстаться с моринхуром, — сказал Урувай из чувства солидарности.

— Моринхур вряд ли может причинить кому-то вред.

— Старики говорят, что он как лук, выпускающий стрелы музыки.

Наран улыбнулся.

— Ну, тогда надейся, что степь тоже любит песни. Вот горы — те точно любят. Говорят, они даже подпевают...

Так ничего и не решив, друзья устроились спать и ворочались почти до утра, чтобы, проспав восход солнца, вскочить и, распахав по сумкам одеяла, броситься отвязывать коней.

На спину лошади Наран забросил только попону, поверх неё подпругу и затянул её совсем не туго. Только чтобы не спадала, когда Бегунок стоит на месте. Навесил седельные сумки.

— Ты не будешь надевать седло? — спросил Урувай.

— Незачем. Поедем без сёдел. Чтобы лошадям было легче. Нам теперь придётся что-то в себе менять, чтобы по-настоящему быть ближе к Йер-Су, к степи. А не просто — попрыгал на привале сайгом, а потом опять в седло, и айе!

— Может, ещё и без штанов поедешь? — сказал толстяк, и в голосе его завелись плаксивые нотки. — Я плохо умею без седла! Там не получается спать. Придётся всю дорогу следить, чтобы не оказаться на земле.

Наран упрямо поджал губы.

— Тем лучше. Ни на минуту нельзя забывать, что мы теперь другие. Что теперь степь — наш дом, а не аил. Сёдла лучше оставить прямо здесь. Может, Йер-Су найдёт им какое-то применение.

Урувай пригорюнился, но покорно ушёл рассёдлывать уже засёдланную кобылу.

Бегунок крутился и лягался, когда Наран попытался на него взгромоздиться. Это получилось только с третьей попытки.

— Мы напугали его своими вчерашними представлениями.

— Просто он ни за что не позволит ездить на себе каким-то лисам, — сказал Наран, поглаживая животное по шее.

Степь тянулась и тянулась, разворачивая перед ними однообразный пейзаж. Травы под гнётом ночных холодов поникли почти до земли и шуршали под копытами так, будто за всад-

никами текут целые стаи полевых мышей. Солнце, изрядно отощавшее за последние дни, пряталось за редкими тучами, и тогда низко-низко к земле по траве пробирался ветерок.

Наран вспомнил вечерний разговор. Опустил руку к чехлу и почувствовал, как дерево кольцом сдавило запястье. Рука онемела на секунду, вены вздулись от сдерживаемой крови, но снова распрямились, когда лук прополз выше, захлёстывая кольцами своего твёрдого тела мускул за мускулом. Примостился на плече, свесив свои хвосты — тетивы и разноцветных ленточек. Изогнулся, коснувшись мочки уха и давая о себе знать. Наран почувствовал аромат дерева, такой душистый, будто бы его только что срубили.

Ни один монгол не относился к своему луку, как к обычной деревяшке. Каждый знал, как ублажать это странное живое существо, чтобы оно служило тебе до конца своей жизни.

У Урувая отношения с луком не ладились. Перешедшее ему в наследство от отца существо кусало его за пухлые пальцы и предпочитало темноту колчана руке хозяина.

— Наверное, это оттого, что моё сердце уже принадлежит морин-хууру, — улыбался Урувай.

Нет, расстаться с луком — всё равно, что прогнать в степь коня. Да, примерно так же. За свою жизнь монгол меняет двух-трёх коней, и луки, бывает, ломаются, и отправляются со всеми почестями и слезами хозяина в шаманский костёр в качестве великой жертвы.

Пушкой лучше он будет единственным в степи лисом-лучником. И без хвоста.

Проголодавшись, они позавтракали так же, как накануне. На этот раз осознание, что ты не человек, пришло куда легче, Урувай щипал траву с видимым удовольствием, собирая себе за уши особенно аппетитные цветы, чтобы подкрепляться в дороге, а Наран даже поймал мыша.

— Как же ты будешь его есть? — спросил Урувай, когда друг продемонстрировал ему добычу. — Это даже не трава. Это живое мясо. Лисы душат его прямо в пасти, перед тем, как проглотить.

Голос стал глубокий и булькающий, как будто в своей мешковатой гортани Урувай хранил запасы воды. Слова выходили комканными и требовалось хорошенько напрячь слух, чтобы распутать их, а потом связать, как надо. Наран так и не понял, в чём дело: в том, что у друга действительно поменялся голос или в его собственном слухе и восприятии.

Наран сел, поджав под себя ноги. Животное пицало и извивалось в зубах, сучило коротенькими лапками. Он честно старался подумать над вопросом Урувая, но мысли наезжали одна на другую, получалось что-то вроде «оправнужногоньпо-трошитьподжарить», а что это значит — непонятно, и юноша, пропустив мимо себя такого коня, просто перекусил грызуну шею.

Расправившись с завтраком, Наран ещё долго приходил в себя. Мышцы ныли, словно последние сутки он провёл без движения, а кости, казалось, начали медленно, но очень мучительно растягиваться в разные стороны. Откуда-то возникли и закружились возле лица мухи.

— Я чуть не вернул свой обед, — пожаловался Урувай. — У тебя весь подбородок в крови. Подумай только, ты живьём съел настоящую мышь!

Того отвращения, на которое рассчитывал друг, у Нарана не возникло. Наоборот, в животе разливалось приятное тепло. Он вытер тыльной стороной ладони подбородок.

— Нам повезло, что лисы не едят никого крупнее мышей. У тебя такие аппетитные окорока.

Урувай нервно вытянул шею. Если бы Наран спросил — зачем, он бы не смог объяснить. Так делают сайгаки, когда осматриваются в поисках опасности.

— Если бы я был помельче, ты меня съел?

— Конечно, — Наран полностью пришёл в себя. Он лениво задвигался, пытаясь поудобнее устроиться на жёсткой земле. — Всё есть так, как его задумал Тенгри, а выносила и родила Йер-Су. Те, кто покрупнее и у кого есть зубы, едят тех, кто меньше.

— Это мне не нравится, — надулся друг. — Есть мясо плохо. Ты же сам говорил, что в степи можно обойтись без мяса.

— Это всё задумано Тенгри, — повторил Наран. — Ты сейчас размышляешь как сайга, которая питается только травой. Так что нечего тут обижаться.

Урувай вскинул голову, и кадык его негодуяще затрясся.

— А если бы меня вдруг задрал какой-нибудь барс. А? И я лежал тут, истекая кровью, пока барс ходит за своими детёнышами. Ты бы стал есть моё мясо?

Наран зажмурился, пытаясь представить, как бы пах его друг, если бы был уже мёртвым. Запах ему понравился.

— Думаю, что да. Ну что ты опять обижаешься? Меня теперь держит за шкуру Йер-Су, так же, как и тебя. Мы долж-

ны быть счастливы, что всё получилось. Если я попытаюсь освободиться, мне вновь придётся думать о пропитании... уже как человеку. А это гораздо сложнее. Понимаешь? Люди — стадные животные, а стада здесь не видно.

Прежде чем двинуться дальше, они хорошенько выбрали из хвостов и грив животных всякий мусор и взялись почищать им копыта.

Каким-то образом Бегунок понимал, что происходит с его хозяином. Он даже оставил свою навязчивую идею наступить хозяину на ногу — только опускал голову при его приближении, и в лошадиных глазах, которые, как думал раньше Наран, способны всего на два выражения — страха и «дай-попробовать-что-у-тебя-там-в-руке», блестела искорка совсем человеческого интереса. Невозмутимая Уруваева кобыла пугалась их куда больше — она танцевала и вскидывала голову, не давая хозяину подобраться к её ногам, и у Нарана сложилось впечатление, что его конь успокаивает её мерным храпом.

Урувай сказал ни с того ни с сего:

— Я подумал, что, может быть, предания когда-то происходили на самом деле.

— Ты действительно так думаешь?

Наран ковырял из копыта лошади землю.

— Да! — Урувай выпустил копыто своей лошади и взмахнул руками. — Все они начинаются очень правдиво. Охотник берёт лук, садится на коня и отправляется на охоту. Юноша, молодой монгол, влюбляется в девушку из соседнего аила. А потом Тенгри и Йер-Су берут их в свои руки и для своего развлечения строят вокруг них историю.

— Я ничего не понял.

Урувай смотрел на него, будто бы пытался донести взглядом какую-то истину.

Наран вздохнул.

— Тебе не казались эти истории невозможными? Они могут выпустить на охотника говорящего медведя и сделать так, чтобы конь тоже оказался говорящим и выторговал у медведя жизнь для напуганного воина за одну пятерню, о которую мишка будет чесаться в своей берлоге во время зимней спячки... могут подкинуть девушке в голову испытание для храброго юноши — собрать ей с ночного неба звёзды себе на ожерелье. Говоришь, происходили на самом деле?

Собрать звёзды с ночного неба — не такая уж простая задача. Небо на самом деле очень высоко, и за одну ночь до него

не долезешь, даже если у тебя есть самая высокая в мире скала, вершина которой покрыта снегом в жаркое лето. А когда наступает день, оно отодвигается так высоко, что ты снова оказываешься в начале пути, как бы высоко перед этим не забрался и как бы не просили о пощаде, и не напоминали о событиях прошедшей ночи мышцы.

— То, что происходит с нами, кажется мне не менее невозможным. Ты же сам сказал, что наши загривки в пасти у Йер-Су.

Наран зажмурился и помотал головой. Там, казалось, осталась какая-то мышинная косточка, которая грохотала и распугивала таким образом все мысли.

— У меня сейчас от твоих речей второй глаз лопнет.

Урувай достал из воздуха вторую неведомо откуда взявшуюся мысль. Он сел на землю и растерянно сказал:

— Получается, сейчас не происходит ничего.

— Почему?

— Потому что не появляется новых преданий. Те, которые умею рассказывать я, рассказал мне мой дядя. А ему — его дедушка передал вместе с нашим семейным моринхуром. Слово в слово, все шесть штук. И если ты будешь уговаривать меня добавить туда что-нибудь от себя, — пухлые руки сжались в кулачки, — я не соглашусь. Мне дорога моя память о деде. Не знаю, в его время ли происходили все эти события или ему их рассказал какой-нибудь предок. Скорее всего, и то, и другое. Но я буду петь эти сказки деткам так, как пели их мне, чтобы не загрязнять их умы неправдой.

Наран отвлёкся от своей работы.

— Ты не пробовал сочинять свои истории?

Урувай взглянул на него снизу вверх.

— Как же их сочинять, если сейчас ничего не происходит.

— Происходит. Мы же сели на коней и отправились в путешествие. Расскажи историю, как мы решили превратиться в животных.

Друг хотел что-то сказать, но застыл с открытым ртом. Глаза его были, как дыры в большом земляном муравейнике, и Наран видел, как там происходит какая-то работа: таскают маленькие букашки соринки и палочки.

— Ты разве не ради этого весь этот разговор затеял?

— Нет. Я затеял его... просто, чтобы затеять. Не знаю, с чего, — Урувай с виноватой улыбкой посмотрел на Нарана. — Эти мысли просто вылезли у меня из головы наружу. И всё. Как рога. А... какой там будет конец? В нашей сказке?

— Конец? Ну, не знаю. До конца ещё далеко. Начни с начала, а конец, как ты говорил, подскажет Тенгри. Или Йер-Су.

— С чего же начать? С самого рождения? Нужно рассказывать, как мы с мальчишками играли в охотников? И как меня называли белым червём? Мне бы не очень хотелось...

— Ты же собираешься рассказывать не про то. Мы отправились в путешествие, помнишь? Вот с этого и начни.

— Ага, — Урувай в крайнем нетерпении пытается нарисовать что-то кончиком прутика-хлыста на земле. Мешают одинокие травинки, и он, раз за разом прерывая своё занятие и закусив губу, пытается их выдрать. Видно, как изнутри его распирает идея сочинить собственную сказку, просится наружу и, того и гляди, хлынет наружу через нос. Странно, что такая не приходила ему раньше. — Значит, вот мы выезжаем из аила, и нам голодно, и хочется кушать... а... нужно же рассказать про твоё прощание в общем шатре. Ой, сколько людей! Как я всех их изобразю?

Он зажмурился, и Наран сказал сочувственно:

— Изобрази звук битвы. Пир почти не отличается от битвы. Только вместо криков боли там звучат крики радости.

— Хорошо.

Он открыл рот и изобразил невнятный шум с лязгом мечей-тарелок. Крики ярости сменились немного натянутым смехом. Другу не слишком давались крики ярости, но смех ему не давался и подавно. Это проявление чувств было супротив его чувств.

— Эй, натяни узду! Ну откуда там лошади?

Урувай кивнул и превратил конское ржание в клочкотание кумыса в горле пирующих. И тут же, почти без перехода, сказал голосом Нарана:

— Разреши мне отправиться в путь, чтобы я мог спросить великого Бога о своём внешнем виде, отвращающем сердца. И взять с собой моего верного друга, певца и сказителя, без которого в дороге я помру со скуки.

— Я тебя с собой не звал, — сказал Наран.

— Это же сказка, — с укором сказал Урувай. — В сказке можно немного приукрашивать. Женщина становится краше, если увесить её побрякушками.

— Только если не слишком много, — пробормотал Наран.

Друг выпалил:

— Подумать только, я герой сказки! Что там у нас сказал старейшина? «Убирайтесь. Аилу не нужны такие сме-

лые... эээ... такие неверные воины». И чашкой кинул, вот. Отлично!

Он изобразил горлом, как бьётся что-то хрупкое и глиняное, а затем изобразил губами drobный конский топот. Складывалось впечатление, что по пухлому горлу ехали двое всадников. Потом он сменился весьма достоверным звуком урчания живота.

— Скакали, скакали и проголодались... Слушай, нам же нужен какой-то противник! Нам нужен конфликт, противостояние! В каждой сказке он есть.

Наран поразмыслил и сказал:

— Пусть степь будет в твоей сказке врагом. Жестокой хозяйкой, от которой мы, её рабы, пытаемся скрыться в шкурах зверей.

— Тогда её придётся рассказывать очень тихо, — шёпотом сказал Урувай. Он побросал все занятия, вытащил из сумки завёрнутый в войлок музыкальный инструмент.

Наран внезапно разозлился:

— Она изуродовала мне лицо и пожалела тебе смелости и любви к чужой крови. Поэтому пой громче, будет хорошо, если твой писк услышит она или этот жеребец Тенгри.

— Когда на тебя не смотрят идола, ты становишься очень язвительным, — с укором произнёс Урувай и щипнул первую, самую толстую струну на морин-хууре. Под ногтями его чернели полосочки грязи, а между пальцами осталась земля. — Но я рассказываю дальше. Так... «Ты будешь сайгой, а я лисицей. Своим любимым детям еды она не пожалует».

Наран слушал трубное пение сайгака и тьякканье лисицы. Он расправился со всеми четырьмя копытами, начал ковыряться в пятом и только потом заметил, что перешёл к лошади Урувая. Всё-таки у друга был прекрасный голос. Такой, что птицы, заслышав рёв барса в его исполнении, должны сталкиваться в полёте, а овцы, заслышав звук дудочки, который он воспроизводил без всякой дудочки, принимать его за пастуха.

Урувай прервал себя на полуслове.

— А она нас не раскусит, когда услышит эту сказку? А? Как гнилые орехи? Скажет: «Вот они, которые посмели обмануть меня!» — и натравит на нас барсов.

Наран отмахнулся.

— Так вставь это в сказку. Пусть нас задерут дикие звери, тогда степь будет выглядеть такой, какая она есть — жестокой и не прощающей ошибки. Кроме того, никто не любит повто-

ряться. Если она услышит, что в нашей сказке она натравила на нас десяток львиц или табун мчащихся с севера и озверевших от холода мустангов, которые втопчут нас в землю, она точно не станет этого делать.

Толстяк вскрикнул.

— В сказке не может быть такой конец.

— Тогда пусть они, — Наран ткнул пальцем в небо и одновременно притопнул, — придумают нам конец получше. А ты запомнишь.

Они остановились возле священного дерева, выразить почтение Йер-Су. Деревьев в степи было очень мало, и между аилами даже была специальная игра. Наткнувшись на очередное дерево, старейшина один-единственный листик с него прикалывал себе к уздечке и вместо него со всем почтением повязывал на ветку лоскут своей одежды или яркую шёлковую ленточку. Ведь один листик для кого-то это — целое дерево, и было бы неправильно не оставить взамен что-нибудь, хоть отдалённо равноценное. А по рисунку прожилок на этом самом листике можно было узнать то самое дерево.

Когда там созревали семена, старейшина брал одну коробочку или серёжку, или жёлудь и отвозил его как можно дальше в степь. Может быть, когда-нибудь в степи от одного дерева до другого можно будет кинуть прямой взгляд...

При встрече старейшины аилов — где-нибудь, когда-нибудь — хвастались друг перед другом количеством приколотых к уздечке листьев. Конечно, считалось только дерево, из-за которого выпрыгивала, как затаившаяся пантера, пустыня: то есть из-за которого, смотря хотя бы в одну сторону, можно было взглянуть в степь. Лесные массивы, дружно гомонящие в вышине свои заутренние и за вечерние песни, не считались.

Хотя кому из живущих монголов удавалось так уж часто увидеть несколько деревьев вместе?

Так, одинокие деревья потихоньку начинали шуметь более мягко, и шёпот их превращался в обволакивающие речи. Они высыхали под тяжёлым, как все горы вселенной, вместе взятые, солнцем, стволы давали трещину, показывая просмоленную начинку, и становились из алтарей Йер-Су — местами поклонения богу Тенгри, и отныне повязывать ленточку мог каждый, у кого была просьба к Верховному Богу. Считалось, что живые деревья принадлежат богине плодородия, то есть земле, а мёртвые — небу.

Бедные путники, а так же посыльные и разведчики, за- сланные вперёд айлами, вязали на нижние ветки конский волос из гривы или из хвоста, не срывая себе листьев: у них не может быть своего крошечного дерева, потому что они не представляют собой айл.

Друзья спешились, привязав лошадей не к стволу, а поодаль — к кустам шиповника.

— Когда-то это была берёза, — сказал Наран

— Когда-то это была ива, — сказал Урувай.

Действительно, выяснить правду было уже очень трудно. Ветра брали куст за ветви, как за руки, и вращали, так что ствол получился скрученный, как будто из него пытались отжать остатки влаги. Во все стороны из земли выступали корни, похожие на пальцы глубокого старика, узловатые, с большими суставами. Выше всё скрывалось за почерневшими от старости и обретшими грязно-белый оттенок ленточками. Те, что подлиннее, переплелись между собой и стали похожи на косы.

— Двадцатикосый старик, — сказал Урувай, а Наран молча достал нож и срезал несколько самых длинных в гриве своего Бегунка волос.

— Вознесём и мы ему свой почёт.

До нижних ветвей добраться было невозможно: они гнулись к земле от количества подношений, длинных и коротких, выцветших до одного цвета, и ленточки на них действительно сами собой заплетались в косы.

— Подсади меня.

Друг переместил свою шапочку под мышку, молча нагнулся, и Наран, подоткнув халат, взгромоздился ему на плечи.

— Достал?.. — просипел снизу Урувай. Лицо его покраснело от натуги. — Не дави мне на шею, пожалуйста... Ай! Не дави, говорю!

— Почти достал. Мне бы повыше... За исход нашего путешествия. Повесить повыше.

Наран схватился за одну из веток, тёплую, как будто бы живую. На костлявых пальцах качалось несколько ленточек, с одной соскользнул на паутине паук и спланировал на затылок Уруваю. Тот ничего не заметил.

Приподнялся. На ветке повыше была всего одна ленточка, и, видно, повязали её в те времена, когда дерево было ещё достаточно крепко, чтобы посадить желающего испросить милости Йер-Су на сгиб своего локтя. Сейчас оно способно лишь

сердито шелестеть своим нарядом и требует почёта и бережного обращения, какой оказывался старикам в аилах и монгольских поселениях.

По правде говоря, это дерево стало единственным по-настоящему глубоким стариком, которого Наран видел в своей жизни. Любой, кто уже не может ездить верхом, незамедлительно начинает готовиться к тому, чтобы вознестись в небесные степи, где тело вечно молодое, мысли в голове не скудеют, способность зачинать детей и разить верной рукой врагов не гаснет никогда.

Одно из ранних воспоминаний Наранова детства связано с тем, как уходил на покой его дед. Тогда ещё глава семьи, он созвал в своём шатре всё семейство — тихо, стараясь не отвлечь никого от угодных аилу дел, говорил как бы между прочим: «Зайди-ка ко мне в лягушачий час. Угощу тебя вяленой кониной. Ох, ядрёная!.. А жене да деткам отсыплю сладких тыквенных семечек». А тех, кто подходил чуть раньше, просил подождать. Каждый входящий узревал родственников и тут же становился тих, как заяц. Конечно, у деда нет столько конины. Разве что, он целиком запёк на солнышке одну из своих кляч... да вот только зима на носу, и настоящего солнышка не было уже давно. Значит, что-то важное.

Дедова жена разносила кумыс и тоже была необычно тиха. Свои пышные седые косы она убрала под пурпурную праздничную шапочку, которая была уже великовата её усохшей, как изюм, голове, а спина смотрелась необычно прямо.

Естественно, где собирается много взрослых, тут же начинают носиться дети. Наран нарезал вокруг плотного кружка взрослых уже пятый круг и, когда услышал, что дед не смог утром забраться ни на бабку, ни на коня, который служил ему верой и правдой уже второй десяток лет, с хохотом повалился на пол. Ему показалась уморительно смешной эта ситуация. Прочие дети, начав было подхихикивать, замолчали, завязнув в топи беспросветной тишины, в которую окунулся шатёр, и, чтобы пустить по ней волны, Наран начал хохотать всё громче и громче. До тех пор, пока кто-то из взрослых рядом не заткнул ему рот варёной кукурузой.

Детей не бранили и не наказывали почти никогда. Только когда ребёнку исполняется двенадцать зим, его попа знакомится с розгами, и в тот день Нарану их не досталось. По-настоящему покраснеть за свой поступок он смог только через несколько лет. Хотя дед, который прощался со всеми внуками

и даже с одним правнуком, удостоил его особой ласки, втихую от родителей отодрав уши и сказав, что хотел бы увидеть Нарана в его возрасте.

Вместе со стариками всегда уходили в последний поход их жёны. Жёны несли еду и запас воды на три дня, впрочем, скорее всего, до третьего дня никто не доживал. Мужья несли всё, что могло понадобиться по дороге к Небу: полог от шатра, зубы почившей лошади, вдетые в нити, на руках, ногах и шее, подарки, передатки и просьбы для духов от кочевого племени, а ещё перья, которые сумели понадёргать из шаманов (чем больше перьев, тем легче путь; их следовало выдернуть из одеяния шамана, поэтому шаманы, жалея стариков, старались бегать медленнее и часто загодя отцепляли все перья, кроме одного-двух) — вещи, в обычной жизни бесполезные, но имеющие сакральное значение. Аил в тот предутренний час (самый страшный! Его называли шёпотом и всегда вполголоса — «час мёртвых») должен был спать весь, до последнего часового, чтобы можно было оправдаться перед Небом: да, наши старики покидают нас, но они делают это по своей воле и в такое время, когда мы все спим и не можем их остановить; а потом весь день проводил на одном месте, возжигая костры и вознося небу плачь женщин и завывания шаманов.

Таким образом старики исчезали из жизни племени. Никто ещё и никогда не находил их останки, поэтому считалось, что Тенгри берёт их в свою ладонь сразу же, как только дым родного аила на горизонте можно будет закрыть большим пальцем. Пару раз Наран слышал о случаях, когда другое племя встречало держащих путь в иной мир стариков и старух, кормило их лучшей едой, позволяло провести ночь на самых мягких подушках и отпускало на рассвете, снабдив своими передатками для Неба, так, что старик еле волочил ноги под их грузом. Каждая такая встреча была хорошим предзнаменованием.

На ветках выше и вовсе ничего не было. Ни один путник не имел достаточно длинных рук, чтобы дотуда достать. В растрескавшемся стволе жили древесные жуки.

Урувай завозился беспокойно, и Наран пояснил:

— Я хочу ещё повыше. Давай, я встану тебе на плечи.

Не дожидаясь ответа, он подтянул к себе сначала одну ногу, потом вторую. Попытался умастить голые ступни на плечах друга, но тот внезапно покачнулся, и Наран, падая, подумал: «С таких высоких коней я ещё не падал».

Урувай смущённо потирал переносицу.

— Прости. Ты слишком тяжёлый, а я слишком неуклюжий. Не ушибся?

— Не ушибся? Да я чуть не воткнулся головой в землю! Давай-ка ещё попробуем.

— Подожди, — здоровяк сидел, раскинув ноги, уши и затылок его измазаны в чёрной степной пыли. — Почему там, на верхних ветках, так мало подношений?

— Потому что никто не дотянулся.

Наран прыгал на одной ноге в нетерпении. Урувай отряхивал шапку, хлопая ею о бедро.

— Потому что это дерево сначала принадлежало Йер-Су, а не Тенгри. Поэтому все старались подвязать свою ленточку поближе к ней, а самые неразумные лезли повыше.

Наран прекратил прыгать.

— Точно? Получается, самые ленивые и безмозглые всех перехитрили?

— Не знаю. Может, ты хочешь перехитрить и их тоже?

— Было бы хорошо, — мечтательно сказал Наран. — Тогда эта волчица увидит, что мы не льняными нитками шиты. Что у тебя на уме?

Чтобы как-то унять свою страсть к действию, он обошёл два раза вокруг дерева. Вернулся и приготовился слушать.

— Она кобылица-степь, по животу которой мы все кочуем. Может, в таком случае это вовсе не ветви?

— А что же тогда?

Урувай выставил палец.

— Корни? М? По-моему, похоже. Корни в небо! А растёт оно вглубь земли. Получается, если мы хорошенько подкопаем, мы сможем добраться до нижних ветвей и завязать узелок там.

Наран сразу поскучнел.

— Давай до самых нижних мы добираться не будем?

Лопаты были только у глав семейств и служили для вкапывания и выкапывания основ для шатров. Получить лопату — значило, что тебя признали старшим и способным вести свою семью, всех этих женщин, младших сыновей, овец и табун лошадей. Лопаты передавались от отца к сыну с особым почётом, как не передавалось даже фамильное оружие. Ведь откочёвывать на новое место, спасаясь от засухи или урагана, или нашествия скорпионов, приходилось куда чаще, чем воевать.

Конечно, у друзей такого роскошества не было, поэтому землю начали разгребать руками, расширяя трещинки и вытаскивая сохлую землю целыми комками.

Наконец показались корни.

— Смотри-ка! Не мы одни такие находчивые.

Урувай потянул за грязную, утратившую всякий цвет ленточку, привязанную к какому-то корешку. И тут же рядом нашёл ещё одну.

Наран нахмурился. Чихнул, выдохнув целое облако пыли.

— Давай покопаем ещё. Я не устал.

Они копали до тех пор, пока не сгустилась и не опустилась им на плечи ночь. Эта ночь была совершенно непроглядной, звёзды спрятались за облаками, от луны остался только краешек, на фоне которого было видно, как полыхает небесный огонь из облаков, и, чтобы не замёрзнуть, приходилось всё быстрее и быстрее работать руками. Лошади, глядя на них, тоже принялись скрести копытами землю. Под одним из корней (отмеченным конским волосом: догадливых путешественников набралось уже целых четыре штуки) обнаружился большой камень. Урувай с пыхтением извлёк его наружу, очистил от земли и выяснил, что валун отдалённо напоминает нахолившуюся птицу.

— Что это?

— Это подземная сова, — пропыхтел Наран. — Положи её на место. Помогай. Глубже ещё никто не забирался, говорю тебе.

Наконец что-то твёрдое вновь ткнулось им в руки. Наран дрожащими от усталости пальцами разгрёб землю вокруг изгиба белого, словно снег, корешка.

— И здесь тоже что-то есть, — сказал он, еле сдерживая досаду.

— Подношение?

— Это не ленточка.

Из земли появился полотняный мешочек, повязанный к корешку тесёмкой.

— Может, это и не подношение, — в голосе Нарана проснулось любопытство. На священные деревья подвязывают только ленточки. — Наверно, его закопали давным-давно, когда дерево ещё было в самом расцвете сил. Какие-нибудь кочевые племена — чтобы удобнее было потом найти свои сокровища.

Наран воскликнул, противореча сам себе:

— Может, здесь был целый лес!

— Или порядки для подношений сотню лет назад были другими, — пробормотал Урувай, глядя, как друг пытается отцепить находку от корня.

Тем не менее его тоже разбирало любопытство.

Из мешка высыпались какие-то крошки, видимо, останки еды, настолько старые, что уже не представлялось возможным определить, что это. Выпали оттуда и остатки одежды, какие-то бессмысленные лоскуты. И одной из немногих вещей, которые не рассыпались под пальцами, оказалась дуга из тёмного желтоватого металла, который приятно охлаждал пальцы.

— Что это? — спросил Урувай.

Наран наморщил лоб.

— Это называется — «стремя». Я слышал о таких штуках. Их используют далеко на западе для того, чтобы ездить на лошади.

— А! Чтобы продевать в неё повод? Довольно удобно...

— Да нет же.

— Чтобы массировать лошади спину? — неуверенно спросил Урувай.

Наран объяснил. Урувай поднял брови:

— Зачем ноги куда-то вдевать? Можно же просто повесить, и пусть себе болтаются...

— Ну, говорят, у них там слишком много деревьев и слишком длинные ноги. И чтобы не задевать за стволы и за землю, придумали такую штуку.

Друг с сомнением посмотрел на дерево. Ему было трудно вообразить, что где-то таких штукovin может быть больше, чем три. Хотя среди его сказок была одна, в которой монгольский юноша путешествовал за солнцем по всяким землям, так же и по тем, в которых растут леса. Но у него не слишком получалось её рассказывать. Шум листвы больше походил на звук растревоженного осинового гнезда, напряжение в рассказе само собой нарастало, и вместо того, чтобы отдохнуть под сенью дерева, герою раз за разом приходилось сражаться с волками или от кого-то убежать.

Он сплюнул безнадежными мыслями на землю и растёр их пяткой. Встряхнул мешочек и вытряс на ладонь несколько пыльных украшений. Не из ткани или крашенных перьев, которые делали себе женщины в степи, а из тяжёлого жёлтого металла и пыльных, мутных, но всё-таки блестящих камней.

— Интересно, в этих вещицах есть какая-нибудь тайна?

Наран рассматривал главную находку.

— Бряд ли. Скорее всего, кто-то хотел спрятать сокровища у Йер-Су за пазухой, и её воля, что именно мы их нашли. Смотри, какое искусное. Гораздо лучше любого оружия, которое я видел.

— Земля ему нисколько не повредила, — вынес свой вердикт Урувай.

— Будет нашим талисманом. Йер-Су одарила нас этой полезной вещью не просто так. Уверен, она сыграет роль в путешествии.

Урувай проникся пафосом.

— Тогда мне нужно включить её в сказание. Дай-ка, я выучу, как она звенит...

Глава 6. Керме

Первый раз за свою осознанную жизнь Керме потеряла точку соприкосновения с землёй. Когда-то в детстве мама и папа таскали её, как все родители таскают своих детей, на руках, но те времена безвозвратно растворились в непрочном, как бегущая вода, детском разуме. Керме часто жалела, что не помнит этих моментов и в то же время боялась вдруг их вспомнить. Отпустить руку Йер-Су — самое страшное, считала она, что может случиться со слепой белкой. Поэтому она всегда держалась за неё изо всех сил, цеплялась ручонками, ногами, иногда даже зубами, как блоха, въедалась в зелёный волосяной покров и надеялась, что у того достаточно прочные корни.

Теперь же она летела, и где-то внизу, будто небо с первым осенним громом внезапно перевернули и поставили ей под ноги, грохотали копыта. Ветер задувал ей в лицо, душил своей плёткой крик и одновременно рычал ей в уши другие слова.

«Не бойся, я с тобой», — послышалось Керме.

Это он! Это Ветер! Она попыталась приручить свой страх, и почувствовала вокруг талии чью-то руку и горячую ладонь на животе. Он пришёл за ней!

— Держись крепче, девочка. Сейчас у нас вырастут крылья. Как у перелётного гуся.

Голос ей понравился и одновременно поднял из глубин сердца новые приступы страха. Сильный и грубый, он как будто бы плохо выговаривал слова, проглатывая начало и окончание, оставляя от них лишь огрызки. Но сравнение с гусем Керме понравилось.

Её переложили почти на шею лошади, прямо за лукой седла.

— Ты пришёл за мной! — захлёбываясь словами, сказала Керме. — Ты везёшь меня в свой небесный шатёр?

Но он её не расслышал. Только шум трав внезапно убрался из-под ног коня, щёки облепили, как насекомые в жаркий день, снежинки. Даже снежные хлопья... нет, комья, целые комья снега таяли на веках и льдинками искрились на зубах. В глазах возник неприятный холодок, и Керме опустила веки.

Он скачет прямо по снежинкам на эти таинственные грозные тучи!

Дорога была длинной. Снег по-прежнему заваливал всё вокруг, стало очень холодно, и уши превратились в ледышки. Грива швыряла ей в лицо новые горстья снега. Керме казалось, что через толщу мяса и костей она слышит, как бьётся лошадиное сердце... Если, конечно, этот конь настоящий. Интересно, и правда, на каком скакуне должен ездить ветер? Ей на мгновение представилось странное существо с телом человека, грудью и ногами лошади. Наполовину покрыто жёсткой шерстью, наполовину — голое и гладкое. Тотчас явилось воспоминание из детства: именно таким было её первое представление о всех мужчинах.

Но, наверное, такому седло ни к чему.

Ветер ничего ей больше не говорил — знай беснуется вокруг и швыряет снег — и Керме очень хотелось потыкать его пальцем: какой он на ощупь? Вот рука, например, довольно холодная, хотя и не ледяная.

— В снегопад они за нами не поедут, — прогудел, торжествуя, ветер у неё в ушах. — Я заставлю их повернуть обратно.

Керме закрыла глаза и зарылась носом в конскую гриву, чувствуя, как холодеют мочки ушей. Разговаривать бы всё равно не получилось: оплеухи холодного воздуха уносили прочь любые звуки, какие бы не срывались с её губ. Сколько они ехали, посчитать у неё не получалось: время из мерно текущего ручья превратилось в стремительно текущий и подпрыгивающий на порогах поток.

Но вот наконец всё кончилось. Холод никуда не исчез — он лишь стал резать кожу сильнее, будто по лезвию его провели точильным камнем.

— Мы дома, — сказал голос, и у девушки возникло ощущение, что именно голос отрастил вдруг руки и спустил её с лошади. — Ты подождёшь. Мне нужно распрячь коня.

Керме вздохнула, спрятав в ладошке рот. Всё-таки получеловеком-полуконём здесь не пахло.

— Ты не попрощалась с родственниками. С отцом и матерью. Это плохо.

Этот странный, не похожий ни на что голос она старательно изучала все последующие дни. Эмоции там просыпались робкие, как запоздалые семена полынного в осеннем ветре. Когда он рассказывал что-то, состоящее больше чем из трёх фраз, то увлекался, и новорождённые проявления чувств погибали под копытами целого табуна лошадей. Этот ровный голос, без взлётов и без падений, убаюкивал девушку.

Керме обеими руками пыталась пригладить растрепавшиеся волосы.

— Я рада, что ты меня украл. Так что это ничего. Тем более ни отца, ни матери у меня нет.

— Конечно, — ответил он. — Теперь ты будешь моей женой. Зови меня Шона. Как зовут тебя, слепая белка, я уже знаю.

Шатёр был всего один, и это был единственный шатёр на памяти Керме, от которого нельзя было, сделав несколько шагов, дойти до соседнего. Был ли он расшит золотом, Керме не знала, а спросить постеснялась, мучаясь внезапно навалившейся робостью. Да это было совсем неважно. Он был из толстого войлока, такого, что зимнему холоду будет непросто прокрасться внутрь. Разделения на женскую и мужскую половины там не было.

— Всё это время я жил один, — сказал ей Ветер. — До тех пор, пока не увидел тебя и не сказал себе: «Вот та девушка, которая разделит со мной жилище».

Керме растаяла, хоть те эмоции, которые должны быть в подобной речи, ей пришлось додумывать самой.

Всё было очень ладно, очень сурово и очень пусто. Тепло, но войлок на полу кололся, единственная лежанка так близко к очагу, что непременно должна утонуть в пепле. Никаких шёлковых прикосновений, никакого томного звона колокольчиков, которыми часто украшали шатры в родном аиле. Кострище огорожено большими валунами, щеголяющими выбоинами и отметинами от топора. Пахло кожей и сушёным мясом, которое, кажется, было подвешено здесь же прямо под потолком. Подальше от дождя и снега.

— Осторожнее, — говорил он, придерживая Керме за плечи. — Там у меня сложено оружие. А там меха, в которых

можно хранить воду, кости... я иногда вырезаю из костей... вон в той стороне, кстати, стоят фигурки. Видишь ли, я уже пять зим на одном месте.

То есть, поняла Керме, облако это настолько большое и настолько плотное, что никакая молния не может его разбить.

— Ты можешь устраиваться там, где тебе понравится. Осторожнее, не ушиби ногу о камень. Я ездил мимо твоего аила, гостил несколько дней у старосты, пытаюсь как-нибудь тебя выкупить. Он говорил, ты настоящая услада твоего отца и твоей матери, а также всего кочевья... говорил мне одно и то же раз за разом, а я терпеливо ждал. Но когда услышал, что они хотят тебя наказать...

Руки налились кровью и легонько пожали её плечи. Керме повернулась и прижалась к груди, сомкнув руки у него на поясице.

Так в огромном пустом жилище поселилась маленькая слепая белка.

Вокруг творилось много странных вещей. Здесь не было снегопада, только редкие снежинки, случайные, как весёлые степные мошки, медленно кружились, пока не попадали на висок или на губы девочке, вызывая внезапную улыбку. Звук здесь разносился далеко и привольно, и Керме первое время игралась с этими звуками, как с молодыми жеребятами или щенками, отпуская их от себя резвиться и слушая, как они скачут, подпрыгивая и стараясь удержаться на высоких неверных ногах.

Иногда звуки приносили ей во рту что-то странное: далёкий звон, как будто звякает где-то в степи колокольчик, звуки капли, иногда какой-то далёкий грохот.

Половину дня здесь было темно, половину дня — светло, и ещё всё время холодно, так что приходилось всё время носить подбитый мехом халат.

Ветер был в ярости, увидев её колокольчик.

— Тебе это больше не нужно. Ты не клеймёное животное, глупо жующее траву, чтобы таскать на себе эту железяку. Ай! Если бы за меня это не делала буря, я бы вернулся и перевернул кверху ногами все их аилы.

Шона сорвал колокольчик и выбросил прочь. Керме задержала дыхание, чувствуя неожиданную лёгкость в области шеи. Вообще пожевать траву она тоже любила. Хотя большинство трав были горькими, какие-то оставляли на языке привкус созревшего молока. Это было очень весело.

Пахнет недавней грозой, и всё время ощущение, что над тобой нависает что-то огромное, бросает неподъёмную тень, так, что иногда чувствуешь мимолётные прикосновения. Керме решила, что это Тенгри, сам небесный старик, щекочет её своими бесконечными, как кочевые переходы, усами. Тем более что идолов перед входом в шатёр у Ветра никаких не было: зачем, если Небо — вот оно — зови не хочу.

О чём с ним говорить, Керме не представляла. Она бухнулась на колени и сказала: «Дорогой Тенгри, прошу, не гневайся на меня. Я не хотела отбирать у тебя Растяпу, но он мой самый настоящий друг. И пощади, пожалуйста, бабу, Шамана и всех остальных. На самом деле они хорошие и принесут в жертву твоим идолам ещё много крови».

Но, похоже, он не собирался душить её своими огромными руками или убивать молнией.

Подумала, что хорошо бы накормить Великого Жеребца морковкой из запасов мужа — все кони любят морковку — и действительно утащила одну, чтобы со всем почтением оставить её на ближайшем пригорке.

Йер-Су была далеко, до неё теперь не докричаться, даже если сунуть голову в дырку в облаках.

Керме осторожно пробовала ногами почву и удивлялась, узнав ковыль и жёсткий типчак. «Разве на облаках могут расти травы? — спросила она себя. И тут же ответила: — Конечно, могут! В далёком детстве подружки рассказывали, что низкие облака чёрные, как земля, с белой каймой, словно там танцуют целые озёра ковыля. Чем могут быть ещё эти тучи, как не летающей почвой? Где ещё выпасать своего небесного коня Ветру?»

Конь у него на самом деле был один, Керме слышала его фырканье возле коновязи. Оттуда доносился запах кожи и конского пота, там же было разложено и единственное седло. И шатёр всего один, никаких других жён, никаких рабынь, никаких младших братьев или сыновей. Запаху войлока ничего не мешало распространяться, на полу было всегда мягко настелено, и можно было падать куда угодно. Стад тоже не было — ни единого вола, ни овечки, и Керме немного была этим разочарована.

— Я живу здесь довольно уединённо, — сказал он со внезапной скованностью. — Так что если что, ты можешь звать меня. Всегда и что бы ни случилось, позови меня, и я примчусь.

Керме была этому рада. Она у своего Ветра одна, и никто не будет шептаться за спиной, никто не будет строить козни из-за её слепых глаз и из-за того, что муж её любит.

— Я за тебя боюсь, — сказал Ветер, обнимая её за плечи. — Здесь много ловушек для такой шустрой слепой белочки, как ты. Ты можешь утонуть. Ты можешь свалиться вниз.

— Здесь есть вода? — обрадовалась Керме.

— Ты вообще слышала, что я тебе говорил?

— Нет, прости, — для убедительности девушка помотала головой. — А какая здесь вода? Я чуяла её, но почему-то совсем не слышала.

— Озеро, — неохотно сказал Ветер. — Тебе не следует туда ходить.

— Я знаю. А ты покажешь?..

Шона только вздохнул.

Вода здесь на самом деле была очень странная. Она никуда не текла, как лужи, которые образуются в низинах после продолжительных дождей, но при этом не собиралась и высыхать или утекать в землю. Первым делом Керме сунула туда ноги.

— Осторожно! — предупредил её Шона. — Женщина, ну куда ты лезешь. Глубоко.

Тогда Керме подобрала полы халата и сделала два шага, насколько хватило длины их рук — её и мужа, который предусмотрительно сжимал её запястье. Дно усеяно мелкими камушками, а кое-где поросло смешной морской травой.

Рука потянула её обратно.

— Замёрзнешь и простудишься.

Но Керме не отвечала. Она завороченно трогала ногой уходящее в никуда дно.

Впоследствии она провела здесь немало часов, до бесчувственности пальцев играясь с водой, слушая мерное жужжание насекомых или представляя, как резвятся, гоняясь друг за другом, у самого дна мальки. Маленькие ивы, так и не выросшие до размеров настоящих деревьев, но переросшие обычные степные кусты, щекотали своими гибкими пальцами у неё за ушами.

Насекомые здесь тоже были вполне обычные — небось даже не знают, что живут на облаках, — скрежетали в траве сверчки, такие же пугливые, замолкали, когда Керме пыталась к ним подобраться. Только кузнечики здесь прыгали очень высоко. Сидит на ладошке, и раз! И уже нету. Наверное, многие из них допрыгивали сюда с земли.

«Я теперь замужняя женщина, — рассуждала Керме. — Я надела шапочку жены, и мне уже не пристало ползать по траве за бабочками, как малышке. Пристало следить за шатром, готовить еду и шить мужу одежду».

Однако так сложно было удержаться, когда на улицу её кличет полный жизни мир! Не раз и не два заставлял её за этим занятием муж. Подолгу стоял, улыбаясь и наблюдая за её попытками проследить на ощупь, куда же ползёт лента муравьёв, в то время, как в ушных раковинах Керме затихал, отчаявшись пробиться к увлечённому сознанию, грохот небесных копыт.

Она посвятила изучению его повадок много времени. Так, только с меньшим интересом, в детстве она наблюдала за каждой новой овцой в стаде.

От больших шершавых рук пахло кобыльим молоком. Ветер каждый вечер привозил его, свежее и изумительно холодное, в притороченных к седлу бурдюках. Как будто пьёшь снег, только куда вкуснее.

— Люблю молоко! Как хорошо, что оно у тебя тоже есть.

— Как его можно не любить? Это наша пища, — он подумал и поправился: — Наша кровь, только выходящая из другого животного.

— Ты доишь каких-нибудь небесных кобылиц?

Смеётся.

— Нет, всего лишь езжу за ним вниз. Покупаю у проезжающих кочевий.

— Они не пугаются, когда тебя видят?

— Ну как же они меня узнают?

И верно. Наверное, Ветер может принимать любые формы. Лепить своё лицо из облаков, из росы, что оседает по утрам на цветах гиацинтов. Запирает в груди шмелей, чтобы их гудение напоминало людям дыхание.

Керме втихомолку пыталась изучить его лицо, касаясь его пальцами и запоминая.

— Это кровь, которую можно пить. Кровь любви, которая возникает у матери при виде детей. Поэтому она белая, а не красная.

— Моя кровь тоже будет молоком, когда у меня будут детки? Кажется, он смутился.

— Да. Твоя кровь станет самым вкусным молоком.

Керме сказала со странным, но очень приятным чувством в груди:

— Мне придётся протыкать себе руку, и давать им напиток моего молока.

— Где ты такого наслушалась? — в голосе Ветра сквозило искреннее возмущение.

— Я слышала, дети пьют молоко мамы.

— Оно само польётся у тебя... вот отсюда.

Он слегка ослабил тесёмки на халате, и Керме почувствовала его руку возле самого сердца. Казалось, его пальцы погружаются под кожу, ещё немного, и смогут играть на венах, словно на струнном инструменте. «Это Ветер, — сказала она себе. — Он может всё, и ему позволено всё. Он мой жених».

До вен он так и не достал, и дыхание вернулось в норму. Рука убралась от её груди, перебирая пальцами, словно паук.

Какое-то время они просидели в молчании, и, чтобы немного отвлечься, он начал рассказывать:

— Когда кипят битвы и кони даже сталкиваются грудью, кусают друг друга и всадников, когда поёт железо, на копыта каждую секунду поднимают какого-то недотёпу, во всём этом супе кровь становится похожа на яд. Она сильнее змеиного яда! Она разъедает даже наконечники стрел, так что воин, которому попали в грудь из лука, если достаточно ненавидит своих противников, вынимает стрелу из груди — уже без наконечника! — и скачет дальше. Если его ранят копьём, кровь струёй ударит в обидчика и убьёт его на месте. Такова сила крови.

Керме спросила:

— Ты был в битвах? Наверное, побывал и в пустынях, когда наши кочевые народы воевали с бедуинами.

Она представляла, как жених её, нагретый пустынным солнцем, путешествует от одного лица к другому, оставляя ожоги и тёмные отметины пальцами с налипшим на них песком.

Он помолчал, перебирая её волосы. Потом сказал с до странности жалобными нотками:

— Мне всего двадцать зим.

— Как это может быть? Двадцать зим назад на земле совсем не было ветров?

— Конечно, были. Ветры были всегда, они плясали лихие пляски с запада на восток и с севера на юг, и обратно, гоняясь за зайцами и лисами. Но двадцать зим назад на землю пришёл новый ветер.

Керме почувствовала, что Шона улыбается.

— Так ты очень молодой ветер? И в какую сторону ты дуешь?
— С севера на запад и с запада на восток. Как и любой ветер. У меня нет цели, куда захочу, туда и поверну.

Шона помолчал.

— Ты моя жена и должна знать всё. Наверное, ты теряешься в догадках, почему я живу уединённо и почему на такой высоте.

Керме не терялась — на её взгляд, всё как раз было понятно — но послушно закивала.

— Я прихожу по зову шаманов, — церемонно сказал он. — Шаманов и камов, как называют их в горах. Выполняю различные их поручения. Слишком много тех, кто приходит к ним за какой-либо услугой, но слишком мало тех, кто может прийти им на помощь и не чурается вымазаться по локоть в крови. Точнее, я никого ещё не встречал. Меня отправляют ловить двойников, когда те уже почти вытеснили человека из этого мира и почти заняли его место. Тело лежит в юрте шамана, но оно почти ничего не весит, и его можно поднять одной рукой. Только и знает, что еле заметно дышать, в то время, как его двойник, прозрачный, как туман, скитается по лесам или по степи и до смерти пугает лошадей, собак и чутких людей, которые могут его заметить.

Керме устроилась поудобнее на его коленях. Ей стало интересно.

— Они зовут тебя потому, что ты можешь проехать везде и на своём коне легко прыгаешь с горы на гору?

— Ну, не совсем везде. В глухую тайгу не могу забраться даже я. Слишком часто там стоят деревья. Они зовут меня, потому, что когда-то в этом самом шатре меня вырастил шаман. Я — сын шамана и женщины из небесных кочевий. Из тех, что уже умерла, но иногда спускается на землю, чтобы навестить многочисленных детей. Бывает, в середине осени вдруг вновь распускаются сечьи. Маленькие белые цветы. Выходишь утром из шатра, а вокруг всё благоухает. Значит, небесный человек где-то рядом, и, наверно, он сидел у изголовья твоей постели. Ещё один знак — если на тыльных сторонах твоих рук, а ещё на ключице вдруг оседают капельки росы, хотя спишь ты не снаружи, а в шатре. Если потухший огонь вдруг начинает шипеть и плеваться среди остывших углей — это тоже знак. Эти люди выходят изо рта идолов и так же уходят. Но если утром шаманы закрывают идолам рты, беднякам приходится возвращаться пешком.

Шона перевёл дыхание и продолжил, поглаживая Керме по голове.

— Родив меня, она поднялась по бороде Тенгри, и я в общем-то никогда её не видел. Отец в конце концов сошёл с ума. Сказал мне, что он-де живёт на туче. Как будто не замечал всю жизнь, где стоит его шатёр... И на нервной почве провалился вниз, чтобы умереть в полёте от разрыва сердца. А я, погоревав, отправился на заработки.

Керме сидела с открытым ртом. Она пыталась влести рассказ в привычный мир, но этот камешек явно был больше и непривычной формы, чтобы лежать рядом с остальными.

— Вот и вся история, — подвёл итог Шона. — Никто не хочет связываться с камским прихвостнем. Они считают, что я приношу несчастье и за моим левым плечом всегда стоит смерть. Когда у тебя такая дурная слава, жить становится легче. Поэтому я не спустился вниз, чтобы носиться по степи, поднимая с земли колосья ковыля и пировать в тёплом кругу, а остался там, где я есть.

Керме прильнула к груди, зарылась лицом. Ей показалось на миг, что плоть под руками утратила плотность и в её объятиях гудит настоящий ураган, и что шатёр сейчас скомкает и унесёт в небо.

— Я хочу связаться с тобой, — прошептала она. — Ты мой Ветер. Навсегда и только мой.

Вместо ответа он положил её на лопатки ладони, и вместе с прикосновением этих ладоней пришла дрема. Было уже довольно поздно.

Глава 7. Наран

Степь бесконечна, и сколько на ней людей, не может сказать никто. Если долго трясти её копытами, обязательно вытрясешь аил с захудалым табуном, несколькими шатрами и старым шаманом с поблёскивающими белками без зрачков слепыми глазами. Получается, что монголов-кочевников тоже бесконечно много, ведь если скакать вечно, то вечно они будут попадаться тебе навстречу, идущие от Иртыша либо к Иртышу, или вдоль Иртыша по одному либо по второму берегу. Хотя, говорят, на севере такие места, что можно три дня скакать, не встретив никого, кроме туч саранчи.

Зато на четвёртый обязательно встретишь, и тебя обязательно спросят: в какой стороне Иртыш и много ли до него переходов?

Тебя обязательно позовут в главный аил, выгонят женщин накрывать на стол и расчёсывать твои запутавшиеся в дороге волосы и прореживать усы. Соберутся все мужчины, терпеливо ожидая, пока ты смоешь свежим молоком степную пыль из своего горла, и после этого будут расспрашивать: где был, чего видел и в каких аилах твои родственники. Тут же твои родственники — по материнской ли, по отцовской линии — найдутся и здесь. А если повезёт, ты найдёшь своего дедушку, ещё живого и бодрого, в то время, как отец страдает болезнью почек и сидит на коне как китайский иероглиф — дедушки, они всегда такие. Наран не видел ещё ни одного по-настоящему слабого и хилого деда, который не мог бы передвигаться самостоятельно или верхом; и, может быть, будущую жену.

Несколько раз странники видели вдалеке дым, но каждый раз объезжали его по широкой дуге. Вдалеке неизменно слышался лай собак.

— Мы ведём себя как трусливые мыши, — сказал Урувай, пытаясь управиться с лошадьё. Лошади поворачивали головы в сторону дыма, они уже привыкли, что рядом всегда есть люди, и степь с её тусклым лунным светом и вечным нестройным ночным хором, хоть и пробуждала в груди какие-то инстинкты, была им совершенно чужда.

Наран хмурился.

— Нам нельзя нарушать договорённости. Мы живы только потому, что избегаем людей. Помни это.

Даже если перед тем, как увидеть на горизонте чужой аил, собирались становиться на ночлег, теперь скакали в полной темноте, пока чужой костёр скрывался за горизонтом. Урувай тихо хныкал, кулем болтаясь на спине своего коня, и говорил что-то вроде:

— Мы бы протянули до твоих гор, если бы просто следовали от аила к аилу. Ты же знаешь, нас бы везде накормили и дали бы с собой еды так много, сколько смогли бы унести.

Наран злился и по привычке уже высматривал в траве мышей.

Погода стояла облачная от горизонта до горизонта. С наступлением темноты приходилось закутываться в подбитые овечьим мехом плащи всё плотнее: изо рта и из носа уже вырывались облачка пара. Лошади брели понуро, предчувствуя зиму, морды их тянулись к траве, которая через два десятка дней уже скроется под снегом. Ветер зарывался в землю, слов-

но большой крот, и дремал там, ворочаясь и заставляя креститься то в одну, то в другую сторону травы. Несколько раз, внезапно пробудившись, он доносил до путников странный протяжный и раскатистый грохот.

— Может, гроза, — заметил Урувай.

Наран промолчал. Они оба знали, что сезон гроз уже давно миновал.

Большей частью они теперь молчали, каждый в своих мыслях.

На каждый день Наран придумывал себе серьёзное занятие. Например, ловил крошечных белых бабочек и рассаживал их по оставшимся ещё в живых цветам.

— Пусть-ка работают, — говорил он ультимативно. Подмечал взгляд друга и объяснял: — Солнца мало. Пускай-ка нагоняют тепло. Крыльями будет в самый раз. Если цветы будут цвести подольше, то мы выкроем для себя у зимы ещё парочку дней.

Другой раз ловил вялых уже стрекоз с длинными гибкими хвостами и вязал из них ожерелье. Или игрался с маленькими чёрными камешками, которых под ногами попадалось полно. Или развлекался с мышинными хвостами, которых к тому времени накопилась уже целая коллекция. Ловить мышей оказалось не так уж и сложно: человеческого запаха полёвки боялись не так сильно и бывали довольно нерасторопны, когда Наран подкрадывался к ним, отрачивая лисьи зубы.

На вечернем привале, перед ужином Урувай наигрывал на морин-хууре. После еды и обратного преобразования у них не оставалось сил ни на что, кроме сна.

— Твоя песня раскачивает степь, и я не могу нормально ловить стрекоз.

Урувай прекратил играть и возразил:

— Но ты танцуешь.

Наран хотел возмутиться, но чуть не свалился, потому что правая нога внезапно зацепилась за левую. Тело замерло, словно лошадь, застигнутая за поеданием земляных яблок, и попыталось изобразить полную непричастность к каким бы то ни было пляскам. «Я ничего такого не делало», — говорила непринуждённая поза, но запнувшиеся ни с того ни с сего друг о друга ноги выдавали его с потрохами.

— Я правда танцую? — переспросил с ужасом Наран.

— Можешь мне поверить. Я уже третий день это наблюдаю.

— Но танцевать могут только шаманы. Те, которые постигли великую природу всего происходящего. Я точно ничего не постиг.

— Да что ты оправдываешься! — почти обиделся Урувай. — Ты танцуешь, и всё.

— Я просто не понимаю, как такое может быть. Человек во мне не может даже нормально ходить.

— А лис?

— А лис... — Наран запнулся. — Ах, этот негодный зверь!

Он начал колотить себя кулаками по груди.

— Выходи и выволакивай сюда все свои повадки.

— Ты его заметил. Теперь он точно никуда не выйдет, — спокойно сказал Урувай. — Я пытался поймать своего сайгака за рога, но стоило мне где-нибудь затаиться, как он уносился куда-то из моей головы. Вот такими вот скачками.

— Зачем тебе было его ловить? — спросил Наран.

— Знал бы ты, как иногда хочется мяса, — ответил друг. — Смотри! От этой травы у меня уже стал зеленеть язык.

Он показал язык и вправду цвета свежей листвы. Наран отмахнулся.

— Как мне поймать этого плута? Я не хочу плясать, как эти полоумные шаманы.

— Я не знаю. Дай ему завладеть своим телом и наблюдай тихонечко из угла. Может, тебе представится какая-нибудь возможность.

Урувай не раз был свидетелем танца Нарана. Сначала начинала двигаться нижняя половина, приплясывать на месте, словно мечтала согреться отдельно от остального тела. Потом присоединялся торс, и Наран начинал злиться, что у него снова ничего не получается с повседневными делами.

— Наверное, разум у него в хвосте, — как-то заметил Урувай. — Хвост начинает танцевать первым.

— Но у меня нет этого проклятого хвоста!

— То, что у тебя нет хвоста, ещё не значит, что он не танцует, — глубокомысленно заметил друг.

Настал день, когда они впервые не развели на ночь костёр.

— Этот свет режет мне глаза, — жаловался Наран, а Урувай вообще старался улечься от огня подальше, словно боялся подражаться с ним за свою же шкуру.

Поэтому в конце четвёртого дня пути Наран с молчаливого согласия друга просто не стал доставать огненный камень из сумки.

Ночь опустилась на них, как наседка в гнездо, распушив над головой путников хвост. Урувай отложил каменную сову, которую безуспешно пытался отчистить от земли, и объявил, что пора спать.

Накануне Наран увидел, как Урувай пытается приторочить к седлу найденный под деревом камень.

— Зачем тебе она?

— Я тоже хочу иметь себе ручную птицу. У тебя вот был когда-то гриф. А сова очень подходит мне по характеру. Я сам как сова.

Он нахохлился и довольно правдоподобно ухнул.

— Он мне не ручной, — довольно неприязненно ответил Наран. — Я многое бы отдал, чтобы никогда в жизни его не видеть. А, делай что хочешь.

Где-то там, среди облаков, иногда сверкали звёзды, как будто глаза неведомых зверьков среди пышной растительности, и скоро Наран стал теряться: на небо ли он смотрит вообще. Всё стало каким-то необычным. Он двигал подбородком, находил глазами силуэты лошадей, и казалось, что они не стоят, а лежат, бездыханные, прямо под его ногами.

Закутавшись в одеяло и пытаясь сохранить тепло, он вслушивался в дыхание Урувая. Наконец, когда отчаялся заснуть, сказал:

— Ты что не спишь?

Старательно извлекаемое из груди мерное дыхание прервалось.

— Ты, оказывается, тоже не спишь.

Наран не стал отвечать, и Урувай сказал:

— Лошади что-то волнуются.

Наран облизал губы и снова ничего не ответил. Трава рядом тихо шелестела, выпрямляя сломанные спины, выправляя раздавленные ногами людей и лошадиными копытами суставы. Он завозился, пытаясь превратить свою позу во что-то хоть немного удобное. Появилось отчаянное желание свернуться клубком.

— Мне кажется, мы забрались уже чересчур глубоко в дикую степь.

— Конечно, глубоко. Сомневаюсь, что в округе на переход верхом есть другие айлы. От тех гор приходит зима, и осенью,

вот в это самое время, люди стараются держаться отсюда по-дальше. Так что она накроет нас самыми первыми.

Своими речами Урувай вырвал с корнем ростки сна, которые начали было зарождаться в сознании Нарана.

— Я не о том, — Урувай задумался, разворачивая мысль другим боком. — Мы позволили степи слишком глубоко забраться в себя. Такое чувство, что она наполняет меня изнутри. Я сейчас копался в своей голове и понял, что не помню, сколько синяков у меня было, когда мне было десять. А ведь тогда у меня было больше всего синяков. Больше, чем у кого-нибудь из ребят. Я очень этим гордился. Я тогда был самым неуклюжим.

— А должен помнить? — поморщился Наран. — Я бы такое с удовольствием забыл.

— Это же мои воспоминания! Кроме того, я всегда гордился своими синяками... Я стал забывать свою жизнь в аиле, понимаешь?

Наран хмыкнул.

— Это всё мышинный помёт. Конечно, ты не будешь помнить, сколько у тебя было синяков в десять лет всю жизнь.

Урувай ничего не ответил, и Наран задумался. Действительно ли они теряют свою память, когда притворяются животными? У него вроде бы ничего не пропало... нужно посмотреть повнимательнее. Приглядеться. Но, всепогонщик Тенгри, как страшно!..

Наран обозревал свою память издалека, словно собственный шатёр с расстояния в десяток шагов. Все части шатра вроде бы на месте, и даже дети — маленькие его племянники — носятся вокруг, играя в какую-то весёлую игру. Но что он увидит, если поднимет полог и войдёт внутрь? Много ли вещей обнаружит на своих местах?..

Как можно дальше отодвигая необходимость ковыряться в собственной памяти, накрывая её дырявым покрывалом всяких отговорок да смешков, он задумался об Урувае и о том, как свела их судьба.

Урувай с детства умел подражать птичьим трелям и голосам животных. За это его иногда брали в игры — в качестве куницы или сидящего в кустах глупого перепела, в которого пускали затупленные стрелы или кидали камни. Ему были не по нраву такие игры, тем более что сам он не мог взять в руки даже дубину без того, чтобы не отбить себе палец. В детстве он был круглым и похожим на овечий шарик или на набитую

пухом подушку. Все попытки отца научить его ездить верхом оканчивались неудачей. Поговаривали, что один раз, слетев с очередного жеребёнка, он ударился о землю и взлетел обратно в седло. Правда, после этого свалился уже на другую сторону — напрямиком в свежий лошадиный помёт.

Наран, пусть и не слишком усердствовал, но всё же был одним из тех, кто участвовал в такой «охоте». С Уруваем они за всю жизнь не перемолвились и словом, поэтому какой-то частью воспалённого мозга он сумел удивиться, увидев мальчишку у входа в свой шатёр. Там стоял тяжёлый дух лекарств, дух боли и отчаяния, и Урувай остановился в нерешительности, щуря глаза и пытаясь разглядеть в темноте хоть что-нибудь.

«Наверное, пришёл надо мной посмеяться, — подумал Наран. — Теперь-то по сравнению со мной он выглядит куда симпатичнее».

Глаза сами собой наполнились слезами.

— Плачешь? — спросил Урувай, подползая ближе и виляя задом, как собака.

Он разгрёб себе место среди одеял, отпихнул подушку. Уселся возле головы Нарана. Наран хотел отвернуть лицо, но не смог пошевелиться.

— Я тоже иногда плачу. Плохая вода накапливается в тебе, когда ты думаешь о плохом и выходит наружу, — мальчишка двумя пальцами оттянул вечно припухшие веки. — Это полезно — плакать. Только мой деда не любит слёз и всё время порет меня прутьиной. Тогда из меня выходит ещё больше плохой воды.

Наран промолчал, и Урувай продолжил:

— А я всегда думаю о плохом. Мой деда говорит, что я похож на червяка. Ещё не умею обращаться с оружием, — сказал он с какой-то странной, перевёрнутой гордостью. — Один раз моя собственная стрела, вместо того, чтобы полететь вперёд, полетела назад и ударила мне в глаз. Знаешь, как было больно? Я тогда рыдал целый день.

От воспоминаний у него из глаз брызнули слёзы, и Наран, вглядываясь в тёмное пятно, в которое превратился толстый мальчишка, отчаянно пытался высушить свои.

— Ты что, настолько криворукый?

Голос изменился до такой степени, что напоминал звук, с которым одна кость стучит о другую.

Урувай с готовностью выставил свои руки.

— У меня одна короче другой. Зато я умею играть на морин-хууре. Деда меня учит, когда у него хорошее настроение. Вернее, как говорит мама, когда его не кусает за пятку гадюка.

— И тебе не попадают в глаз струны?.. Наверное, когда ты играешь, рядом дохнут кони.

Слова Нарана ударили толстого мальчишку в голову, будто лошадиное копыто. Он раскачивался из стороны в сторону, и лицо, как листик лопуха, из которого дети делают фигурки зверей, складывалось то в плаксивое выражение, то в глупую улыбку.

Наран подумал, что, наверное, он где-то слишком нагрубил, но попросить прощения в голову ему не пришлось.

Теперь Урувай заходил каждый день, сидел рядом с ложем и пускал по разному поводу то слёзы, то слюни. Много разговаривал, не ожидая, что Наран начнёт ему отвечать. Больше никто из детей Нарана не навещал, а смех бывших приятелей по играм он часто слышал снаружи — где-то в отдалении, где они упражнялись в стрельбе из лука по собакам и мелким грызунам...

И тут Наран вдруг осознал, что не помнит, какой узор был на его шатре. Красного ли он был цвета или синего, такого, как небо в ясный летний день?..

— Знаешь, мне кажется ещё, что мы не замечаем чего-то важного, — прервал затянувшееся молчание друг.

— Чего же? — раздражённо спросил Наран. Шатёр стоял у него перед глазами. И всё же — красное, как пламя или цвета воды?..

— Опять не так... кажется, что что-то важное стало для нас неважным.

— Ты говоришь как гнилой старец из одной из своих сказок.

— Да, да, я знаю... ты слышишь этот шум? Топот копыт, как будто надвигается целый табун?

Наран хотел выругаться, но вдруг понял, что на самом деле слышит. И ещё что слышал его весь день, как будто целое войско кузнечиков крадёт за ними следом в траве. То, что днём он принял за гром, не замолкало с тех пор ни на минуту. Ни одна гроза, даже самая свирепая, не может так долго рвать глотку.

— Мне кажется, я различаю даже ржание, — сказал Урувай. — Что же это может быть? Смотри, наши кони им отвечают!

— Не знаю, — Наран пытался успокоиться. Лицо соприкасается с холодным воздухом, но сознание, напротив, становится всё более беспокойным, как будто его накаляют на костре. — Что бы это ни было, если мы не увидели его к вечеру, то навряд ли увидим скоро. Чувствуешь? Оно ещё очень далеко.

Снова молчание, но на этот раз каждый пытал окружающую тишину и своё сознание на новые детали. Нарану мерещилось, что уши у него переползли на макушку, а нос стал немного длиннее.

— Слышишь летучих мышей? — наконец сказал Урувай, и Наран обратил свои чувства вверх. Летучих мышей он слышал, и с ними явно было что-то не так.

Шумное дыхание Урувая то надолго забивалось в его большой живот, то вновь показывало наружу голову.

— Тебе не кажется, что они летают задом наперёд?

Наран расхохотался хриплым, твякующим смехом. Влажный шелест в воздухе присутствовал, иногда небо на мгновение закрывала короткая тень, и что-то в ней на самом деле было неправильное для человеческого глаза. Но летающая задом наперёд летучая мышь? Что за ерунда!

Наран частично увидел, а большей частью почувствовал, как Урувай быстро-быстро закивал головой.

— Так и есть. Я тебе говорил, что когда я был совсем маленьким, из-за обострённых чувств меня хотели забрать в шаманский шатёр и учить там общаться с богами? И даже забрали. Но из-за того, что я на второй же день сел на бубен и порвал его, меня вернули в семью... Это какой-то мышиный ритуальный танец. Не знаю, что это за ритуал, но я точно чувствую, что здесь вершится какое-то чудодейство. Этих мышей сейчас не боятся даже ночные бабочки.

Наран вскочил, на ходу выпутываясь из одеял, и следом вскочил Урувай, так шустро, как будто не лежал, а сидел, поджав под себя ноги.

— Нужно развести костёр!

Не сговариваясь, бросились в разные стороны, толстяк принялся добывать из седельной сумки огниво, раскидывая вещи, словно лисица, торопящаяся добыть себе аппетитную солонину до того, как придёт всадник. Гребень для волос и тёплое одеяло полетели в разные стороны, нож и ножны бросились врассыпную.

Наран рвал руками и кое-где даже зубами, как голодный сайгак, целые пучки сушняка, и между ними вырос холмик

сухого огня, из которого во все стороны торчали метёлки ковыля. Конечно, этого хватит ненадолго, но сейчас главное — развести хоть какой-нибудь огонь. Урувай дрожащими руками высек искру, и скоро они уже сгрудились вокруг новорождённого огонька, почти сомкнув плечи и закрывая его от непрошенного ветерка. Огонь непривычно резал глаз, и Наран, загораживаясь от него рукой, подумал, что, наверное, всё-таки шатёр был с синей вышивкой.

— Повезло нам, — сказал он, делая паузу после каждого слова, чтобы поменять воздух в лёгких. — Если бы начались дожди, мы бы сейчас добыли только дым.

— Вот теперь я снова монгол, — Урувай деловито осматривал себя. — Пусть и по-прежнему таксебешный... Представь на минуточку, всё время, когда я пытался заснуть, мне казалось, что моя шея всё растёт и растёт, и растёт в длину... Ты не видишь на мне нигде шерсти?

— Только в носу...

Наран поёжился, почувствовав холод, и сел возле огня на корточках. Щурясь и терпя боль в глазу, он пытался разглядеть в темноте летучих мышей, но никого не видел.

— Ты прав, — сказал он. — Мы забрались слишком глубоко. Опасно глубоко, чтобы рисковать не вернуться обратно. Сейчас, при свете, мне всё это кажется плохим сном, но на эти знаки нам нельзя закрывать глаза. Ложись, друг мой. Я подежурю и послежу, чтобы костёр разгорелся как следует.

Следующим вечером они наткнулись на холм. Он зарос колючей ежевикой и усыпан плоскими камнями, так что сначала Наран хотел назвать его холмом сбитых копыт, потому что въезжать на него верхом — очень плохая идея. Но в конце концов назвал его холмом лисьей пляски.

— Эти холмы — первые признаки того, что мы всё ближе к цели, — сказал он, а Урувай протяжно вздохнул. С плоской степью за семнадцать осознанных лет он смирился, но то, что в конце концов придётся куда-то подниматься, его совсем не устраивало.

— Может быть, до нас никто на этот холм не натыкался. Поэтому надо дать ему название.

Они привязали лошадей к большим валунам и поднялись с сумками наверх, чтобы разбить лагерь. Урувай почувствовал себя наверху неожиданно хорошо, и даже подъём почти не вытянул из него сил. Зато Наран беспокойно оглядывался

и пригибал голову, пытаюсь хоть как-то скрыться за низкими кустами.

— Это потому, что ты копытное. Они любят куда-то карабкаться. Наверное, думают, что там, наверху, можно легко достать языком луну. Думают, что раз она белая, значит и солёная, как морской песок. Я же люблю высокую траву и не люблю колючие кусты. Там можно оставить половину шкуры! А шкура у меня, знаешь ли, одна.

Расположились на самой вершине, на большой проплеши-не, где лежалая земля перемежалась с плоскими гольцами. Когда опустились сумерки, запыльхал костёр, а Урувай извлёк из сумки моринхур, Наран сказал тихо:

— Я решил, что, если дам ему полную волю над своим телом, рано или поздно я его поймаю. Поэтому играй долго и душевно, чтобы он успел полностью освоиться и потерять бдительность. Пусть он будет танцевать, как умеет, а потом выдохнется и свалится без сил.

— Что ты будешь с ним делать, когда поймаешь? — так же шёпотом спросил Урувай.

— Посажу на верёвку. Он будет ловить за меня мышей и только. Клянусь, я больше не дам ему влезать в моё тело, когда вздумается и воровать мои воспоминания.

Моринхур в этот вечер пел до хрипоты, и даже степь притихла, чтобы послушать старинные сказания. Наран, кажется, весь целиком превратился в лисий хвост. Он подпрыгивал почти до небес, изгибался, тряс руками, головой, и вместе с единственным усом и двумя косами мотались в разные стороны ниточки слюны. Белые пятки сверкали, как два маленьких щенка, гоняющиеся друг за другом по всей полянке.

Урувай смотрел на всё это во все глаза и думал: откуда же в том тщедушном теле взялось столько энергии? Даже в натянутом луке её меньше... в горле уже давно клокотала кровь, пальцы оставляли кровавые пятнышки на струнах, но играть и петь он не прекращал. И даже когда его начали спрашивать, умудрялся отвечать и петь. Получалось что-то такое:

— Откуда этот шаман? Какого бога он славит? Я ни разу не видел таких шаманов. Почему он танцует не вокруг костра?

— Это-о не-е шама-а-ан. Это лис-с-с.

Ежевика зашелестела вновь, вой ветра, заплутавшего в её ветвях, складывался в слова:

— Как ты заставил зверя обернуться человеком?

— Это не я. Он сам. Он попросил у степи покровительства, и... ой! Кто это?

Музыка стихла, и Наран, взмахнув напоследок неуклюже руками, рухнул на землю. Некоторое время лежал, тихо подёргивая конечностями и безмятежно вздыхая, а потом руки, как два коршуна, вдруг бросились к горлу.

— Я его поймал! — ликующе и немного придушенно воскликнул Наран.

— Ты уверен, что он не опасен? — зашептали над самым ухом Урувая.

Он заорал:

— Наран! Я боюсь оглянуться. За мной кто-то стоит.

Наран настолько растерялся, что отпустил свою шею и усталился на друга, из-за плеча которого действительно выглядывал чей-то силуэт.

Человек понял, что его заметили и подобрался:

— Никому не сходить с места. Нас здесь так много, что многим пришлось притвориться кустами и отрастить на себе ягоды, чтобы как-то замаскироваться на этом пустом холме. На вас нацелены сотни луков, и они заряжены тысячью стрел.

— Я боюсь, — принялся хныкать Урувай, а Наран отодвинулся от кустов к центру полянки.

— Кто вы такие?

— Мы разбойники, — каким-то образом мешая в голосе надменность и робкую тихость, сказал человек.

— Что значит — разбойники? — переспросил Наран.

— Значит, люди, которые грабят и убивают других людей, — кажется, заставший их врасплох был слегка удивлён тем, что только что танцевавший лисий танец сумасшедший может задавать разумные вопросы. В этом удивлении была толика правды: Нарану было довольно трудно говорить, язык казался неуклюжим и большим и всё время цеплялся за зубы. А зубы казались непомерно большими и при каждом движении челюсти грозили оставить на щеках с внутренней стороны болезненные царапины.

— Что это за глупость? Разве один барс убивает другого барса, чтобы снять с него шкуру?

В чужом голосе послышалось смущение.

— О, на самом деле это древнее искусство. Наши степные племена довольно невежественны, и я по мере возможностей занимаюсь просвещением. Каждый раз, убивая очередную жертву, мне приходится ей это растолковывать.

Наконец монгол выбрался на открытое пространство, так, что его возможно стало разглядеть. Костёр брызнул светом на оружие в руках, на побелевшие от напряжения кончики пальцев, между которыми зажата стрела. Черты лица отличались необычайной тонкостью и напоминали не то снежинки, не то узоры листьев папоротника. Вместе с тем уже не молод. Седых прядей в его усах было столько же, сколько в усах старейшины из аила Урувая и Нарана, если не больше, и каждая была подвязана цветной шёлковой ленточкой, так что, когда поворачивал голову или разговаривал, он напоминал священное дерево, в ветвях которого, запутавшись в лентах, шумит ветер.

А когда подбородок и взгляд оставался в спокойствии, он напоминал священное дерево в безветренный день.

Нос у него тонкий и напоминающий птицу со сложенными крыльями, а глаза — необычно большие для монгола. Словно две крупных чёрных ягоды на тарелке с праздничной пищей.

Наран выгнал наконец обнаглевшего лиса, что щёлкал зубами на хозяина тела, и вновь подал голос:

— Почему в вашем аиле не горят огни? Мы бы заехали в гости поговорить о том о сём по-соседски. И, конечно, спели бы вам пару сказок. Мой друг очень хорошо поёт.

Незнакомец ответил церемонно:

— Наш огонь — это плодоносящие кусты смородины. Ничего удивительного, что вы его просмотрели, и было бы плохо, если бы увидели и пошли на наш скромный аил. Тогда нам пришлось бы вас убить. Кроме того, когда не горит костёр, Тенгри не видит наших злодеяний и не может наслать на нас грозу или пожар.

Наран оглядывался, пытаясь понять, кто из кустов смородины — сообщник незнакомца и на самом ли деле их дела так плохи. Глаза Урувая сейчас ему бы оченьгодились. Наран взглянул на друга: не занят ли он сейчас тем же самым? Но толстяк ни о чём таком не помышлял. Просто смотрел на незнакомца, открыв рот.

— Вы сделали так много плохого?

Монгол склонил подбородок.

— Наши злодеяния известны. Если бы он знал, где мы находимся, он бы сразу покарал самым жестоким из доступных ему способов. Наслал бы на нас барсов или полчища ядовитых мух. Я уверен.

Речь свою, однако, он даже не пытался каким-то образом ни умерить, ни как-то замаскировать. Наран слышал, что не-

которые шаманы и хитрые вожди, желая скрыть свои слова от Верховного Бога, учились разговаривать задом наперёд. Однако ему таких не встречалось — что скрывать кочевнику, кроме ничего за пазухой, и какие у него могут быть амбиции, кроме как проскакать от горизонта до горизонта, — и он сомневался, что когда-нибудь таких встретит.

— Но где ваши шатры? Отсюда хорошо просматривается степь на половину дневного перехода, и мы не увидели ни единого шатра!

Монгол ответил охотно:

— Потому что вы сейчас поёте и играете на его крыше. Мы, пожалуй, не будем грабить вас прямо здесь. Проведём вас внутрь и накормим, как полагается кормить гостей, а потом уже решим. Сдайте оружие и отпустите на волю свои луки. Может, вы будете стрелять из них позже. Если, конечно, у вас получится стрелять без рук.

Он сделал повелительный жест и хрипло расхохотался. После чего сам подошёл и забрал валяющийся здесь же Наранов нож и лук. Шепнул:

— Вы уж простите перед лицом Тенгри за мои дерзкие речи. Но традиции и деловой этикет обязывают вести себя подобным образом. Возможно, ваши руки даже останутся при вас.

— А морин-хуур считается за оружие? — обеспокоенно спросил Урувай.

— Нет.

— У меня нету ничего, кроме моего инструмента. Мой лук остался в седле, а я и стрелять из него толком не умею.

— Такие беспечные в степи, — обеспокоенно покачал головой монгол. — Айе! Ладно, вам попались мы. А если бы тигр или волки?.. Сейчас мы пойдём в наше убежище и там хорошо поговорим. Ты не будешь надевать на своего зверочеловека уздечку? Разговаривает он разумно, но кто его знает... Нет?.. Ну тогда идёмте. Придётся выколоть вам глаза, чтобы наше убежище оставалось в тайне. Как я уже сказал, оно под землёй, поэтому пригибайте головы...

Видно, только теперь он разглядел лицо Нарана и запутался в собственном языке. Но, когда гостеприимное приглашение прозвучало, деваться некуда. На какие-то там убийства, насилия и прочие зверства Тенгри, может быть, и закрывает глаза, но нарушение обещанного гостеприимства уж точно терпеть не будет. Вежливость и гостеприимство — вот то, что

отличает людей от остальных животных. Вовсе не необходимость носить одежду.

— Ладно, — пробурчал он. — Видно, вам и так неслабо досталось. Можно и просто завязать. Как ты пробрался в шкуру человека, подлый зверь? Ты разговариваешь вроде бы разумно. Но эта шкура на самом деле весьма потёртая. Это твоя работа?

Наран замотал головой, и разбойник подошёл к нему поближе, разглядывая шрамы. Урувай открыл рот:

— Нет, он...

— Я нашёл этого человека мёртвым, — быстро сказал Наран и наступил другу на ногу, чтобы не болтал лишнего. Он припомнил лисью речь, как сорвались с его языка первые слова-тявы, и старался произносить с этим же чувством человеческие слова. — Его выпила Степь. Я сделал в его голове нору и поселился там. Моё тело склевали вороны. Оно было старым и слабым.

Разбойник заинтересовался. Спросил у Урувая:

— Как он это сделал?

Урувай беспомощно посмотрел на Нарана, и Наран сказал поспешно:

— Всего лишь лизал лицо. Вдохнул свою жизнь. Этот человек почти меня не знает. Мы встретились вчера, он дал мне коня и еды. Я погиб бы в Больших Пустых Местах, так как теперь не могу даже ловить мышей.

Разбойник с нескрываемым удовольствием хлопнул в ладоши.

— Это трогательная история. У меня есть дочери. Думаю, им понравится. И куда же вы направлялись?

— В горы, — сказал Наран и замолк, отчаянно пытаясь придумать продолжение.

— Зачем?

Разбойник повернулся к Уруваю, и Наран поспешно ответил, пока друга не разорвало от еле сдерживаемой паники.

— Это Урувай. Он друг шаманов. Говорит, они могут дать мне новую жизнь в теле лисы или, может, белки, — Наран вошёл во вкус. Белок он ни разу не видел, но слышал рассказы тех стариков, что доходили до края Великой Степи, где в изобилии водились эти зверьки. — Люблю белок. Они такие же рыжие, как моя прежняя шкурка. А сам он направляется туда, чтобы просить помочь своему голодающему аилу справиться с засухой и суровой зимой.

— Как мне величать тебя, лис?

— Того бедолагу, в чьём теле я брожу, звали Наран.

— Наран. Твой друг вроде не сильно худой.

Монгол смерил взглядом Урувая, накручивая на палец ус, и Наран поспешил исправить положение:

— Нет-нет! Это он в степи отъелся. Вчера. Я благодарил его и поймал ему трёх перепёлок.

Разбойник одобрительно хмыкнул.

— Что же. Вижу, вы хорошая компания. Жаль, вам не повезло наткнуться на нас — единственную и самую жестокую банду во всей Степи. А теперь встаньте-ка на колени.

Наран исполнил приказанное, и мир исчез. Глаз замотали тряпицей и туго, узлом затянули концы на затылке. С Уруваем, судя по невнятной возне с той стороны и тяжёлым его всхлипам, сделали то же самое.

Костёр тщательно забросали землёй и затоптали. Похоже, людей было не так уж и много: шума, который они производили, хватило бы на полтора взрослых мужчины. Потом их подняли с колен и под локти повели вниз. Незнакомец заботливо предупредил:

— Осторожно, кусты.

Или:

— Берегите ноги, сейчас будут гольцы. А, вот мы и почти спустились.

Дорогой он спросил их имена. И представился сам:

— Зовите меня просто — Атаман. Настоящее моё имя покрыто мраком забвения.

Наран спросил:

— Что это значит?

— Это иностранное слово, — строго сказал мужчина. — Думаю, перед тем, как жестоко вас ограбить, я отвечу на все ваши вопросы.

Наран обнаружил, что вовсе не обязательно видеть, чтобы не спотыкаться на каждом шагу. Прочие чувства обострились, и ноздри с ушами исправно доносили, в какую сторону их ведут. Наверное, за это стоило благодарить лиса, и юноша, после недолгого колебания, мысленно перед ним извинился и потрепал по загривку.

Тропа клубком раскручивалась у них под ногами. Сбегала с камня на камень до самого подножия холма, и Наран понял, что лошади исчезли.

Атаман рассказывал:

— Мы известные путешественники. Многие из нас бывали за горами, гуляли по берегу моря в обе стороны. Были у китайцев, и на западе — у урусов. И там, и там есть традиции разбойников, и мы решили принести эту почётную работу в степи. У китайцев разбойники плавают на лодках, у урусов добывают себе пропитание на дорогах. Атаман — значит, вождь разбойников, а кто здесь вождь, как не я? Пригибайте головы. Это и есть мой шатёр, а прямо у вас над головой — его полог.

Наран забеспокоился. Пахло землёй, почти до земли свешивались корни и высохшие плети плюща, которые обняли их за плечи своими иссохшими конечностями. Проводники молча толкнули их вперёд и вошли следом.

По всему выходило, путь их лежал в ноздрю Йер-Су. Хорошо бы, она не вздумала чихать.

— Пригибайте головы, — ещё раз предупредил их Атаман.

Вот здесь на них набросилась, хлопая чёрными крыльями, настоящая темнота, ощущаемая даже через повязки, даже по запаху и на слух — шаги стали раскатистыми и гулкими, а уши будто бы закрыли ладонями. Когда они прошли через горло пещеры и коридор сделал один залихватский поворот, она сразу же рассеялась.

Наран почувствовал, что его больше никто не держит. Он сорвал повязку, обернулся, но увидел только заходящего следом и праздно размахивающего двумя луками Атамана. Наранов он тут же отшвырнул к стенке, туда же отправил, сняв с плеча, колчан, а стрелы заботливо переправил в свой. Теперь, когда Наран рассматривал разбойника вблизи, у него обнаружился животик, а плечи, некогда могучие, под тяжестью испытаний, а может, напротив, от осёдлой жизни, опустились и обросли одряхлелой, обвислой кожей. Пояс на халате повязан как попало, массивные ножны с изогнутым мечом-ятаганом болтались на бедре, так, словно это не оружие, а ложка к обеду. Наран ни разу не встречал такого оружия у степняков. Должно быть, разбойник добыл это оружие в одном из походов в пустыни. Эта же пустыня, должно быть, выжгла у него на макушке массивную проплешину, повыдергав с корнем все волосы.

На другом бедре притулился колчан со стрелами, из-за того, что половина стрел была без оперения, казавшийся старой плешивой вороной. Кажется, все хорошие стрелы достались ему от Нарана.

Здесь тлел костёр, выдыхая в потолок искры, на камнях и на растянутых верёвках сушилось мясо в обрамлении трав и кореньев. Над костром в неровном, закопченном котелке лениво булькала похлёбка. На земле — несколько ковров, разложенных друг на друге и покрывающих таким образом весь пол. Некоторые были вполне традиционного, войлочного плетения, на других можно разглядеть поблекший, но всё ещё различимый рисунок — очень искусный, таких Наран раньше не видел. Да и материала они были очень странного, плотного и ворсистого. Ковры подползали к кострищу, как побитые шавки, и чем ближе, тем больше прожжённых пятен появлялось на их шкурах.

В тёмном углу стоял войлочный идол, почему-то отвёрнутый лицом к стенке пещеры, и стоял к ним полубоком, так, что друзья вынуждены наблюдать его сгорбленную спину и одно плечо. Даже так можно было сказать, что это очень странный идол. Ушей у него не было совсем, а глаза заматаны плотной тканью, такой же, которой завязывали глаза им. На высокой подушке перед его плечом было традиционное подношение в миске — только вместо молока там был кусок мяса.

— У нас есть идол, идол не имеет ушей, и глаза его слепы оттого, что вечность закрыты тряпкой, — сказал Атаман. Он оттеснил гостей к стене, встал на колени за спиной у войлочного бога, с достоинством ему поклонился, положив перед собой руки. — Мы, конечно, чтим его, но соблюдая все предосторожности, чтобы нас не нашли. Когда он хочет принять подношение, он просто поворачивает голову и ест, а потом снова отворачивается к стене.

На ровной части стены белой краской были изображены сцены из разных сказок. Какие-то сцены казались Нарану знакомыми, о каких-то он не слышал даже от самого увлечённого Сказочника, что таскается за ним с самого детства. Здесь и юноша, поехавший с Луной наперегонки, и восточные сказки, с прекрасными принцессами и шатрами с огромными куполами, что достают до самых звёзд. Всё очень небрежно, но в то же время в этих неказистых линиях пряталась душа, текла по ним, как кровь по венам. Это напомнило Нарану исполнение этих же сказок Уруваем. Наверное, они с художником найдут общий язык.

Он скосил глаз и увидел, что друг тоже разглядывает рисунки.

Там же, в нишах стены, разложена утварь, глиняные кувшины и чашки, и на этом предметы, предназначенные для мирного общения между людьми, заканчивались. Чувствовалось, что люди здесь живут войной, и Наран ни за что не хотел бы прогуляться здесь с завязанными глазами. В иных местах сложно было сделать шаг, чтобы не наткнуться на что-нибудь острое. Там сложены копья, большие и маленькие дротики, сабли и мечи, такие кривые, что даже между двумя саблями не было единства в форме; и изъеденные ржой, но всё ещё способные проделать в человеческой шкуре дырку. От этой ржи, подумал Наран, они становятся куда опаснее. Кислое железо проникает в кровь, и, даже если рана оказалась несмертельной, человек умирает в страшных корчах в течение двух дней. Натянутые луки — и монгольские, и большие, из которых невозможно стрелять с коня. Зачем они вообще нужны, интересно? Кому требуется стоять неподвижно, целясь в мчащегося на тебя всадника? Ведь если его убьёт стрелой или даже убьёт коня, тебя всё равно накроет несущейся во весь опор тушей...

— Можете снять повязки, — строго сказал Атаман и, повернувшись, узрел блеск смотрящих в разные стороны глаз. — А... уже сняли. Присаживайтесь.

Скрестив ноги, он сам опустилсЯ возле костерка. Ножны с ятаганом устроились под задницей. Кажется, его не так уж и часто вынимали, так что оружие привыкло даже к такой роли. Отщипнул от коптившейся лошадиной ноги кусок.

Урувай робко спросил:

— А где все остальные? Пятьдесят тысяч бандитов?

— Не пятьдесят, а только пять. Они пока что ушли от лихих дел. Вернулись по своим аилам. Сказали, что нужно растить детей и что это разбойное дело только для молодых, — Атаман фыркнул, и в словах его послышалась обида. — Как телята, разбежались по своим табунам... Я же ращу своих детей здесь, и ничего. Точнее, они сами растут, только успевай поднимать подбородок.

— Значит, мы здесь одни? — вкрадчиво спросил Наран.

— Здесь мои дочери.

Челюсти его мерно двигались, пережевывая мясо.

— Ну, не считая твоих дочерей...

Наран медленно продвигался к монголу. Если получится приложить его головой о свод пещеры, все проблемы их разрешатся, не успев толком начаться. Кроме того, они получат ночь передышки в уютном убежище...

— Их сложно не считать. Такие пострелки, что того и гляди кого не досчитаешься... Глазастые. И уши такие, что позавидует любой заяц. Это они услышали вашу песню на вершине нашего холма.

Урувай толкнул Нарана локтем в бок. Тот уже поднял было руки, готовя их для броска и науськивая, словно двух тигров, но друг пихнул его в бок ещё раз, и Наран недовольно обернулся. Как раз, чтобы услышать:

— Папа! Это те самые степные соловьи?

Неизвестно, из какой коробочки выскочил этот карманный тигр. Может быть, из груди одеял у стенки, может, подкрался к ним от входа. Или спустился с потолка, как настоящий паук. Тем более она и напоминала паука своими руками и ногами, в каждой из которых, казалось, было не менее трёх суставов.

— Да. Это моя дочь, Налим.

Перво-наперво Наран заметил взгляд. Ни одна девочка не могла позволить себе такой взгляд — такой, будто собираешься им сломать камень или заставить ручей течь в другую сторону. От больших серых глаз хотелось убрать свой собственный куда-нибудь за отворот халата. Лицо правильной формы и похоже на фрукт терракотового дерева, а оттенком — на загорелую степь в конце лета, и была, скорее всего, одних годов с Нараном и Уруваем. Вряд ли старше, вряд ли младше.

— Вот этот похож на дикого зверя. А тот — на надутый бычий пузырь. Который из них поёт?

Она закинула правую руку себе за голову, перехватила её левой и потянула. Наран ещё раз поразился тягучести суставов. Как будто слегка увядший степной мёд тянется и тянется, до бесконечности.

Было ещё что-то, что поразило его куда больше. Никто ещё не разглядывал его лицо вот так — прямо и без страха.

— Этот поёт, а другой танцует. В него вселился лис, и когда играет музыка, он выходит наружу и заставляет этого человека плясать, — поведал Атаман. Он смотрел на дочку с неподдельной нежностью.

Девочка была одета в самого обыкновенного покроя халат и мягкие сапожки: несмотря на толстые ковры и костёр, под каменными сводами дневал и ночевал холод. Чёрные косы спускались за спину и напоминали два ручья, потоки воды, в которых отражается искажённое и размазанное ночное небо.

Атаман два раза хлопнул в ладоши.

— Время ужина! Выходите все и не бойтесь наших гостей. Вообще-то это они нас боятся.

Когда-то в детстве Наран заметил, что, если дожждаться, пока из шатра уйдут все взрослые, и немного подождать, можно увидеть много чего интересного. Выползают из своих укрытий жуки с блестящими чёрными спинками. Расправляет крылья и начинает кружиться вокруг отверстия в небо большой полосатый шмель. Там, где примыкает к земле шатёр, наскоро плетёт паутину паучок, воруя свои нитки из пряжи, неосмотрительно оставленной женщинами без присмотра. Внезапно возникает движение воздуха, ветерок бросается на лицо мальчика и отпрыгивает, как будто где-то совсем рядом вдруг начинает вилять хвостом большая добродушная собака. Если сидеть достаточно долго, можно увидеть: какие-то тени поднимаются с земли и начинают бродить туда и сюда, ворошить и перекидывать остывшие с ночи уголья. Чаще всего это кончается томительной полуденной дремой, а когда заходит кто-то из взрослых и Наран просыпается, ни паучка, ни шмеля, ни тем более теней и ветерка нет и в помине.

Теперь это полузабытое ощущение всплыло на поверхность. Откуда в пустой пещере вдруг появилось столько народу, он уловить не сумел. Просто они вдруг стали заметны, раз, и появились в своих нехитрых укрытиях, в которых придёт в голову спрятаться только детям и глухим голубям, которые прячут головы под крылья и думают, что их не видят.

— Откуда они взялись? — тихо спросил Наран друга.

— Да они всё время были здесь, — ответил тот. — Просто прятались. Разве ты не видел? Вон та, худенькая, была за копиями...

— Знакомьтесь, — важно сказал Атаман. — Это моя сегодняшняя добыча. Лис в шкуре человека, и шаман, опытный игрец на морин-хуре. А это мои девочки. Там Сайга, это Мотылёк и Острота.

— Они совершенно на тебя не похожи, — сказал Наран, чтобы что-то сказать. — Твои девочки. И друг на друга не похожи. Они не сёстры?

Он сидел, спрятав руки между коленями и стараясь стать как можно незаметнее перед этими острыми, как сталь, взглядами. Ни в одном аиле женщина не позволяла себе так смотреть на мужчину. Хотя к этим взглядам, помимо любопытства, примешивалась гадливость и где-то, в самой малой толике — страх. Только взгляд Налим не выражал ничего кон-

кретного. Там была сердцевина, какое-то чувство, только вот расколоть скорлупу его у Нарана пока не хватало сил. И всё же под этим взглядом он чувствовал себя неуютнее всего.

— Ты прав, — улыбнулся монгол. — Они не мои настоящие дочери. В те лихие времена, когда мы ещё странствовали разбойничьим аилом по пустыне и грабили местные караваны и селения, в виде добычи мы приживали себе детей. Мы воспитывали их всем аилом практически с младенчества или же с малых лет. Тех, кто постарше, было легче убить, чем возиться с ними... Позже, когда мои товарищи решили отойти от дела, повзрослевшие сыновья решили уйти с ними. А девочки остались со мной.

— Мы любим папу, — строго сказала одна, та, которая помладше.

Атаман улыбнулся:

— Говорят, что девочки рождаются, если мужчина слабее своей жены по личным качествам и не может полностью её контролировать. Если он не завладел её умом и её чувствами полностью... Я решил доказать, что мужчина, воспитывающий много женщин сразу, тоже может быть сильным. Поэтому брал себе на воспитание только девочек. Выросли все в папу. Я иногда сам поражаюсь их жестокости. Говорят, дети — как твоё отражение в реке. Плывёт и колыхается, и кажется, что отражает всё не так, как надо. А на самом деле повторяет все твои движения в точности, и вообще в них куда больше тебя, чем ты мог бы подумать.

Наран покивал, пытаясь отвлечься от этих кинжальных взглядов и понять его логику. С одной стороны, атаман выглядит рядом со своими дочерьми как телёнок рядом с коршунами. С другой — он с видимым удовольствием катает их на спине, и они подчиняются каждому его слову быстрее, чем стал бы подчиняться любой сын. Сыновья вообще обычно в этом возрасте подчиняются кому-либо с большой неохотой: Наран помнил это по себе и по своим бывшим приятелям, за которыми вдоволь понаблюдал в аиле. Всё их существо бунтует, и взгляд становится бешеным, как у оленя, у которого режутся рога. Кажется, спустись с небес вдруг Тенгри (по своему же собственному усу! Есть старинные предания, согласно которым Верховный Бог иногда спускает на землю свой собственный ус и по нему, как по верёвке, нисходит к своим степям-кобылицам), эти подрастающие демоны стали бы препираться и с ним.

Девочки уже помешивали на костре похлёбку, скребли песком миски, пытаясь избавиться их от следов прошлой трапезы и подготовить к новой. Жужжали вокруг, словно пчёлы, переговариваясь друг с другом высокими голосами, как перекрикиваются в косяке гуси. Отец, исполненный гордости, придвинулся к гостям поближе и рассказывал, понизив голос до шёпота:

— Когда-нибудь они все повыходят замуж и уедут с мужьями в их айлы. Когда-нибудь кто-нибудь приедет нарвать этих степных цветов в свою юрту. Я давно уже готов к этому. Для девочек я даже сочинил легенды. Для каждой свою. Остроте сказал, что её уже видит в своей волшебной луже могущественный горный шаман. Когда-нибудь он дохромает до своего коня, чтобы спуститься с гор и увезти её в свой шатёр, где не переставая гремит над котелком карликовая гроза, где пауки размером с человеческую голову, а по ковру бродят стада бизонов. Она у меня самая любознательная, ей такое нравится... Сайга уже выдана замуж за сына моего друга, и, как только он подрастёт, он за ней примчится. Я только надеюсь, что они с отцом четыре года назад добрались до своего айла без происшествий. Младшенькой, Мотыльку, пообещал, что её выкрадет из моей горы горячий молодец, который будет проезжать мимо и увидит, как она сидит на холме и смотрит на закат. Якобы мне привиделось такое во сне. С тех пор она не пропустила ни одного заката.

Нарану было неуютно. Раз за разом он оглядывался, ища пути к отступлению и не находил их. Разглядывал вспотевшие виски Атамана, его уши, и на зубах возникала приятная жёсткость хрящика, но раз за разом отказывался от назойливой идеи попробовать их на вкус. Девочки, может быть, и кажутся хрупкими, но движения их остры, как клюв зимородка, а в позах совсем нет страха, и Наран верил, что, если накинутся все вместе, они разорвут двух мужчин на части. От костра волнами шёл жар, от этого и от количества людей совсем рядом под одеждой, казалось, начинал вздыматься загривок. Урувая после того, как по пещере разлился запах мясной похлёбки, будто подменили. С каждым вдохом он будто бы становился всё толще, на девочек глядел, как на кружащихся вокруг мух, щёки и подбородок оплывали, словно усы снежного деда под лучами первого весеннего солнца, бесконечно стремились к земле.

Наран будто бы невзначай коснулся локтя друга, и тот утёр со лба пот:

— Устал.

Атаман выдохся. Он принял от младшей дочери стакан воды и опустошил его, шумно чавкая и капая себе на живот. Наран воспользовался паузой и спросил:

— Что же ты берёшь с тех, кому почти нечего тебе отдать? Ведь в большой степи ты можешь наловить лишь репейник, что гоняет ветер с севера на юг и с запада на восток. Мы и есть тот репейник. Посмотри на нас! Даже мясо на наших костях усохло под солнцем.

— По-разному. Чаще всего с них можно занять коней, — Атаман утёрся и продемонстрировал поредевшие зубы. — Но больше мне нравится собирать слова. В этой глуши совершенно не с кем поговорить. Когда-то давно, когда мои друзья ещё были со мной, разбойничество и грабёж имели гораздо больше смысла. Тогда подвесить человека кверху ногами и вытрясти из него несколько истошных криков было куда приятнее. Вон, смотрите, с тех времён у меня осталось немало сувениров.

Только теперь Наран заметил среди шматов отбитого, обескровленного и слегка подкопченного мяса человеческие уши и кисти рук без пальцев, нанизанные на пучки конских волос. Скрюченные, сведённые навечно судорогой пальцы висели отдельно, похожие на больших высохших улиток. Вокруг кружило несколько мух.

Урувай икнул, в глаза возвращались живые эмоции. Наран отчаянно надеялся теперь, что хотя бы всё остальное раньше принадлежало животным. Вон те рёбра, к примеру, вполне могли бы жить когда-то в такой же грудной клетке, как у него. Он вдруг понял, что уже начал забывать то гнетущее чувство, когда твёрдый, как сталь, и воняющий, как тысяча гиен, клюв начинает приближаться к твоим глазам. И вот теперь оно вернулось.

— Где теперь сыщешь моих друзей? — улыбка поблекла, и Атаман обхватил голову руками. — Вот до чего докатился я, разбойник, чья слава гремела по пескам Каракум и который, как нож меж рёбрами, проникал глубоко в плодородные и страшные леса запада. Я охочусь теперь за возможностью поговорить с живыми душами. И они мне куда больше теперь важны живыми, чем мёртвыми.

Он почувствовал, что разбойник в нём стремительно теряет у пленных авторитет и поспешно прибавил:

— Это не значит, что моя сабля будет ржаветь в ножнах. После задушевного разговора пленных всегда можно убить.

Верно? Сейчас подадут похлёбку. А пока развлеките меня и моих девочек. Пусть он споёт, а ты станцуешь, как умеешь, по-лисьи. Как тогда, на вершине холма. А песня пусть будет о большой аравийской пустыне, о вереницах верблюдов, пересохших колодцах и двух лунах, когда не отличишь, какая из них настоящая, а какая — мираж. В такие дни, как сейчас, когда кости мои ломит от холода, я скучаю по её первобытной круглогодичной жаре.

Урувай со страху так яростно драл глотку над восточной сказкой, что к середине охрип и мог рассказывать только, как лихой пустынный ветер наносит на барханы новую порцию песка. Наран попытался снова впустить в себя лиса, но он не пожелал выходить. Слишком много людей, слишком яростно кудахчет на своём насесте огненная птица, да ещё эти холодные земляные кости вокруг, рядом с которыми, по лисьим понятиям, могут жить только кроты и ящерицы, но никак не лисы. Пришлось Нарану отдуваться самому — трясти руками, прыгать почти до потолка, тявкать и бегать кругами, вокруг костра, изображая охоту за мышами. Но хозяин и его дочери остались довольны.

— У тебя лисья душа, но хорошо выходит владеть этим телом, — сказал Атаман, когда песня закончилась, и Наран навзничь свалился на ковёр, истекая потом. Казалось, разбойник давно уже дремал сидя, но как только отзвучал последний аккорд, открыл один глаз. Девочки гремели посудой, убирая после ужина. — И язык больше не заплетается. Будто родной.

В голосе его не чувствовалось угрозы, только похвала, но Наран внутренне собрался.

— Я же лис. Мы можем разговаривать мышинными головами, иногда можем даже говорить как цикады. Приручить этот язык оказалось очень легко. Наверное, этот человек был очень болтливым. И двигаться здесь легко и приятно, — он приподнялся и пошевелил ногой.

— Жалко, что тебе досталось такое уродливое тело, — задумчиво сказал Атаман. — Чтобы ты знал, такие люди очень далеко от Неба. К нему они обращаются не с молитвами, а с проклятиями. Они всеми брошенные и злые и часто, не находя себе место в этом обличии, становятся угрюмыми камнями, убегают в степь, чтобы стать койотами или воронами. Тот человек наверняка был демоном. Хорошо, что ты не попался ему раньше, когда ты ещё носил свои рыжие уши, а он ходил

по земле. Он бы просто ради собственного удовольствия спустил с тебя шкуру, точно говорю.

Наран молча кивнул. Он подобрал под себя ноющие от усталости ноги.

Атаман отчаянно зевнул.

— А теперь — спать. Девочки почти закончили. Следовало бы придумать, что с вами делать сегодня, но уже очень поздно. Завтра утром я посмотрю поклажу ваших лошадей. Вас свяжут, чтобы вы лучше спали и не пытались сбежать.

Когда всё успокоилось и все разлеглись по своим лежанкам, лис тихонько выполз из своего укрытия к поверхности сознания, и Наран зло шугнул его. Где ты был, когда был нужен? Теперь сиди в своей норе и не мешай думать. Уж с этим-то я справлюсь как-нибудь сам.

Он злился на Атамана. С чего этот человек взял, что он далёк от Тенгри? Он идёт к Верховному Богу, идёт, чтобы спросить, что же всё-таки он предназначил самому уродливому и несчастному из своих сыновей. Что, если он не найдёт себе жену до конца жизни и у него не будет ни одного сына? Что, если для айла, где он родился и вырос, неумелые руки и покорёженное сознание окажется бесполезным и его будут терпеть из жалости, и кормить последним, как лишний рот? Что, если тот гриф ещё жив и однажды среди ночи, когда Наран будет ночевать под открытым небом, спустится, чтобы полакомиться последним глазом? Э, нет, Наран не бежит от себя, он идёт к себе. Иначе где найти ответы на все эти вопросы?..

Но нет, вся эта злость — не его вина. Его учили стрелять из лука, управляться с любой лошадьёю. Но так и не научили чему-то важному. Чему-то, что помогло бы ему прожить достойно свой кусок жизни до сегодняшнего момента.

После того, как Наран понял, что шрамы на лице не затянутся, а усы расти больше не будут, он начал бояться. Нет, дикie звери и плети за детские шалости его не страшили. Даже взгляды взрослых, полные сочувствия и чего-то ещё, правды, которую он пока не понимал, не пробуждали в нём такого страха.

Он начал бояться себя. Днём всё было в порядке, но ночью он вдруг начал видеть себя со стороны. Тень, которую бросало прочь от костра его лицо, обретала его черты. На этом чёрном лице он мог найти след от каждого когтя, видел красный от давления крови глаз на выкате. Надорванное ухо и кривую улыбку.

Наран начинал плакать и сквозь слёзы видел, как рот расплывается кляксой, а пустое веко начинает дёргаться, будто в тике. Как дрожит кадык. От слёз начинало щипать шрамы, и Наран ревел всё громче, пока само небо не начинало раскалываться пополам от его крика.

Его успокаивали и уводили от костра спать, но в абсолютной темноте было ещё страшнее. Тени своей он не видел, но он знал, что она где-то рядом. Крадётся сзади или, напротив, гордо вышагивает впереди, прячется под мышку или обнимает за плечи, воняя тухлым мясом.

Иные ночи Наран лежал, зарывшись с головой в одеяла, и всхлипывал до самого рассвета. И только когда в отверстии юрты становилось видно небо, забывался коротким сном. Со временем он научился маскировать свой страх, но даже сейчас, будучи почти взрослым, неизменно находил его в себе.

Истекая обидой и за спутанные руки в том числе, юноша заснул. И под шум дыхания и тихие всхлипы Урувая ему снилось, как он, наполовину человек, наполовину лис, бродит по миру уже далеко за хребтом гор. Бродит по таинственному Кхитаю, как неприкаянный, отбившийся от стаи лебедь, и в каждой деревне жители, увидев его, выходят с метлами и вилами, чтобы прогнать его прочь.

— Эй, лис. Проснись, — вдруг зашептали над самым его лицом.

Наран открыл глаза. Налим смотрела на него сверху вниз.

— Давай поговорим.

Наран скосил глаз: рядом храпел Урувай, с несчастным выражением устроив голову на связанные руки. Потухающий костёр бросал на потолок россыпь красных изумрудов. Дымоотвод был закрыт войлочной заглушкой, и наверху что-то завывало и металось, как будто вокруг холма кружат целые стаи летучих мышей. Полог, которым был завешен вход, беспокойно колыхался. Это был тяжелый войлочный полог, а перед ним ещё с десятков метров — горловина пещеры, в которую вряд ли протиснется залётный ветерок. Стало быть, снаружи буря. Вцепилась длинными пальцами в холм и пытается сдвинуть его с места. Перевернуть на спину, как енот ежа, и выесть его изнутри.

Он сел, протирая глаза, и девочка отодвинулась, не сводя с него взгляда.

После того, как почти потух костёр, пещера погрузилась во тьму. Однако Наран слышал дружное дыхание. Воздух, по-

кинув грудные клетки, словно превращался в маленьких пушистых зверьков, которые блуждали вокруг, издавая отвисшими животиками шуршащий звук. Напрягая глаза, Наран разглядел между прислонённым к стене копьём и несколькими луками хозяина на толстой перине и подумал, что близость оружия может сыграть с ним злую шутку. Если вдруг резкий шум, он, конечно, дёрнется, чтобы побыстрее оказаться на ногах, но обязательно окажется под всей этой грудой.

Разбойник спал, открывая рот и загребая воздух широкими горстями.

— Я тебя дождалась! — прошептала Налим с восторгом.

— Что?

— Папа рассказывал мне про тебя.

— Про меня?

Девушка распростёрлась перед ним на ковре, так внезапно, что Наран отшатнулся и едва не повалился на бок. Спутанные руки здорово мешали.

— Прошу тебя, заведи меня с собой. Папа говорил, что человек, который придёт за мной, будет не человеком вовсе. Он покажется мне сначала страшным, потом странным, потом забавным, но он будет тем, с кем я останусь до самого конца жизни. Я буду жить с ним в норе, ухаживать за ним, как за мужем, и подносить с поклоном на большой тарелке мышат. Папа много раз пересказывал мне эту сказку, и я уже разучилась в неё верить.

Наран ляпнул, всё ещё довольно плохо соображая спросонья:

— Он ведь всё это выдумал. Наверняка улыбался, когда всё это рассказывал. Никто бы не смог рассказывать такое с серьёзным лицом.

— Я знаю... я имею в виду, я тоже так думала! Но когда всё настолько совпадает. Ты зверь в теле человека, ты идёшь в горы к шаманам, которые вернут тебе прежнее тело с хвостом. Папа не смог связать все эти знаки вместе, а я смогла. Это знаки, которые подаёт мне Великая Кобылица!

— На самом деле вряд ли шаманы смогут мне помочь, — сказал Наран. Подался к ней и тут же прятнул обратно, боясь обжечься огнём, который вырывался сейчас изо рта и глаз девочки. — Скорее всего, я останусь в этой шкурке.

— Тем лучше, — она снова смотрела не на него тем же немигающим взглядом. Шрамы будто не смущали её, хотя любой ребёнок или даже подросток её возраста уже забился бы,

весь в слезах, в самый дальний уголок. — У тебя будет такое же тело, как у меня.

Наран молчал. Его лицо сложно сравнить с лицом такой красоты. А девушка шептала, придвигаясь всё ближе, к самому его уху.

— Я покажу тебе, как это приятно, стоять высоко над травой и растениями, достаточно долго, чтобы увидеть, как из норки у твоих ног покажет мордочку мышка-полёвка. Научу стрелять из лука и обращаться с ножом. Буду шить тебе одежду и готовить на костре еду.

— Ладно... ладно, — сказал Наран. — Для начала — развяжи меня.

На миг в ней проснулась прежняя жёсткая натура, и, когда в руках появился нож, Наран едва удержался от желания прикрыть грудь от возможного удара. Но потом верёвки лопнули, и мгновение спустя он уже потирал затёкшие руки.

— Я уже собрала свои вещи. Взяла гребень, тёплый плащ и кое-какой еды в дорогу. Я поеду с тобой на лошади.

— Освободи моего друга тоже. Ты знаешь, где наши лошади?

Она закусила губу, работая над узлом на боку Урувая, который по-прежнему беспечно храпел, и пытаясь расковырять его ножом. И как только верёвка поползла, ослабевая, сказала:

— Конечно. На южной стороне холма. Здесь совсем недалеко.

Наран уже нашёл взглядом сёдла, преспокойно сложенные одно на другое у входа. Несмотря на то, что Атаман долго прожил на одном месте и пальцы на его ногах удлиннились и истончались, вот-вот превратятся в корни и уйдут под землю, превратив его в дерево и оставив навсегда на одном месте (от стариков Наран слышал, что это называется осёдлость), обычаев кочевников он не забыл. Сёдла были сложены как нужно, не на земле, но на ковре, и бока их блестели от жира.

Пихнул ногой друга, и тот заворочался, просыпаясь. Девочка не растерялась и, когда он начал протяжно и громко зевать, зажала ему рот ладонью, каковую Урувай едва не съел от страха, когда увидел перед собой лицо с красными отметинами костра и приставленный к губам палец.

— Мы сейчас возьмём с собой сёдла и наши сумки, — шёпотом сказал Наран. — А ты должна попрощаться с вашим идолом. Мы здесь гости, а ты прожила много-много зим под его покровительством. Твой отец говорит, что Тенгри ничего

про вас не знает, но на самом деле он знает всё, и вы все на самом деле под его ладонями и на ладонях Йер-Су.

Девочка беспокойно огляделась.

— А как?

— У вас что же, никогда не было шаманов? Урувай, скажи ей... Ты должна получить благословение на дальний путь, иначе Степь заглотит тебя целиком и переварит вместе с кишками.

Друг всё понял и, всё ещё сонный, начал говорить. Он старался умерить голос так тихо, как это только возможно, и получалось невнятное рокотание, в которое вплетались едва различимые слова:

— Ты должна своими мольбами Йер-Су и Тенгри сделать Степь мягче и благосклоннее к тебе. Иначе на первой же стоянке изрежешь ноги об траву и единственное на много переходов дерево, под которым ты будешь искать укрытие от дождя, свалит ветром именно на тебя. Поклонись им пять раз по десять и попроси наблюдать за тобою со звёзд. Попроси, чтобы Тенгри не гневался на сестёр и отца за то, что они, неразумные, потеряли тебя, не выходя из дома.

— А мы пойдём пока что седлать коней, — сказал Наран.

— Мы будем ожидать тебя снаружи, — важно кивнул Урувай.

— Обещаете?

Наран пообещал, что они будут ждать. Что кони к тому времени будут уже осёдланы и готовы перепрыгнуть через горизонт.

— Мне нужен мой нож. Его забрал твой отец.

Девочка беспокойно огляделась.

— Я дам тебе хорошее оружие. Куда лучше твоего ножа.

Она подползла к гряде оружия, похожей в темноте на развороченное нутро какого-то животного, с торчащими наружу рёбрами, и вернулась с кривым мечом в ножнах, которым угрожал им атаман.

— Это хороший меч. Лучший, что есть у папы. Возьми его, пожалуйста, и иди. Дай мне скорее попрощаться с этим гротом и поцеловать отца. О нет, он не проснётся, не бойся. Он очень крепко спит.

— Смотри, как бы не проснулись сёстры. Они у тебя чуткие, как зайцы.

— Они и так не спят. Никто. Они все за меня рады. Каждая из нас мечтает выйти замуж и ждёт своего шанса, и вот, мне он представился чуть раньше... Иди же.

Наран не заставил просить себя дважды.

Снаружи и вправду бушевала непогода. Небо казалось низким и роняло редкие снежинки, которые таяли, едва успев долететь до земли. Рокот и шум, который преследовал их уже третью ночь, усилился и периодически вспухал кашляющим и похожим на хлопки в ладоши громом. Где-то вдалеке от этих хлопков вспыхивали сухие молнии. Разомлевшие от сонного тепла грота, они забыли накинуть плащи и теперь, перебирая ногами и спотыкаясь, старались успеть к лошадям до того, как ветер перевернёт их вверх тормашками и вытрясет всё накопленное тепло. Урувай кряхтел и посапывал под сёдлами, бормотал что-то невнятное, когда моринхур шлёпал его по бедру, Наран тихо ругался, но оба были рады, что вырвались из томительной неизвестности. Накормят ли их завтраком или вырежут вместо этого сердце?.. Больше не надо гадать.

Главное — успеть убраться отсюда подальше.

Как и говорила Налим, лошади примостились под боком у холма. Прижались друг к другу, пытаясь сохранить до утра как можно больше тепла, понуро опустили головы. Друзья побросали вещевые мешки где попало, осторожно сложили на лошадей сёдла и прижались к бокам животных.

— Что ты ей наплёл, старый лис? Почему она вдруг решила поехать с нами?

Урувай кашлял, пытаясь, видно, выкашлять свою одышку.

Наран рассказал в двух словах, и друг задумался.

— Ты собираешься за ней вернуться?

Наран помотал головой.

— Давай седлаться. До рассвета у нас не так много времени. Кроме того, мой Бегунок сейчас проснётся и снова попытается отдавить мне ноги. Лучше я заберусь к нему на спину раньше.

Уже когда среди туч забрезжил рассвет и путники пустили коней шагом, чтобы дать им немного остыть от скачки, Урувай спросил:

— Мне послышалось в полусне, что та девочка сказала: «Я рада, если у тебя останется это тело». Даже странно, что я это запомнил... но, может, мне это приснилось?

— Тебе не послышалось, — с неохотой сказал Наран. — Так всё и было.

— Она сказала: «Человек, который станет моим женихом, покажется мне сначала страшным, потом странным и наконец забавным»?

— Что-то в этом роде.

— Сказала: «Я пойду за тобой куда угодно»?

— Ну, такого она не говорила.

Урувай затих, было слышно, как щёлкают у него в голове, как маленькие камушки, мысли. Через несколько минут он сказал:

— Айе, Наран! Она это имела в виду. У тебя появилась возможность стать счастливым и зажить так, как все правильные монголы. Мог бы в конце концов вернуться с ней в аил и рано или поздно рассказать ей правду.

Наран с досады дёрнул уздечкой. Скорчил гримасу, отчего лицо его превратилось в ужасную маску.

— Отстань. Я решил, что нужно сделать так и так сделал.

— Но почему?

Урувай бросил поводья и развернулся к нему всем корпусом. Наран попытался пустить Бегунка рысью, но конь упрямылся и только махал головой. Вздохнув, юноша ответил, подбирая слова так, как будто они были не звуком, а лезвиями ножей.

— В таком виде я не принесу никому счастья. Я похож на гнилой фрукт. И никому отныне не позволю находиться рядом долгое время. Чтобы все видели, как я догниваю?

Урувай надул щёки в задумчивости.

— Айе! Такого не будет никогда. Ты, — Наран ткнул пальцем в друга, — пережил со мной не одно приключение. Но когда мы доберёмся до гор, ты оставишь меня и поедешь домой.

— Почему?

— Ты и эта девочка меня кое-чему научили. Вскрыли болячку, если тебе так понятнее. Лучше уж я пойду один, сломаю ногу в скалах и погибну от голода, чем буду заражать своей болью кого-то ещё.

— Всё равно непонятно, — покачал головой Урувай и больше не сказал ни слова. Лошади, срывая на ходу пучки побитой громом травы, брели к горизонту, а оттуда им навстречу выступили смутные, похожие чем-то на истёртые рисунки на стенах разбойничьей пещеры, горные пики.

Глава 8. Керме

На третью ночь они поженились. Керме стала горячим воздухом. Было очень больно, и эта боль разрушила и сместила точку связи с землёй, которую Керме долго успокаивала после полёта над степью. Она и Ветер словно бы слились в одно, он

проник ей в кровь, как тогда, пальцами, только куда глубже, до самого сердца. Он ломал её и мял, как барс пойманную им овечку, и она громко, хрипло взывала к смерти.

И тем не менее это было прекрасно. После этого она полдня просидела в шатре, глотая выступившую не то на плоти воздуха, не то на стенках горла сукровицу.

— Теперь ты стала моей настоящей женой, — сказал Шона.

— Неправда, — сказала она колыхающемуся порогу. Он вышел, было слышно, как скрипит на спине скакуна седло, как он ровняет его и затягивает ремни на пузе животного.

Она стала ею ещё в далёком детстве, когда впервые услышала байку про Ветер. Она была его женой, когда хранила ему верность, думая о нём постоянно и постоянно чувствуя его касания и поцелуи. Поцелуи, кстати, оказались в точности такими же, какие она помнила с детства. А сейчас просто что-то случилось... что-то прекрасное, и всё это стало больше, чем явью.

С этого дня Керме стала проваливаться в какую-то яму, с каждым днём всё чаще. Время, которое раньше тихо и мерно стучало со стороны черепа по вискам своими пальчиками, внезапно растеряло всё своё постоянство. Теперь оно могло затихнуть, отпустив Керме в свободный полёт. Изнутри поднималась и ползла по языку горечь, и изливалась иногда словами, ни одно из которых девочка не запоминала. Исследуя своё тело, она вновь и вновь обнаруживала в животе пустоту. У животных и у людей внутри много-много разных органов, дружелюбных маленьких животных неведомых видов, каждое из которых выполняет какое-то особое, своё дело. А теперь всё это исчезло, не было даже воздуха, только готовящаяся для чего-то пустота.

Прежде очень болтливая, она могла теперь целыми днями не произносить ни слова, был ли он рядом или нет.

— Что с тобой? — спрашивал её Ветер. — Ты будто съела вчера на ужин свой язык. Ну-ка покажи его...

Вместо ответа она прижималась к его груди и слушала, как завывает в животе. Может, он и одевался в человеческую кожу, чтобы быть с ней рядом, может, шатёр у него вполне обычный, даже поменьше и потеснее, чем шатры в её айле, но её слух не обманешь, как не обманешь и обоняние. Эти два щенка слишком верно служат и поднимают при его приближении лай. От него пахло всегда диковинными травами, такими, которые невозможно найти под этой половинкой неба.

Пахло то чем-то острым, то сладким или таким горьким, что на губах высыпают мурашки.

Каждое утро Керме выходила из шатра и приноживалась, поднимая нос вверх. Его косы расплетались у неё над головой, струились густыми потоками. Поднимала руку, чтобы яснее было направление их тока. Потом садилась и воображала себе земли, по которым путешествует её мужчина. Вот он на востоке, вот бегут по рассыпчатой горячей почве за ним следы, а конь фыркает и плюётся, как верблюд. Вот он на севере, где беспрестанно идут дожди и местные женщины имеют зелёный оттенок кожи, и грустно квакают, глядя в вечно пасмурное небо.

Когда он возвращался, от него пахло так, как она и представляла — зноем и потом или сыростью, а за ушами иногда даже заводилась плесень. Иногда не пахло ничем, но это значило только, что он заезжал на обратной дороге помыться в озеро.

— Эти камы сумасшедшие, — бурчал он. — Где я, интересно, могу наловить комаров, напившихся крови укушенного змеей чёрного ягнёнка?

Скрипели ремни седла, и нервно переступал копытами конь, предчувствуя свободу. Керме жмурилась, втягивая ноздрями горький запах лошадиного пота. Девушка любила этот запах, хотя в аиле к лошадям её не подпускали. Монгольские лошади горячи, они легко могут затоптать слепую девчонку или затереть в своей лошадиной ссоре, когда один конь идёт на другого грудью или пытается притереться крупом.

Ветер относил седло и возвращался к ней.

— Придётся воровать чёрного ягнёнка, тащить его на болота. Искать змею. Поздней осенью у змей яда почти нет, они сбрасывают, кроме того, шкуры и становятся похожи на червяков. Потом — единственное, что хотят комары в это время года, — спать. Ну куда это годится?

Керме молчала. Дождавшись, когда он освободит для неё руки, висла на них, как божья коровка на травинке.

— Иногда просят достать какую-нибудь светящуюся лилию с другого конца света, из-за седьмого моря. Но я говорю, что не могу теперь ездить далеко, потому что дома меня ждёт жена.

Керме вспомнила толстого Шамана из родного аила. Она вспоминала его без злости. На что злиться? Разве это не сама она напросилась на те розги.

— У нас хороший Шаман, — говорит она. — Все его слушали, кроме моей бабушки. Над его шутками смеётся весь аил, а когда он готовится петь, все сразу жуют горькую траву или лук, чтобы не помереть со смеха.

Широкими шагами он идёт в шатёр, перекинув через плечи сумки, а Керме со смехом повисает то на одном его локте, то на другом. Уже готов ужин. Мясо с корнеплодами и чесноком в собственном соку, приготовленное так, как учила её бабка. Керме гордится тем, что может готовить для любимого мужчины. Пожалуй, такая возможность — одна из самых главных преимуществ брака.

И огня она больше не боится. Этот змей теперь знает, что есть кому за неё заступиться, поэтому держит свои ядовитые клыки при себе.

— Хорошо, когда впереди аила стоит шаман, — прогудел Шона. — Если у аила нет своего шамана, то они не знают, куда им следовать. Поэтому он должен быть высоким, чтобы лучше слышать ответы на свои вопросы Тенгри и смотреть далеко вперёд. Лучше чтобы при этом у него были уши, как у кролика, и глаза, как у суслика.

Керме подумала и прибавила:

— Но он низкий. Вот такой вот, как я, только немного выше.

Вытянулась в полный рост и провела ладошкой над своей головой.

— Но он был хорошим шаманом?

— Конечно. Один раз, когда мы шли через каменную долину на юге, — там много острых камней под травой — приду- мал обмотать всемо скоту и лошадям ноги войлоком.

Керме опускается на коленки, чтобы послушать, что такого интересного принёс Ветер в этот раз. И, конечно же, понюхать. Тянется к самому интересному, жужжащему кожаному мешочку, но муж ловит её ладоши в свои.

— Осторожнее, слепая белка. Там комары. Завтра повезу их этому сумасшедшему каму. Надеюсь, он заказывал их не как деликатес к ужину. Ваш шаман, может быть, выкапывает ответы из-под земли. Или находит их в людях. Тенгри ведь иногда разговаривает через людей. Совсем не всегда через идолов. Идолы для него вроде тряпичных кукол, которые надеваются на руку. Ими можно привлечь внимание, но сказать то, что хочешь, всегда очень сложно. Он заливает ответы и свои желания по головам близких к шаману людей, словно

молоко по кувшинам, и шаман потом должен увидеть всё это в глазах и в поступках этих людей.

— Я помню! Один раз у нескольких наших мужчин и даже у двух женщин пошла изо рта вода! Это что-нибудь значит?

Ветер смеётся, и стенки шатра надуваются. Полог хлопает, и мужчина идёт, чтобы его закрепить. Когда возвращается, Керме заползает ему на колени.

— Только то, что шаману, возможно, стоит проследить за питанием племени. Если во главе айла стоят не шаманы, а воины, его разматает, как ветер большой костёр. Воины никогда не знают, чего хотят — не то драки, не то поспать, и постоянно будут метаться между тем и этим. Они властные, будут стараться держать всё в кулаке, но будут так сильно его сжимать, что скоро от айла ничего не останется.

Керме почувствовала, как двигаются мышцы: он сжимал и разжимал кулаки. Спросила:

— А если вдруг торговцы? Я слышала, в племенах, которые живут далеко на юге на голом песке и вообще никуда не кочуют, любят продавать этот песок в соседние поселения и покупать его у соседей. И монголам, которые доезжали в эти бесплодные земли, они тоже пытались продать яркий, как солнце, песок. Говорят, там одни торговцы и они всё время со всеми торгуют. А воинов нет. Зато каждый айл обнесён высокой искусственной горой, через которую не перепрыгнет ни один конь и перелетит не каждая стрела.

Ветер расхохотался.

— С тобой интересно поговорить. Ты многое знаешь.

Керме припомнила слова бабки.

— Мои ушки растут на макушке. Наверное, они такие потому, что я слепая.

— Такие люди всё продадут только ради того, чтобы продать и купить за меньшее количество песка что-то другое. У них нет ничего постоянного, и только растёт живот, и отвисает зад. Айл у них, может, и обнесён стеной, но они сами из-за неё вылезут сдаваться, когда кончится еда и съедят последних ослов. Так всегда бывает, если плети у торговцев.

— А если плети у рабов? — спросила Керме. У них в айле не было ни одного раба: последний умер, как рассказывают, зим двадцать назад, и был ему великий почёт и уважение, потому как это был последний раб и был он очень стар. Говорят, он был таинственного урусского племени, обитающего далеко

на западе, имел громадную бороду и волосы, которые не заплетал в косы, словно какой-то неведомый зверь. Керме не могла представить себе таких людей. Он не ходил босиком и умел плести из трав специальные сандалии, в которые обувал монголов, наиболее пользующихся его расположением. Монголы, чтобы не портить такой прекрасный подарок, носили его на шее, и до сих пор у одного из шаманов сохранилось на шее такое украшение.

Шона ткнулса носом ей в макушку.

— Не знаю. Никогда об этом не задумывался. Наверное, такого вообще не может быть. В восточных странах много рабов, и они всё время хотят есть и всё время усталые от работы. Наверное, они, как саранча, уничтожат всё, что есть в аиле, съедят до последней косточки всех овец, потом собак, а потом начнут жевать кожу и сосать войлок. Это будет великое зло, и я бы не хотел нигде увидеть ничего подобного.

Ветер помолчал, перебирая её косы так задумчиво, будто перебирал в руках какую-то мысль. Наконец сказал:

— Здесь недалеко, за озером, есть красивое место. На самом краю, где кончается земля и начинается вновь где-то далеко внизу. Там очень красиво, даже сейчас, когда началась зима. Можно смотреть, как всё на свете покрывает снег, как степь превращается в снежное покрывало.

— Мы туда пойдём? — Керме вспыхнула, словно сухая трава, к которой поднесли пламенеющую лучину.

Шона открыл рот, собираясь, наверное, и дальше расхваливать виды, которые открываются с края облака, но в последний момент прикусил язык. Сказал чуть виновато:

— Прости.

— За что же?

— За то, что не сможешь всё это увидеть сама. Но я буду твоими глазами. Я буду описывать тебе всё, что вижу, и моя речь будет красноречивее, чем у восточных вельмож. Ты, наверное, никогда не была в горах. Я расскажу и про них тоже.

— Мы сейчас над горами?

— Да. Во все стороны там тянется гряда самых седых на свете стариков.

— Обед стынет.

Керме вспомнила про свои обязанности хозяйки. Соскочила с колен мужа, повела его к столу.

— А потом мы пойдём в твоё место, и ты будешь рассказывать мне про горы.

— Хорошо, — согласился Шона. И всё время, пока он ел, Керме не могла усидеть на месте.

То и правда был край облака. Керме на коротком поводке сомкнутых рук могла сделать вперёд два шага, а на третьем начиналась пустота, настоящая, глубокая и пугающая. Она выла и металась, пульсировала, как кровь в венах, и изредка бросала им в лицо снежинками.

Здесь плоть облака наконец выглядывала из-под травяного покрова. Первое время Керме не интересовалась никакими видами, она села и стала играть с рыхлой массой, похожей чем-то на мокрый песок. Она брала её в горсть, а когда отпускала, вместо того, чтобы упасть, облачный кусочек повисал перед ней в воздухе. Его подхватывало воздушными потоками и волокно прочь, словно клочок пуха.

— Горные ручьи там текут с уступа на уступ, словно язык между лисьими зубами. Качаются деревья, обвив корнями скалы. Зима всегда начинается с гор, а у самых высоких есть снежные шапки, которые не тают даже летом.

Керме благодарно сжимала его руку. Он мог бы ограничиться двумя скупыми словами, как обычно, съев на ужин начала и окончания, но вместо этого нарисовал для неё настоящую картину словами.

— Деревья! На что они похожи?

— Отсюда — на всё, на что угодно, только не на деревья.

— Самое высокое дерево, с которым я познакомилась, было с меня ростом. Ну, или немного выше, так, что оно могло положить мне на голову свои руки. Руки у него с такими маленькими, плоскими пальчиками. Очень смешное. Мы даже подружились. Но оно осталось где-то в степи, и мы больше не встречались.

— Эти гораздо выше. Если вдруг одно такое упадёт рядом с рекой, то по его стволу можно перейти на другой берег, а в листве живут такие животные, которые никогда не спускались на землю. Но только мы сейчас ещё выше их, — он оглянулся и сверил взглядом солнце. — Даже наши тени выше их.

— Как хорошо!

Керме закрутилась от радости, растопырив локти, и Ветер со смехом придержал её.

— Здесь очень хороший воздух. Давай мы останемся здесь подольше? Нас ведь никуда не сдует?

— Сейчас почти безветренно.

«Конечно, безветренно, — подумала Керме, — он же здесь, со мной».

Она спросила:

— Что это за горы?

— Степь, по которой ты путешествовала со своим аилом, лежит к югу от этой гряды. Мы стоим спинами к ней. Они длинные, как язык муравьеда, и тянутся, насколько хватает глаз. Самые высокие вершины покрыты снегом круглый год, туда рискуют подниматься только горные козлы. Я не раз видел горных козлов, и по гордости и стати они превосходят самых лучших жеребцов. Это не просто так: ни одно животное не может забраться на такую высоту, а потом ещё скакать с пика на пик, бросая вниз такие тени, что даже снежные барсы прячутся в своих пещерах.

Керме вспомнила Растяпу и взгрустнула. «Он смотрел именно на эти горы, — поняла она. — Интересно, получилось ли у него до них добраться?»

Каждый день, закончив с делами в шатре, она выходила туда, где стояли они вдвоём, держась за руки. Ему, должно быть, и в голову бы не пришло, что незрячая жена способна совершить долгий путь вокруг озера. Дорогой гадала: не поздно ли ещё застать горы? Может, их уже унесло куда-нибудь в степь, как соринку бурным водяным потоком. Садилась и устремляла лицо вперёд и немного наверх. И с радостным чувством улавливала ток холодного воздуха с заснеженных вершин.

И снова накатывало чувство горячей пустоты в чреве. Будто горький корешок под языком. Будто набухающая перед приходом весны земля. Керме не могла дождаться, когда она, эта пустота, начнёт заполняться чем-то хорошим и глубоко-мысленным. Время крошилось под пальцами, и когда она приходила в себя, солнца уже не было и в помине, а на озере начинали свой вечерний концерт лягушки. Пора было возвращаться.

Здесь было много птиц, и она находилась с ними почти на одном уровне. Иной раз казалось, что орлы пронеслись, едва не задевая крылом её вытянутых рук. Керме выплела у себя из халата перо. Подняла его над головой, и тотчас кто-то выхватил его, унёсся с прощальным клёкотом. Керме закричала в ответ. Они так быстро проносятся, думала Керме, что их крик должен быть одновременно приветственным и прощальным.

— Я хочу летать! — крикнула Керме.

Наверное, Растяпа хотел стать горным козлом. Интересно, рога у него выросли сами или пришлось прилаживать между ушами прутики?..

Мысли о Растяпе не отпускали её. Те ли это горы, к которым он стремился? Получается, она оказалась здесь раньше него, а ведь он так сюда хотел, и такая грусть была во всей его позе, в морде, подставленной северным ветрам, и эта же грусть текла под его мягкой шкуркой.

На следующий день после похода к краю облака она попросила своего ветра отыскать Растяпу.

— Ну, если это был твой единственный друг, я его найду. Как он выглядит? — он тут же поправился: — Какие у него повадки?

Керме объяснила.

— Одинокую овцу, которая всё время следует на север, отыскать не сложно, — сказал он и умчался с лихим свистом.

Миновала ночь, и Ветер принёс грустную весть.

— Я говорил с мальчишками из твоего аила, расспрашивал их о ночи твоего похищения. Жалко, но далеко твой друг не ушёл. Ему было начертано стать подношением Тенгри, и в ту ночь подношением ему стали сразу две овцы — те, которых удалось поймать с кровавым клеймом. Из него выпустили кровь, а кожа и кости сгорели. Ты не должна сильно расстраиваться. Его назначил жертвой ваш верховный Шаман, и он достойно сопроводил его душу в великие степи.

Керме взгромодила руки на плечи Ветра, встряхнула его.

— Он так хотел в горы. Очень грустно, наверно, умирать, так и не сделав что-то важное.

Ветер не стал спорить.

— Ну, если так, его душа найдёт способ добраться до этих гор. Может, она стала мотыльком, который летит по лунным лучам, перескакивая с одного на другой. Может, каким-то другим живым существом, медленно или быстро пробирающимся сюда.

Керме обняла руками колени. Как грустно. Он ведь эти горы видел в своих овечьих снах, сюда он не решался пойти, отделившись от стада и сюда рванул со всех своих коротеньких ножек, как только поверил в грозящую ему смертельную опасность.

— Если ты умираешь, то сразу перемещаешься в небесные степи?

Она почувствовала пристальный взгляд Шамана. Он капал и капал, заполняя какую-то чашу внутри Керме.

— У каждого живого существа есть своё предназначение, — услышала она его голос, глубокий, как будто говорил не горлом, а животом, и грубый, как необработанная шкура. — Вроде другого, очень маленького человечка внутри тебя, который всегда точно знает, что ему нужно делать. Но его голос настолько тих, что смахивает на мышинный писк. Если ты прислушаешься, может, различишь что-то внутри себя...

Она снова в шатре Шамана, три или четыре зимы назад. Шаман любил детей, и полог его был всегда откинут для тех малышей, которые не боятся его тёмного кровавого искусства. Здесь всегда пахло дымом и кровью. Керме нравился запах крови: это запах жизни, как говорили служители Тенгри, как его можно не любить?..

— Я не пойму, — жалобно сказала Керме. — Внутри меня живёт ещё какой-то человечек?

Шаман хлопнул себя ладонью по колену.

— Ты должна делать всё, что он скажет. Тогда ты будешь спокойна и будешь точно знать, для чего мать Йер-Су вскормила тебя своей грудью.

— Значит, каждый монгол делает то, что скажет ему маленький человечек внутри него?

В голосе появились намекающие на улыбку нотки.

— Очень сложно делать не то, что он хочет.

— Я ничего не понимаю. Только сейчас ты сказал, что его голос тише мышиноного писка.

— Мы сейчас говорим не о том, как попасть на небесные степи. Туда как раз попасть очень легко. А о том, что случается с теми, кто не попал. Он настолько тяжёлый, что даже дым не может поднять его. Поднимает над землёй и роняет... И так вновь и вновь.

— Почему так? — спросила заворуженно Керме.

Шаман пророкотал:

— Потому что неисполненный долг вцепился шакальми челюстями в его ноги и не отпускает. В таких условиях сложно стать лёгким, как дым. Тогда душа рождается заново, в другом теле, и будет рождаться, пока не исполнит всё, что должна. Только — сейчас я тебя запутаю! — у того тела тоже есть свой маленький человечек. Знаешь, каково это, когда внутри тебя живут сразу две цели?.. Ты стараешься угодить сначала одному, потом второму. Зимородок хочет ловить мо-

шек, человек хочет спасти родной аил от засухи, натаскать ему хоть немного воды с дальней горной реки...

— И что же ему делать? — озадаченно спросила Керме. — Зимородку?

— Стараться успеть сразу всё.

Потом она с восторгом рассказала всё, что услышала, бабке, и та, взяв её за локоть, потащила обратно к шаманскому шатру.

— Что ты наплёл ребёнку?

— Не грохочи так. Я сижу в шатре, слушаю твои шаги и боюсь, что меня сейчас сдует напрямиком в небо... Всего лишь рассказал про человека-горошину.

— Про какого такого человека?

Керме пролезла под локтем старухи.

— А другие дети не слышат никакого человечка внутри.

Бабка сердилась.

— Она перепугала половину аила, когда сказала всем, что они не попадут в небесные степи, потому что их не поднимет дым. Найна надрала ей уши, а я сделаю то же самое тебе.

Шаман ничего ей не ответил. Звякнули талисманы, и Керме ощутила на себе его внимание. Оно всегда было очень ощутимо, как будто на тебя не просто смотрят, а ещё окатывают тебя волнами запаха, обдувают воздухом и издают в твою сторону звуки.

— А ты слышишь?

— Я тоже не слышу.

— Это не обязательно, — подушки вновь заскрипели под его задом. — Маленький человечек разговаривает с нами не голосом, а вкладывая в голову какие-то желания. Старуха! Уйди, я говорю с тем, кому интересно, как устроен мир.

— Этот мир больше чем наполовину в твоей гнилой голове, — проворчала бабка.

— А насколько он маленький? — живо спросила Керме.

— Настолько, что на кончике иглы из рыбьей кости их может уместиться с десяток...

— Может, да, может, и нет, — ответил на её вопрос Ветер. — Этого не знает никто. Но если он так хотел в горы, может, он сначала до них слетал?..

Девушка покивала, большей частью своим мыслям. Наверное, когда сжигали кости, дым не столбом убегал вверх, а стелился по земле, десятком ручейков утекая из аила и заполняя собой все ложбинки и лошадиные следы.

Да, так и было. Керме была в этом почти уверена. Овцой он был или нет, не просто так она выделила его среди всех остальных. Он каким-то образом выпадал из стада. Словно затесавшийся среди ромашкового поля цветов мака, переплётшийся с ними корнями, но всё равно другой.

Всё же рассуждения Шамана годились не только та то, чтобы примирить её с действительностью. Маленький человечек, которых умещается с десятков на кончике иглы, потеряв свой робкий овечий нрав, отправился до гор в одиночку. Каким же долгим должен быть его путь, если даже на путь в длину травинки ему потребуются многие дни?..

Текли вечера, складывались в недели. Зима где-то загостилась. Керме подозревала, что причиной её задержки может быть непомерное гостеприимство степняков. Наверняка сидит в каком-нибудь шатре и пьёт отвар из трав из неглубокой чаши. Здесь, на высоте, снег можно было найти всегда, любая ямка и впадина по утрам заполнялась холодным приятным пухом, и даже пруд покрывался по утрам тонкой кромкой льда. Но внизу, рассказывал Шона, до настоящей зимы ещё далеко. Деревья поменяли цвета, зайцы раздумывают, дрожа под кустами и кутаясь в поживевшую шубку, пора ли обростать белой шерсткой или пока ещё этот шаг будет сулить не спасение, а только лишь смерть. Степь превратилась в один огромный музыкальный инструмент, сыграть на котором может каждый. Пробежаться по пояс в сухой траве, нарушить их стройный покой, а потом сидеть и слушать, как травы поют свою шершавую песню.

Каждое утро Ветер улетал по своим ветряным делам, и Керме гуляла по двору, считая отметины от лошадиных зубов на коновязи. Иногда пропадает на два или три дня, чтобы дотянуться до края пустыни, где степь высыхает, превращаясь в золотистый песок, или до последнего моря, чтобы набрать в солёной воде ракушек.

Однажды, вернувшись после трёхдневного путешествия и по-новому взглянув на жену, он первым делом потерял дар речи. А потом спросил:

- Почему ты не сказала, что у меня будет сын?
- У тебя будет сын?
- У меня будет сын. Или дочь. От тебя.

Керме чувствовала, что что-то происходит. Кровь будто бы стала течь по венам медленнее. Халат застёгивался с трудом, грудь потяжелела и заострилась. И пустота, которую она чув-

ствовала в животе почти непрерывно, наконец-то начала заполняться. Появилось некое беспокойство, ни о чём конкретном, буквально обо всём, Керме не находила себе места, как потерявший маму малыш, и круги по шатру превращались в походы в никуда, пытаюсь почувствовать сквозь подошвы сапог землю.

Но теперь вдруг всё перевернулось, встало на свои места, и горечь под языком обернулась сладкой теплотой. Пустота брызнула из широко раскрытых глаз слезами.

— Бедная, бедная слепая белка, — говорит Ветер, прижимая её к груди. Гладит по спине.

С того дня, как ни странно, Керме почти беспрерывно думала о Растяпе.

А вдруг это он переместился к ней в животик? Ведь они были лучшими друзьями — оба в стаде, но оба чужие. Она хотела найти в себе что-то, что позволит ей чувствовать себя частью стада, а он — что-то, что позволит ему из стада уйти.

Керме просунула руку за пояс халата и потрогала живот. Что-то возникло там и теперь зреет внутри неё, нюхая воздух её ноздрями. Может, это её Растяпа? Эх, жалко, рядом нет Шамана и не у кого спросить о таких мудрых вещах.

Тем не менее Керме раз за разом находила в себе подтверждения. Пугающие, как пророческие речи шаманов, как гром на горизонте, не позволяющие принимать себя легкомысленно. Растяпа снился ей каждую ночь, бредущий по направлению к горам. Она сама была Растяпой. Чувствовала, как хрустит под копытцами ломкая трава и земля, слышала, как хлопают крылья хищных птиц, что сопровождают его на протяжении всего пути, зарывшись носом в траву, втягивала застарелые метки степных собак и пыталась понять, насколько далеко они успели убежать и не угрожают ли ей сейчас. Одиночество и бесконечно большой мир вокруг катались на её спине, вцепившись в шкурку длинными когтями.

Она видела. Зрение возникло, как что-то неожиданное, как громкий хлопок в ладоши среди вязкой тишины, и первое время она билась в панике, пытаюсь выкарабкаться из сна с таким усердием, с которым человек пытается выбраться из болота. А Растяпа бежал и бежал вперёд, и потихоньку это большое и новое, совершенно невыразимое словами, примеряло её с собой. Иногда в этом сне она находила лазейку ещё глубже или же эта яма, заросшая дёрном и лопухом, появлялась под ней сама, и сознание погружалось ещё глубже, туда,

где она была уже не Керме и не Растяпой, а кем-то другим. Слышала гулкий смех и чьё-то приятное пение, запах горелой шерсти и конского навоза, видела невнятные суетливые тени.

Девушка просыпалась и некоторое время сидела, устремив внимание в пространство, не в силах пошевелиться. Чувство, что она является частью стада, истекало из её тела постепенно, часто двумя струйками крови из носа, иногда бурля той же кровью в горле.

Мужу она ничего не говорила. Что скажет он, если узнает, что в её чреве на самом деле не его сын, а её старый друг. Наверное, очень расстроится. Он всегда чутко относился к её желаниям и просьбу разузнать о судьбе Растяпы выполнил с охотой, но Керме не чувствовала, что сердце его по возвращении билось сколь-нибудь чаще, а в груди поселился хотя бы один всхлип.

Может, оказавшись на земле, она поймёт, что искал он в этих краях?.. Может быть, даже ей подскажут изнутри. Подогреет ступни и охладит землю там, куда будет бежать тропка верного пути.

Эта мысль созрела и налилась соком за сутки, словно земляничная полянка. Более того, она завладела всем её существом и не оставила выбора.

У женщины выбора нет с самого рождения. Часто родители выбирали ей мужа, как только девочка вставала с коленок и делала первые шаги. Тогда же устраивали шумную пирушку, играли свадьбу, в то время, как жених и невеста бегали вокруг стола вместе с другими детьми, даже не подозревая о своей участи. Прозрачная свобода детства сменялась юностью, когда не суметь угодить мужу или расстроить его до крайности каким-нибудь своим поступком было настолько невообразимо, что даже самые вольнодумные не могли о таком помыслить. Потом наступала зрелость и необходимость ухаживать за детьми. И, наконец, старость, когда ты сама, без посторонней помощи, можешь дочитать сказание о своей жизни до точки, перелистнув несколько страниц вперёд.

Точно так же, как любая девочка знает расписанные до смерти свои обязанности с девяти-десяти лет, Керме знала теперь, что должна отправиться в путешествие. Подождать до рождения, а потом до того момента, когда ребёнок научится говорить, даже не пришло ей в голову.

Когда Керме проснулась со всеми этими мыслями, муж уже уехал. Тепло его ещё пряталось где-то в складках одеяла,

но на дворе было тихо. Возился на другом конце шатра жеребёнок, которого Шона вчера пригнал в подарок сыну и его матери.

Катая между ладонями слегка набухший живот, Керме взглянула наружу, чтобы выяснить, не слишком ли похолодало со вчерашнего вечера. Утро встретило её ласковым теплом.

— Я отведу тебя в твои горы, — сказала она животу. — Только потерпи ещё чуть-чуть.

Стараясь унять дрожь в теле, она покормила жеребёнка. Потрепала его смешную, слюнявую морду. И стала собираться.

Плащ из овечьей шерсти — роскошный плащ, с капюшоном и совсем не колючий, жених привёз его ей в подарок из одного из своих походов. Шерстяная шапочка, чтобы прятать волосы. Ей не нравилась таскать летом эту жмушную голову обновку, но замужние монголки должны на людях были носить головной убор, и Ветер, похоже, очень гордился этим своим подарком. Каждый раз, когда она оказывалась на голове, косы начинали жизнерадостно шевелиться от ласк ветра.

Кто знает, конечно, есть ли там, внизу, люди.

Засунув в рот ячменную лепёшку, села поразмыслить, что бы взять с собой ещё, но больше ничего не лезло в голову. Подумала, не нарисовать ли мужу какую-нибудь записку, но потом одумалась и смущённо захихикала. Он же всё время будет рядом. Идти следом или, напротив, впереди, убирая от её лица ветки и прогоняя диких зверей.

— Догоняй, — только сказала она вслух, когда вышла наружу.

Про пищу Керме даже не вспомнила. Узелок с одеждой, сапоги — по утрам и вечером должно быть холодно — да половинка лепёшки — вот и всё, что было у неё в руках.

— Слышишь, Растяпа? — сказала она, чувствуя, как слова прокатываются по нутру, стучаясь о стенки чрева. — Я донесу тебя до твоих гор. Что бы ты там хорошее не увидел, я донесу тебя туда. Ведь ты был моим единственным другом.

Говорят, облака на такой высоте, что не долетают стрелы даже у самых искусных лучников. «Как плохо, что я не знаю, как высоко может долететь стрела и насколько выше плавают в пучине неба эти тучи», — подумала Керме.

Не однажды она падала в овраги, обдирая локти и портя одежду. Самое болезненное воспоминание, связанное с паде-

нием, было у неё, когда она зацепилась волосами за куст черёмухи, и тот, обмотав косу вокруг своей кисти, дёрнул за неё что есть силы. Она тогда проревела до самого вечера под уверенными руками бабки, которые расплетали ободранную косу и выбирали мёртвые пряди.

И сейчас Керме готовилась к чему-нибудь подобному. Что поделать: когда падать достаточно высоко, приходится думать о худшем.

Она поцеловала порог шатра и побежала вперёд, уверенно обегая по кромке густой осоки озеро и ожидая каждую секунду, когда облако кончится под ступнями.

Глава 9. Наран

С каждой ночью грохот становился всё громче.

— Наверно, это грохочут горы, — сказал Урувай. — Они высокие, и с них постоянно что-то валится. Может, такие путники, как мы.

— Может, это стонет земля, — сказал Наран, припомнив свой разговор с шаманом. — Ей больно. Раны её заживают слишком долго. Люди и лошади живут и умирают, и снова, и снова, а её рана всё не может затянуться.

Но они ошибались.

Однажды вечером грохот возрос до такого состояния, что невозможно было спать. Друзья всю ночь просидели возле костра, смотря в небо, и чувство, что вот-вот что-то случится, не покидало их ни на мгновение. Урувай пытался играть, но музыка пряталась от него внутри инструмента, словно маленькое испуганное пресмыкающееся.

Он заглушил струну на полуслове. Бережно отложил моринхур и поднял подбородок. Грохот стал нестерпимым, и вместе с тем их вдруг накрыло звенящей тишиной. Как такое может быть, никто из друзей не понимал. Да и выше это было человеческого понимания. Лошади заволновались, закрутились вокруг своей оси, словно собаки, вдруг дружно решившие догнать свои хвосты, но их голоса и звуки потонули в общем шуме.

Наран поднял голову следом, зубы зазвенели от мешанины звуков и холодного осеннего воздуха.

И они увидели. Над горами катились клубы небесной пыли, перехлёстывали через них, вздымая шапки пены, словно вода горных рек через камни. На землю легла тень, и трава зашевелилась, словно волосы старика перед лицом смерти.

Друзья смотрели наверх, и тысячи копыт взрывали ставший внезапно плотным до звона в ушах и сыпучим, как песок, воздух, там были сотни лошадиных морд и сотни ощеренных пастей с белесой пеной на бороде. Наран, поднявшийся было на ноги, уселся на землю, разбросав ноги, словно две докучливые палки. Табун пронёсся над ними, роняя пену, и та опускалась на землю снегом.

Урувай смахнул с шевелюры снежинки.

— Это кони зимы, вот что это такое, — сказал он. Странно, но, несмотря на ужасающий грохот, говорить можно было нормально. Его поджилки тряслись от волнения и восторга. — На одном из них мчится Она сама.

Костёр шипел и плевался, как будто его прямо сейчас втоптывали ногами в землю. Если глядеть прямо вверх, табун напоминал стремительно пронесившиеся грозовые тучи. Между копытами иногда действительно проскакивали молнии.

— Теперь мы знаем, что она пришла, — сказал Урувай, когда поток небесных лошадей иссяк. — Забавно, да? Шаманы рисуют на своих бубнах чёрточки, чтобы сосчитать, сколько дней осталось до смены сезонов, а мы можем всё это увидеть.

— Держи коней! — сказал Наран.

Лошади рвались за стадом. Они вскидывали головы и пятились, норовя вырвать с корнем небольшие кустики жимолости.

До гор оставалось два дневных перехода.

Всё утро шёл снег, и Тенгри дремал, периодически окрашивая небо далёким громом; сонный взгляд его иногда вспыхивал между облаков. Старушку-степь основательно потрепало. Травы торчали в разные стороны, как нерасчёсанные волосы. Роса выпала кристалликами льда, и весь мир был окрашен унынием. Может, это сделали зимние кони, может, естественный ход вещей. Урувай считал, что к естественному ходу вещей можно отнести и триумфальное пришествие Зимы — Наран не соглашался.

— Часто ли ты наблюдал такой «естественный ход» раньше?

С приходом зимы достали наконец тёплые плащи, подбитые изнутри овечьим мехом. Урувай в своей одежде напоминал какого-то невиданного зверя, одну из тайн природы, о которых друзья сейчас рассуждали. Когда-то в молодости её носил дед Урувая, настоящий гигант, ещё больше своего вну-

ка, который потом усох и сморщился, как яблоко на морозе. Кожа собиралась на плечах складками, а полы свисали далеко ниже колен.

— Горы близко. Может быть, эти кони поднимаются в небо с самой высокой горы, на вершине которой стоит шатёр Зимы. Может, над степью они скачут так высоко, что в ночи мы принимали за гром.

Наран ничего не ответил. Урувай задумался над тем, сколько загадочных вращающихся мироздание вещей вокруг, и, подумать только, каждая из таких загадок может открыться им со следующим шагом, словно треснувший под копытом каштан. Причастность к одной из таких загадок растягивала его рот в улыбке, а лицу придавала мечтательное выражение.

Нарана беспокоило другое. Всё утро он лелеял в руках лук. Дерево отозвалось живым теплом, а на одном его конце даже за две ночи распустилось два листочка.

Что-то было не так, но что именно Наран не понимал, пока не извлёк из колчана стрелу и не попробовал наложить её на тетиву.

Дети выпускают свою первую тетиву в том же возрасте, когда садятся на коня. На пальцах у них появляются выемки под тетиву, и на кожу нарастают роговые наросты. Наран взял лук почти сразу после того, как отпустил материнскую грудь, и в некотором роде он был ему достойной заменой. Добывал кровь и при необходимости — юноша думал так с самого детства и очень этим гордился — мог обеспечить его пищей.

Но теперь глаз и руки вдруг потеряли друг с другом связь. Превратились в детей, что играют в догонялки вокруг отцовского шатра — руки не могут друг друга догнать, стрела не держится между пальцев и выпадает, а глаз забыл вдруг, как целиться, и даже наработанный с годами навык по косвенным признакам определять расстояние при помощи одного лишь глаза куда-то вдруг запропастился.

— Ты сам виноват, — в сердцах сказал Урувай, когда Наран поделился с ним своей проблемой. — Ты лучше будешь зверем, который себя изуродовал, чем самим собой.

Юноша опустил голову.

— Скоро конец нашего пути по степи. Один, может быть, два дня. А в горах, я слышал, зайцы и горные козлы, которые ни разу не видели людей, и поэтому подходят к ним так близко, что можно убить ножом. Много ягод и грибов. Ты можешь уже никем не притворяться.

Урувай посмотрел на друга так строго, как на шкодливого маленького ребёнка.

— Но ты, конечно, будешь.

— Та лиса... — Наран говорил так, как будто у него во рту был песок. — Внутри она не истекает злобой. Она просто охотится. Она лучше, чем я. Я как желчный пузырь, набитый гноем.

Он замечал, что, когда пытался охотиться, вставая на четвереньки, залегал в траве, ожидая, пока мышинные лапки донесут маленькое тельце до его засады, тень его неуловимо менялась. Она вдруг вытягивалась, нос становился длинным и острым, а между задними ляжками можно различить прижатый к пузу хвост. Нужно было повернуться, так, чтобы разглядеть её получше, выяснить, выросла ли у тени шерсть, или нет, и какие у неё зубы, но охотничий азарт заполнял его, как вода оставленный рядом с рекой на песке след, и вымывал оттуда все прочие мысли. Наран не знал, замечает ли такие перемены друг, но он ясно видел, как у его тени отрастают рога.

У детей, что носились вокруг шатра в его голове, уже не было лиц, только гладкая белая кожа от лба до подбородка.

Полдень миновал, толком не просыпаясь, и в шатком равновесии между днём и вечером небо побелело и опустилось на них волнами мягкого и рыхлого, как рот новорожденного телёнка, снега. Урувай жмурился от удовольствия, и даже Наран на время опустил свои мрачные думы. В степи они редко видели такие снегопады, обычно, чтобы покрыть за месяц ковром всю степь, хватает немного снега, что выпадает росой на рассвете. Зато почти бесснежные метели, которые поднимают с земли и взбивают у тебя перед лицом снежный ковёр, превращая его в дождь из ледышек и острой, как стебли осоки, крупницы, были вполне обыденной вещью.

— Совсем не вижу, куда едем, — пожаловался Наран.

— А что там впереди? Это не твои горы?

Впереди проступила огромная тень. Так на стенку шатра огонь бросает жирные кляксы, которые видны даже снаружи.

— Не знаю. Да нет. До них ещё довольно далеко. И они, я думаю, повыше.

Лошади встали, зарывшись копытами в снег и прижимая уши. Безветренная погода не доносила до них никаких запахов, и приходилось опираться только на слабое зрение. Может быть, боялись, что тёмная громада напозёт на них и

раздавит, как гигантская улитка. Наран нахмурился, послал Бегунка вперёд, но тот лишь закрутился на месте и ударил задними копытами воздух.

Наран спешился, бросил повод другу.

— Побудь с лошадьми. Я схожу узнаю, что там такое и нет ли опасности, и проведём лошадей под уздцы.

— Такой снег. Ты меня потом не найдёшь. Смотри! Наших следов почти не видно, а ведь мы оставили их только что... Пошли лучше вместе.

Он оглянулся, ища, куда бы привязать лошадей. Вокруг было много низеньких каштанов, ещё не деревьев, но для кустарников уже слишком больших. Кое-где ветки оттягивали почерневшие семена. Наран покачал головой.

— Тогда мы не найдём коней. Оставайся. Лучше подавай мне какой-нибудь сигнал. Глотка у тебя такая, что услышит даже Тенгри.

— Соловьём, например.

Наран задумался. Вдруг местные соловьи любят снег? Кто знает, сколько вылезает их попеть в бесконечно шелестящем, безлунном сумраке?..

— Не надо соловья. Лучше ори как верблюд. И громко, и шанс, что здесь поблизости кто-то привязал верблюда, куда меньше твоих шансов переорать всех местных соловьёв.

Наран двинулся, раздвигая плечами внезапно наступившую зиму. Наверное, чем дальше в степь, тем сильнее истощается небесное лукошко со снегом. Рядом с морем снег не выпадает вообще, и зимой там идут только краткие, робкие дожди.

Тень выдвинулась ему навстречу, наполнилась содержанием и оказалась всего-навсего бугром с разрытым с одной стороны кабаньими копытцами пригорком, поросшим ворчливыми кустами. В каком-то смысле Урувай был прав, и горы начинались здесь, это первый след тех костяных исполинов, что виделись им на горизонте. Поглядев, с какой стороны его лучше объехать, чтобы не подниматься в гору, Наран двинулся обратно, мрачно предвкушая борьбу с железным нором Бегунка.

Как и условились, Урувай подавал сигнал. В последний момент Наран подумал, что не очень-то хорошо знает, как орут верблюды, потому как слышал о верблюдах только от стариков-сказителей, которые перекладывали восточные сказки на свой манер, с лёгкостью меняя имена и природу вокруг, по-

тому что изобразить зыбучие пески (или что-то в этом роде) гораздо труднее, чем изобразить шелест листвы, и герои (на верблюдах вместо лошадей: даже маленький ребёнок знает, что в пустынях ездят только на верблюдах) в таких повествованиях оказываются окружены овцами, одурело стрекочущими кузнечиками и лающими собаками. Говорят также, что в тамошних сказаниях вовсе нет места звукам и горловому пению, из которых состоят все степные сказания, а истории у таинственных обитателей юга собраны только из слов так же, как дно ручейка состоит из однообразного ила.

Наран задавался вопросом: как же должно быть бедна в таком случае их речь? Наверное, жаркое солнце круглый год и скучные сказки делают из жителей пустынь ужасных сонь. Примостившись между горбов понуро бредущих верблюдов, они пересекают в спячке свою пустыню туда и обратно и просыпаются, только когда их смуглой кожи касается свежий ветер степей.

В общем-то в чём-то все крики всех верблюдов, которые ему доводилось слышать, были похожи, и Наран сомневался, что друг знаком с верблюдами сколь-нибудь ближе. Он только надеялся, что сказители им попадались одни и те же.

Необычный звук невозможно было пропустить мимо ушей. Продравшись сквозь снег, отбиваясь рукавом от льющихся с неба снежных ручьёв, Наран вышел к подножию холма, где Урувай разевал рот и исторгал из глотки рёв наподобие ослиного, только тоньше и протяжнее.

Увидев его, толстяк замолчал. Замолчал столь глубоко-мысленно и выжидающе, что Наран сразу понял: что-то произошло.

— Где Бегунок?

Одной лошади не хватало. Сваленные в кустах тюки выкапывали себе в снегу норку.

Наран нырнул под сень каштановых кустов. Урувай сидел прямо на снегу, зажав между коленями ладони. В темноте он весь походил на один большой сжатый кулак.

Он тряхнул щеками, вытер рукавом хлынувшую из носа воду.

— Ушёл.

— Куда ушёл? Кто его отвязал?

— Я.

— О, Тенгри рекоусый. Только что? Мы можем ещё его догнать!

Урувай спокойно стянул с головы шапочку. Промокнул ею лицо, оставляя на щеках влажные разводы.

— Он сам попросил. Посмотрел бы я на тебя, как бы ты таким уговорам не поддался.

— Каким уговорам? — опешил Наран. Он собирался уже взлететь на понурую Уруваеву кобылу и скакать на поиски беглеца во все стороны сразу.

— Он сказал, что под луной и под струями дождя и снега у него было время подумать, поваляться и размять спину. Он сказал, что долго глядел на нас и решил, что наш способ путешествия ему по вкусу.

Наран открыл и закрыл рот.

— Он сказал, что, может быть, ещё может догнать свиту Зимы и прибиться к её табуну. Сказал, что лучше не терять времени и отправляться прямо сейчас.

— Как сказал?

Наран рассеяно поглядел на кобылу. Та совала морду среди жидких ветвей, пытаясь дотянуться до каштанов, будто жеребёнок, с любопытством заглядывающий под пологи шатра, и уши её нервно прядали.

Урувай, не задумываясь, надул щёки, губы затряслись и выдали продолжительное ржание. Захрапел и хлопнул ладонью, что, должно быть, означало удар копытом, что на лошадином языке вроде восклицательного знака, окончательное и безоговорочное решение. Кобыла тряхнула гривой, обдав их облаком снежной пыли.

— Да, он такой, — ошарашенно сказал Наран, вспоминая Бегунка. — Он может такое сказать. И что? Вот так взял — и ушёл?

— Ну да. Взял вещи и ушёл.

— Натяни-ка повод. Какие вещи?

— Шатёр, например, взял. Сказал, что мы им всё равно не пользуемся, а он бы хотел попробовать пожить как человек. Расставить его в степи, сидеть внутри и есть траву в сухости и покое. Чтобы не беспокоили оводы, снег, дождь и солнце. Летом хотел бы ловить кузнечиков и поджаривать их на углях, чтобы хрустели на зубах. Ещё заполучить себе в каком-нибудь аиле вороную невесту и возлечь с ней на овечьих шкурах, как настоящий человек. Чтобы она гребнем расчёсывала ему волосы и гриву. Гребень, кстати, он тоже прихватил. Я сначала не хотел говорить, куда ты его прячешь, но он помнил и так.

Наран представил Бегунка, уносящего в зубах их пожитки и при этом рассуждающего о самостоятельной жизни. Какой стороной не впихивай, а целая лошадь со своими принципами и принимающая решения в стойло его разума не лезла. Снег безуспешно пытался достучаться до его макушки своими крошечными белыми пальцами.

— Как есть ушёл, — бубнил Урувай, думая, что молчание Нарана вызвано его недоверием. — Вон там и ветки обломаны. Ушёл-то на задних лапах. А передними прижимал к груди наше барахло. Каштанов натряс — целый мешок. Если бы не шапка, я бы заработал себе несколько хороших шишек...

Наран плюхнулся на четвереньки, выставив задницу, выполз из-под куста. Прополз под животом кобылы, копошась пальцами в сопливом снегу и лопая коленями гнилые каштаны, сметал снежные горки, заботливо возводимые снегопадом, шлепком ладони. И наконец нашёл, что искал. Там, среди облетевших ромашек, чернело несколько глубоких следов. Большие и вытянутые, уже не отпечатки копыт, но и не человечесьи следы, а что-то среднее, как будто кто-то тщательно сковыривал лопатой верхний слой дёрна. Заприметив один такой, кобыла опустила туда морду и принялась шумно лизать снег.

— Чудеса... — наконец сказал Наран. Голос его звучал хрипло, и хотелось прямо сейчас что-нибудь скушать. Какую-нибудь человеческую еду, чтобы убедиться, что великие степи не превратились в шаманов мешок, где есть место только натужным чудесам да зёрнам полыни. — Куда же мы теперь на одной лошади?

Урувай только покачал головой, и Наран сам же ответил:

— На лошадиный базар. Уже зима, но будем надеяться, что хотя бы несколько торговцев решили переждать первые снегопады. Каждый кочевник знает, что ничего не делать и стоять на месте всяко лучше, чем тащиться куда-то по степи. Может, надеются на поздних покупателей, вроде нас.

Он уже порядком замёрз и два раза хлопнул в ладоши, чтобы растормошить похожего на вырытую из земли луковицу Урувая.

— По лошадям!.. В смысле — по лошади! Я поеду впереди, а ты тяжелее, ты сзади, на крупе.

Толстяк встал, оправил полы халата. С подолов его и со штанов текла вода. Молча подошёл к своей меланхоличной кобыле, в чёрном, гладком, как отполированные рекой ка-

мешки, глазу отразилось чудовищно распухшее его лицо. Поскрёб под ухом, стёр с подбородка осевшую там морось. Сказал робко:

— Мы скоро купим замену Бегунку. Потерпи немного, моя радость. Спасибо тебе, что не бросила нас. Без тебя мы бы погибли в степи.

Наран молча, пришибленно заполз на конскую шею, принял из рук Урувая сумки и пристроил их, как следует. Почувствовал, как лошадь неуютно переступила ногами, когда сзади вскарабкался друг. Они тронулись, рассекая собой снежный вечер, как рыба рассекает толщу воды. Потому что если ты хочешь найти лошадиный базар, он обязательно найдётся сам собой.

А Наран ещё долго оборачивался, пытаясь проглядеть в дымке дыру, чтобы увидеть, как к горизонту, кренясь то на один бок, то на другой, шагает на задних ногах высокая фигура с длинной, точно нож, разрезающей снегопад шеей.

— Отныне я буду звать тебя, — прошептал Наран и добавил в голос надлежащего уважения, как при обращении к равному себе: — Бегунок. Ты заслужил себе имя, а не кличку.

Те, кто умирали в степи по той или иной причине, больше всего хотели есть или пить, или чтобы их раны излечились. Если бы они хотели купить лошадь, лошадиный базар оказался бы перед ними, стоило закрыть и снова открыть глаза.

Снег прекратился, и, словно отодвинули полог громадного шатра, за ним оказался базар с его гомоном, лошадьми разных мастей и с разными клеймами, расхаживающими туда и сюда в поисках ещё не обглоданных с костей земли кусков мяса. Кое-где бродили овцы и козы на привязи. Лаяли, просто так, чтобы нагнать суеты, собаки. Дорога была везде вокруг, земля истёрлась под множеством копыт. Табуны пригонялись сюда и угонялись, и так без конца, с месяца Растаявшего Снега и до месяца Замерзающих Небесных Капель.

Лошадиный базар заканчивал свою работу на этот год. Ещё несколько дней, и здесь останутся лишь следы — вытопанное начисто поле, заново затягивающееся кожей снега, травинки, пытающиеся срастить заново сломанные спины. Большинство коневодов уже разъехались, однако три-четыре десятка шатров ещё тыкали своими разноцветными пальцами в тучи.

Путников тут же окружили дети, жадные до новых впечатлений и новых людей. Торговцы здесь живут вместе с семья-

ми отдельным, большим аилом, который растекается, словно комок снега ручейками, по осени по родным племенам. Козы здесь ходят глухие от рёва мужчин, а певчие птицы, один раз пролетев над поляной, не могут петь очень долго. Где-то там, в недрах этого рёва, затёрлись крепкие копыта и тёплые брюха, кишечник, что переварит даже древесные корни и совсем не даёт выхлопа, белые зубы, ну только посмотрите, лучше, чем у Вас, мышцы на ляжках, которыми гордился бы сам Небесный Жеребец, детородный орган, с которого Небесный Жеребец непременно удавится от стыда, вкусное нежное мясо («Поездишь, а как надост — скушаешь! Двойная польза, а?»). Была ещё ругань друг на друга, пожелания сотни змей в шатре, или потеть всю жизнь и в жизни не видеть другой воды... всё это сливалось в плотный, смолкающий только с заходом солнца гул. По вечерам эти торговцы, злые друг на друга днём («Айе! Какой такой ишак разрешил тебе трогать моего покупателя?» — «Да на нём что, клеймо твой стоит?» — «А захочу и поставлю! Он у меня собрался купить, а ты кричал громко», — «Да поставь это клеймо на спину себе и своей жене! А этот покупатель — мой».), собираются у костров и, обнявшись, осипшими голосами поют песни.

Урувай улыбался, глядя на копошащуюся под лошадиными ногами мелкоту, пытался сосчитать маленькие головы, стараясь по ошибке не посчитать собаку, что мельтешила тут же, а Наран разглядывал шатры и далёкие горы за ними, придавая своей фигуре важный и внушительный посыл. Когда они миновали первое кострище, детей, как стайку серебрястых стрекоз, разогнал громкий голос:

— Айе! Приехали за конями?

Торговец ощерил редкие зубы. Он походил на старого, горбатого степного кота, с вечной усмешкой и умными живыми глазами, которые он прятал в необычно разросшихся для степного жителя бровях. Летняя смуглость ещё только начала сходиться с его лица и с рук неряшливыми лоскутами.

Они стояли возле одного из крайних шатров, простецкого и многократно латанного-перелатанного. Рядом, словно упавшая с неба огромная птица со сломанным крылом, нелепо задрав вверх спицы, лежала повозка без одного колеса. Судя по тому, как изъедены непогодой и насекомыми борта, она пережила уже не один сезон.

Двигался торговец с заметной ленивцей, хотя от прочих шатров уже летели в их сторону призывные крики. Невдале-

ке, где группа торговцев собралась погреться возле огромного костра, мужчины потирали руки и звали их протяжными, похожими на птичьи крики, голосами, наперебой уверяя, что «сейчас отогреют кости» и тогда можно будет заняться настоящим делом и продавать настоящих коней.

— У меня есть кое-что. Такое, что у вас, странники, на чьей шее катается ветер, волосы встанут дыбом.

Урувай заинтересовался, а Наран уже кинул беглый взгляд на его лошадей и теперь пытался разглядеть, что там за тонконогая кобылка так рвётся с повода и показывает ему зубы воо-он у того шатра. Однако спокойная, отороченная ленивцей манера монгола говорить сумела подкинуть его вниманию приманку.

— Что же это? — спросил он как можно безучастней. Урувай уже готов был съесть от любопытства свою шапку.

— Нет-нет, — Кот заворочал подбородком. — Я вижу, у тебя, сына своей матери, всё ещё не идёт кровь из носу от моих слов. Сначала прогуляйся вокруг, посмотри всех коней. Потрогай их копыта, попробуй на прочность их шкуру. Попробуй на вкус кровь. Поторгуйся хорошенько с этим вороньём, уверен, они зарядят за каждого захудалого хромыша цену втрое больше. Но если что-то приглянется, — он сделал паузу, и глаза перескочили с Нарана на Урувая и обратно, — перед тем, как покупать, загляни ко мне.

Табуны паслись вместе, кочуя из одного конца поля к другому в поисках того, что можно было переместить в желудки, а каждый торговец держал возле своего шатра только нескольких самых лучших лошадей. Обыкновенно тех, чья грива подметает землю, хвост можно закрутить в девять кос, а кровь из жилки на шее, если попробовать её прокусить, может бить фонтаном в течение десяти минут. Сейчас таких лошадей уже раскупили, и на перевязи, пощипывая сушняк из кормушек, стояли какие-то тонконогие моложавые лошадки, ничем особенным не примечательные.

Наран колебался. Он пристально разглядывал лошадей у шатра степного кота. Вот неплохой молодой мерин, в яблоках, глаза как угольки, и мокрый хвост беспрестанно стегает по поджарым бокам. Охотничий пёс, а не конь. Вот конь в полтора раза больше предыдущего, такой спокойный, что в ямочке вдоль позвоночника у него образовалась после ближайшего снегопада лужица. Большие дряблые ноздри, глаза внимательно изучают Нарана. На миг того охватила паника:

он вдруг вспомнил, как ушёл от него Бегунок, и подумал, что, возможно, больше не стоит выбирать себе четвероногого друга по старым суждениям. К степным карликам толщину ног, мышцы, грудную клетку и качество зубов. Нужно поговорить с каждым и выяснить, как бы ему понравились горы и не боится ли он высоты...

— Ну, и чего засмотрелся? — не слишком дружелюбно спросил у Нарана Кот.

— Мы хотим увидеть, что у вас там...

— Обойдётесь, — буркнул торговец и сплюнул. — Идите лучше поклянчите чего-нибудь приличного у других торгашей. У меня-то оно есть, а вот что смогут показать они, кроме своих завываний?

Он выпрямился, швырнув свой взгляд, как тяжёлый камень, в соседей.

— Пошли, я сказал!

Наран и Урувай втянули головы в плечи и поспешили прочь.

Через два часа копыта, шерсть, зубы, голенные суставы и прочие лошадиные части начали кружиться в голове Нарана, словно снежинки. Ему то и дело мерещились лошадиные уши у друга, и он даже мог привести с два десятка доводов, почему того не следует покупать в качестве ездового животного. Вокруг каждого шатра их встречало, помимо громогласного хозяина, по несколько других торговцев, дёргающих лошадей за хвосты или с надрывом спорящих о частоте волоса в гриве какой-то кобылки — не то от скуки, не то чтобы создать толпу. Хозяин распорядился ими, словно компанией любопытных подростков, пришедших поглазеть на папины луки. А через полчаса друзья видели его уже на другом конце базара, разглядывающего, заложив палец в рот, чужой товар.

Очень тщательно они изучили ассортимент, останавливаясь перекусить и выпить воды у каждого шатра, где к радужному хозяину прилагалась радушная хозяйка или радушная старшая дочь. Тем временем один из хозяйских сыновей мчался в табун, чтобы привести новых лошадей, и осмотр вторялся.

И, конечно, везде с ними пытались сторговаться подороже. Одного хорошего коня здесь пытались продать за трёх, а то и за четырёх обычных, и Наран чувствовал, как стремя, которое он думал пустить на размен, стремительно теряло в весе в кармане.

За него можно было попробовать получить два-три «коня», и Наран хотел выторговать побольше.

«Конями» здесь называли квадратные блестящие пластинки из золота, с выгравированной на одной из сторон головой лошади. Другое дело, что их было довольно мало, «кони» кочевали откуда-то с затерянных в южных песках монетных дворов. Подобным металлом расплачивались с кочевниками за какие-то услуги (как правило, за то, что все их верблюды и они сами останутся целыми и с Аллахом проследуют, куда им нужно), и они моментально расходились по рынку. Поэтому «конём» становилась любая вещь, стоило нанести на неё изображение лошадиной головы. И любую вещь можно было выменять на лошадь — если, конечно, её ценность признавалась другой стороной. Это мог быть шмат по-настоящему хорошего вяленого мяса, седло с металлическими стременами, даже шатёр, на котором нужный знак вышивали белыми нитками.

По правде говоря, любой кочевник предпочёл бы иметь одного настоящего коня, чем десять таких вот пластинок, от которых не было никакого толку в степи. Но здесь, на базаре, они были в порядке вещей.

— Думаешь, не пора ли? — очень туманно заметил Урувай. У него появилась одышка, на шее пот собирался большими каплями. С последнего обеда по верхней губе ползли жирные пятна и пристала веточка душистой травы.

Наран понял. Они были везде, кроме юрты со сломанной повозкой, а кое-где даже по два раза.

Время катилось к вечеру, и Кот встретил их уже в утеплённом халате, сидя на краю повозки и нянча на коленях двух маленьких дочек. Наран почувствовал на себе его взгляд и вспомнил, как в детстве солнце любило подглядывать за его утренней дрёмой через крошечную дырочку в пологе шатра. Девочки притихли и во все глаза, словно две больших лягушки, уставились на Нарана. Одна даже открыла рот, но будто потеряла дар голоса.

— Ну как? Что-нибудь себе подобрали? — торговец осматривал усталых Нарана и Урувая с ног до головы и расхохотался. — У вас такой вид, будто на вас самих хорошенько поезддили.

Потом внезапно посерьёзnel:

— Думаю, вот этих кляч не будете даже смотреть.

— Вон тот, пегий, довольно интересный, — осторожно сказал Наран.

— Да прекрати завивать мне косы, — буркнул торговец.

Он ссадил дочерей с колен — оставшись без папаши, огромного старого коршуна, которому не может повредить ничего в этом мире, они мгновенно залились слезами и попытались одновременно спрятаться от Нарана друг за друга. Ушёл за шатёр и минуту спустя, ругаясь и бубня себе под нос, вывел на длинной корде сгусток живых, шипящих, словно под дождём, раскалённых углей. Поставил перед опешившими друзьями.

Жеребец был чёрный, с роскошной вороной гривой и глазами цвета чернозёма. Хвост неожиданно короткий для лошади таких размеров и едва доставал до ляжек. Словно маленькая метёлка, он беспрестанно стегал по крупу. К гриве и к хвосту привязаны разноцветные шёлковые ленточки — знак, что это животное священо.

Наран шагнул вперёд, и конь показал розовые дёсны. В ответ Наран продемонстрировал свои дёсны.

— Этот конь особенный, — сказал тем временем мужчина. — Видишь, какое раздутое у него брюхо? Присмотришься в темноте, и ты увидишь, как тлеют там угли. Не подноси к его ноздрям огонь: сгоришь заживо, как сухая солома. На этом коне когда-то ездил бог западных лесных пожаров.

— Расскажи об этом поподробнее, — зачаровано попросил Наран.

Про степные пожары он знал, но словосочетание «лесной пожар» звучало очень необычно.

Кот издал смешок.

— На западе за горной грядой на много дней пути ты можешь не встретить голого участка степи. Словно волосами, она заросла лесом. Был один засушливый год — какой именно, никто точно не помнит, — когда пересохли в той стороне все ручьи и даже крупные речки показали розовый песчаный язык. Когда листва с деревьев падала, словно ночные бабочки, застигнутые громом. Люди там жили в землянках и разводили овец. И вот однажды язык огня из чьей-то трубы лизнул ветви старого, рассохшегося дуба, и начался пожар. Он перекидывался с одного дерева на другое, бежал по земле, превращая разную падь в золу.

Жители землянок сварились в своих жилищах, как завёрнутые в глину корнеплоды. Выгорали до самых корней целые леса, и местные кочевники, зовущие себя туркменами, которые вели свои стада на ту землю, чтобы напоить их и нако-

мать, застыли в ужасе, увидев бесконечные чёрные поля и смог, вздыбивший свою шкуру, как большой кот.

— Правда, что лес — это когда много-много деревьев? — помолчав, спросил Наран. — Так много, что из-под них небо кажется почти счищенной с дикой моркови кожурой?

— Правда, правда, — торговец постучал пальцами по колену. — Говорят, листья растут там даже в бороде местных жителей... слушай дальше. Привлечённые громким детским плачем, кочевники подошли к самой границе пожарища, туда, где огонь затих, потому что вокруг нечему было гореть. «Откуда там ребёнок? — спрашивали они друг друга. — Как там кто-то вообще мог выжить?»

И действительно, никого не нашли. Однако плач не прекращался, птичьими криками и скрипом невидимых деревьев он разносился по округе.

Кочевники решили, что это плачет дитя огня, потому что ничего живого не могло там остаться, а плачет оно, потому что голодно, а гореть больше нечему. Молодой бог, плод, который родился из всего того, что пожрал огонь. Они поклонились ему, оказали ему почести и подарили ему лучшего жеребца из своего стада. Трое женщин завели его в глубь пепелища и сами погибли там, превратившись на горячей земле в обугленные куски мяса. Обратно он вышел уже сам, такой, какого ты видишь его сейчас.

Ведь боги не умирают, когда есть те, кто им поклоняется. Туркмены решили, что им нужен могущественный бог, который родился из очищающего пламени. Этому коню они долгое время поклонялись как своему богу.

— И как же он оказался здесь, у тебя?

Разглядывая жеребца, Наран взял повод и отступил на пару шагов. Конь, почуяв свободу, махнул головой, но его тут же ухватил торговец.

— Не бойся, — усмехнулся он. — Огненного бога больше у него на спине нет. В своём поклонении они почти забыли Тенгри и не замечали, как хмурится над головами его лицо. Они думали, что их новоявленный идол спасёт их от любой напасти.

— Он наслал на них грозу?

Наран поёжился от этой мысли.

— Не совсем. Однажды солнце просто не взошло для них. Кочевники ждали и ждали утра в своих шатрах, и только угли в животе священного коня медленно тлели, всё больше уга-

сая. Спыхватившись, они начали молиться Тенгри, звать к солнцу. Но ответом на их молитвы была вечная темнота и медленно наползающие холода. Все они перемерзли в этих холодах, и шатры их до сих пор стоят где-то в степи, полные скелетов. Люди, которые случайно заезжают в эти места и видят вдалеке поросшие ковылём юрты, поворачивают лошадей прочь — никакая пожива не заставит приблизиться даже самых отчаянных.

А конь выжил, и через какое-то время в степи его выловило племя монголов, от которых он попал ко мне. Никто не хочет брать себе коня давно потухшего бога, попавшего некогда в немилость к Тенгри. Но ты, я вижу, в немилости у самой жизни. Когда я тебя увидел, я сразу понял: я берёг этого коня вот для этого юноши. Только его злость, только то, что он ещё ходит по земле, а не лежит лицом в грязи и его кости не выедают изнутри черви, поможет ему справиться с этим конём.

Наран скривился, но кивком поблагодарил старика.

— Я буду звать его Угольком. Я надеюсь, наша общая злость не окажется слишком уж большой для мира и мы не взорвёмся и не исчезнем в облаке дыма. Сколько он стоит? У меня есть кое-что, но я ещё не был у менял.

Кот покряхтел.

— Посмотри на солнце! Нет-нет, я тоже не видел его весь день, но подскажу тебе: оно почти закатилось. Менялы уже застегнули полог своих шатров на все пуговицы, и, чтобы выудить их оттуда, потребуется очень щедрое вознаграждение. Показывай, что там у тебя.

Наран показал. Торговец двумя пальцами взял стремя, внимательно расположил его на ладони и изучил под разными углами. Подул в отверстие для ремешка, словно в музыкальный инструмент. Просунул и поболтал в отверстии для сапога языком.

— Это... — поднял руку Урувай.

— Я знаю, — с прежней резкостью одёрнул его торговец. — Если подо мной сейчас появится дырка и я провалюсь в подземное царство с подземными лошадьми, на которых одето что-то диковинное, будь спокоен, я разберусь. Это очень хорошее стремя. А второго нет?

— Мы нашли только одно, — сказал Наран. Он перехватил повод жеребца, и теперь вёл с животным напряжённую борьбу. Они оба следили, как рука подбирается всё ближе к губам лошади, как кожа краснеет от тока горячего воздуха из

ноздрей. И когда вдруг следует движение челюстей, Наран отдёргивает руку, а Кот, не глядя и не отвлекаясь от стремени, делает движение, чтобы пихнуть жеребца локтем под рёбра.

— Такие стремени делают далеко на западе.

— Я слышал о тамошних людях, — вставил Урувай. — О, у них такие длинные ноги! Конечно, стремени им просто необходимы...

Кот посмотрел на спутника Нарана, и тот замолчал, шлёпая губами и будто бы пытаясь поймать потерявшиеся слова. Нарану же сказал:

— Этого достаточно. Всё равно я буду рад, что это животное больше не будет плевать в меня огнём каждый раз, как увидит. Вы можете переночевать у меня в шатре. Там тесновато, но для двух человек места хватит.

С рассветом они умылись пылью, наполнили бурдюки водой из ближайшего ручья и вновь отправились в путь. Солнце улыбнулось им, показав свой истекающий соком краешек, и несмотря на то, что было довольно холодно, друзья ехали в приподнятом настроении. Небо затянуто рваной пеленой высоких облаков, и день обещал быть неплохим. Из-за горизонта выступали величественные горы, и каждый удар копыт ещё на немного вытрясал их из небытия.

Мальчишки-пастухи провожали Наранову попку почтительным молчанием. Кожа лошади была сухая и горячая, грива жёсткая и тонкая, будто плети застывшего дыма. С отставленной нижней губы на траву капала слюна, выделяя резкий запах гари.

— Ну вот. Теперь ты настоящий герой, — нарушил молчание Урувай. — У каждого настоящего героя есть свой волшебный конь.

— Он всего лишь меня везёт, — буркнул Наран и больше ничего не сказал. Говорить не хотелось.

Вечером Нарану удалось поймать зайца. Ушастый очень удивился, услышав, как затрещали над логом, куда он нырнул, чтобы переждать, пока проползёт этот странный человек, кусты. Заметался, выискивая в густой поросли жимолости просвет, чтобы улизнуть в степь, но было уже поздно. Удар лапой-ладонью выбил из него сознание, а потом на тоненькой шее сомкнулись челюсти.

Бросив добычу у ног уруваевой кобылы — саму её вряд ли привлечёт мясо, а мелкие падальщики к лошади приближаться не станут — Наран направился к костру.

— Опять порвались штаны, — посетовал он, разглядывая на свету прореху на бедре.

Ткань не выдерживала лисьего образа жизни. Это уже третья дыра в его одежде.

— Мм, — промычал Урувай. Наран нахмурился.

— Что ты там прячешь?

Урувай поколебался и показал. Вяленое мясо и в отдельном кулке сухая просяная каша.

— Я купил кое-какой еды, — на подбородок его валилась каша, Урувай торопливо собирал её пальцами и отправлял обратно в рот. — Выменял на свой ремень с железными пряжками.

Видя, как мрачнеет Наран, он поспешно сказал:

— Я устал жевать траву. И мне страшно смотреть на тебя. Ты то ты, то кто-то другой, и мне страшно, потому что я не понимаю, кто сейчас сидит вот здесь.

Рука поднялась, чтобы утереть со лба пот. Он потянулся и потыкал Нарана пальцем в бок.

— О чём ты? Сейчас я, например, это я. А когда нужно охотиться я... ну, тоже я, просто другой. Вроде как шаман, когда изображаю какого-нибудь зверя, или как ты, когда изображаешь... ну, например, косяк лебедей. Я не позволяю ему залезть слишком далеко в свою шкуру.

— У тебя не болят дёсны? — внезапно сменил тему Урувай.

— Нет. А почему ты...

— Я вижу, как ты сплёвываешь кровью. У тебя режутся лисьи зубы!

Ощерив зубы, Наран внимательно их ощупывал. Зубы и правда стали крупнее. Клыки вытянулись и задевали за внутренние стороны щёк. Вот откуда в слюне кровь.

— Это потому, что я ем сырое мясо. Оно, знаешь ли, твёрдое.

Урувай вздохнул.

— Я устал жевать траву. Еды здесь хватит как раз до гор. Надеюсь, там можно будет подстрелить горного козла или хотя бы набрать ягод и грибов.

Он пошелестел обёрткой и прибавил:

— Если есть понемногу, то хватит нам двоим.

Наран молча отвернулся. Разгладил складки на халате, слушая чавканье, которое Урувай пытался заглушить ладонью, и раздумывая, как приятно будет слизать с шёрстки зайчишки натёкшую из разорванного горла кровь.

Прошло два дня. С того времени, как зима проехала над ними на своей гремящей колеснице, в мире стало необычайно тихо. Наран думал, что они будут ещё несколько дней слышать, как удаляются от них небесные кони, но сколько не вслушивался, прежнего шума услышать не мог. Стояла громовая тишина, прерываемая лишь резкими, печальными криками птиц. Насекомые попрятались в земле, изредка подавали оттуда голос. Небо вымазалось в грязи, как ребёнок одной зимы от роду, только выучившийся ходить и тут же залезший в загон к жеребёнку.

— Ну и пылицу же поднял тот табун, — говорил Урувай, запрокинув голову.

Ночью Наран просыпался и, выставив нос из своего одеяла, ловил губами редкие снежинки.

Теперь стало заметно, что горы приближаются. Наползают на них, словно большая улитка, и по вечерам, после дневной скачки, Наран сидел возле костра и наблюдал за седыми вершинами.

С Уруваем они по большей части вместе молчали. Эти громады угнетали друга, и он предпочитал устраиваться на ночлег носом в другую сторону, где степь волнами придавленно к земле первым снегом ковыля накатывала на горизонт. Разговаривал теперь со своей каменной совой, рассказывал, как хорошо и радостно живётся в аиле, и напевал отрывки из песен.

Он заметно похудел. Лицо больше не напоминает зрелый фрукт, кожа потемнела и стала похожа на древесную кору. Когда чешет шею, звук получается такой: «Скрип-скрип-скрип». Об эту свою шею он пару раз ломал отросшие ногти. И обломками этих ногтей порвал самую тонкую струну на морин-хууре, так что музыка также посуровела и загрубела.

Губы, раньше красные и будто всё время испачканные в соке зрелой смородины, теперь побледнели и растрескались, а в походке появилось что-то лёгкое, танцующее — что-то от сайги.

Манеры тоже поменялись. Урувай больше не запахивал свой обширный и похожий на одеяло халат до конца и оставлял на обозрение волосатую грудь. Косы, раньше пестревшие разномастными лентами и украшениями, избавились от них, и заметно подросли. Так же, как и усы.

Но характер остался тот же самый, хотя и ещё глубже заполз в свою нарощую скорлупу.

Когда они спешили на очередной ночлег, Наран заметил, что почва под ногами из песчаной и растрескавшейся превращалась в каменистую и неприятную для голых ступней. Он спросил:

— Как сочиняется твоя новая сказка?

— Про нас с тобой?

Костёр только-только начал разгораться, и Урувай комкал и бросал в потрескивающий огонь влажные ветки. Неподдалёку маячил вороной Наранов конь. Он косился на костёр и иногда делал попытки приблизиться. Наран дежурил с длинным гибким прутом, который выломал в ближайшем кустарнике. Утром ему достанутся угли и зола, а пока подпускать к огню его нельзя, иначе от костра останется только мокрое место.

— Про неё и спрашиваю.

Наран надеялся, что друг ещё не разучился верить своим сказкам.

— Наше путешествие ещё далеко не закончено. Она сейчас сочиняется двумя монголами. Один вот здесь, — он постучал себя по груди. — А другой — здесь.

Рука описала дугу, охватив в одном движении небо и землю.

— И кто из них главный?

— Тот, что снаружи, — ответил друг и провёл рукой по голове, по линии, где волосы разделялись на две косы. — Он кидает нас из одного приключения в другое. А тот, что внутри, лишь записывает.

— И частенько халтурит.

— Почему это?

— Ну, посуди сам. Вот сейчас совершенно ничего не происходит и записывать монголу внутри тебя нечего. А тот, что внутри тебя, может, хотел бы дописать историю поскорее.

— Может, — подтвердил Урувай, не понимая, куда клонит Наран.

Наран ударил в ладонь кулаком.

— Так давай придумаем за него! К чему тянуть? Какой ты хотел бы конец?

— Ну, чтобы ты добрался до скалы, которая тебе больше понравится, и нашёл там кончик бороды Тенгри, — толстяк оглянулся, словно опасался увидеть Тенгри прямо сейчас и здесь, и продолжил шёпотом: — Подёргал бы за него, и Всевышний обратил бы к тебе свой пламенный взор. Ужаснулся, сказал бы: «Что я наделал! Зачем я порчу жизнь этому юноше...» — и вернул бы всё обратно. А потом там собрались бы

местные, горные девушки и мужчины, все бы тебе хлопали и восхищались бы твоей красотой. Ну, и мной бы восхищались.

Наран покачал головой.

— Это никуда не годится. Сказка с предсказуемым концом вгоняет слушателей в тоску. Они начинают пить и кидаться конским навозом в сказителя — если он не из ихнего айла. А если из их — то невзначай наложат у входа в его шатёр. Нам нужно что-то другое.

— Да, — погрустнел друг. — Недаром тот, что снаружи, не даёт моей сказке сделаться скучной.

Наран задумался.

— Пусть будет так. Добраться до самого могущественного шамана на вершине самой высокой скалы можно только на крыльях, десять раз обогнув её по спирали и десять раз отдохнув на крошечных скалистых уступах.

Урувай открыл рот. Вены на его висках набухли, глаза разгорелись огнём интереса.

— Мы там найдём орлов, верхом на которых можно будет забраться на эту скалу? Или гигантских воронов, что отнесут нас туда в своих когтях? Вууу!

Он вскочил и, раскинув руки, описал петлю вокруг невозмутимых лошадей.

Наран сказал:

— Таких больших птиц не бывает даже в горах. Проведя несколько недель у подножия, питаюсь червяками и наблюдая каждое утро и каждый вечер, как сотни ласточек отправляются из своих нор добывать птенцам пропитание, мы будем учиться принимать облик птиц. Так же, как до этого влезали в шкуры других животных.

Урувай притих. Он ждал продолжения. Наран сказал с сожалением:

— Твои крылья оказались коротки для такого долгого полёта. И, не дотянув даже до первого уступа, ты погиб, разбившись о скалы. В последний ночлег в степи мы нашли этому много знаков и предзнаменований. Тебе пришлось у самых гор повернуть обратно, чтобы поведать нашу историю миру. А я отправился дальше, навстречу своей судьбе. Но не расстраивайся! Там, наверху, могущественные горные шаманы приняли меня в свой шатёр.

— Они увидели твоё лицо?

— Они ужаснулись. Стали просить Верховного Бога и просили тридцать три ночи, чтобы он бросил в мою сторону хотя

бы взгляд. Много дел у Бога. Повелевать духами и командовать звёздами, а ещё следить за женой, лечить её раны, обдувая ветром и смазывая самым свежим дождём. Какое ему дело до крошечного жалкого уродливого кочевника? Но в конце концов он меня увидел.

Наран сел на подстилку, скрестив ноги. Говорил, разглядывая на седле вороного коня горелые отметины от пота и надеясь, что красноречие не иссякнет в самый важный момент. Голос хрип от волнения, и оттого казался будто бы звучащим из-под земли.

— Он сказал, что мне придётся дожить с таким лицом до конца жизни, что быть самым уродливым человеком на земле — моё предназначение. Он предлагал мне небесные сокровища и бесконечные табуны Весны, которые придут за зимними табунами, но я сказал, что всё это не вернёт мне потерянного глаза. Тогда Великий сказал, что взамен моих мучений даёт мне славу — чтобы меня почитали в родном аиле, как самого первого из степняков. Чтобы песни обо мне гремели сквозь годы и сквозь расстоянья, в самых дальних странах. Про тебя, мой верный друг, он скажет тоже как про первого песняра, который разнесёт славу обо мне по всей степи. Если, конечно, не погибнет, сломав крылья о скалы.

Когда Наран замолчал, на маленький лагерь опустилась темнота.

— Я... э... — выдохнул Урувай. — Откуда ты всё это знаешь?

Наран упрямо выставил подбородок.

— Ты дописал свою сказку. Теперь время отправиться домой, чтобы рассказывать её нашим дорогим соплеменникам. А я вернусь через год после тебя, тут уж будь уверен. Если, конечно, бату Анхара не дёрнет какая-нибудь вожжа потащить племя туда, куда не долетают даже стаи перелётных уток.

— Но ведь это же неправда, — Урувай чуть не плакал. — Такой финал никуда не годится. Это же неправда!

— Если ты пойдёшь со мной дальше, то испортишь всю сказку. Только подумай! Кто тогда будет нести славу обо мне на струнах морин-хуура? Я буду плакать о тебе. Буду думать: как же я скажу деду, что его внук сгинул в горах благодаря мне?..

Урувай сказал неохотно:

— Есть две истории, над которыми рыдают все, кто их слушал. «Мальчик и лодка, которая плыла по Айнуру с

востока на север» и «Кукушкино гнездо». Так рыдают, что в конце теряют сознание от обезвоживания. Я, правда, на очень-то их люблю. Во многих аилах сказителям запрещено их рассказывать под страхом смерти. А у нас можно только в сезон дождей или тогда, когда рядом есть водоём, чтобы напитать ослабшие тела. И всё равно, я люблю больше весёлые. Но если понадобится сделать нашу сказку грустной — так тому и быть. Я пойду с тобой до самой верхушки самой высокой горы.

Наран замахал руками, пытаясь согнать обречённость с лица Урувая.

— Послушай! Я просто боюсь, что ты погибнешь. Что я буду делать тогда, зная, что топот копыт моего единственного друга больше не прогремит по степям, а рога его больше не станут сбивать в полёте жуков и взлетающих малиновок?

Урувай надулся, стал походить на огромного младенца, настолько жадного до воздуха, что воздух этот, однажды оказавшийся в его лёгких, уже их не покидал. Наран терпеливо ждал.

— Всё равно это неправда, — наконец разомкнул уста толстак. — Я не могу петь сказки, которые не основаны на реальных событиях.

Наран почувствовал твёрдую почву под ногами. Сказал вкрадчиво:

— Неправда? Думаешь, все старые сказки происходили ровно так, как в них рассказывается?

Урувай почувствовал ловушку и неуютно завозился.

— Мы же не можем это проверить. А сейчас нет никакой опасности, и незачем мне поворачивать обратно раньше срока. Давай, я дойду с тобой до подножия той скалы. А когда ты научишься летать, поверну обратно.

— Нет! Я вижу все эти знамения. Вон, смотри, какой полёт у того ворона? Разве вороны так летают? А вон твоя кобыла роет землю. Она роет тебе могилу, будь уверен! Смотри, я уверен, что вижу у ней на глазах слёзы... — Наран вскинул в отчаянии руки. — Послушай, дружище. Я ведь на самом деле хочу уберечь тебя от опасности. Если бы нас вдруг окружили, я бы бросился в самую гущу врагов, только чтобы позволить тебе убежать и потом написать о моей гибели песню.

Лицо Урувая пошло красными пятнами. Снова, как в детстве, рот его исказился, а веки стали влажными.

— Я бы тоже тебя не бросил.

— Твоё предназначение — слагать песни, а не драться и не трястись куда-то в седле по пыльной или снежной пустоши.

— Но это же будет неправдой.

— Самой что ни на есть правдивой правдой, — Наран вложил в голос всю уверенность, на которую был способен. — Ведь моими устами сейчас говорит тот монгол, который снаружи. Который нащёптывает тебе все неожиданные повороты. Считай, что это тоже неожиданный поворот. Подумай, он же говорил с тобой самыми разными образами. То через неровности земли, то через храп коней. То нащёптывая ветром, а то рисуя на снегу. Подсовывая нам с тобой все эти приключения и шепча тебе: запомни и расскажи потом другим людям. А теперь он говорит через меня.

Урувай выдохнул и забыл вдохнуть. Наран подался вперёд, со злостью ударил кулаком в ладонь.

— Ты думаешь, я вру тебе, моему единственному другу?

Словно подрубленное дерево, Урувай распростёрся перед ним прямо на земле.

— Извини меня.

— А теперь — убирайся, — Наран вдруг вспомнил батю Анхара, в тот момент, когда чашка дрожала у него в руках, готовая полететь в спину трусливо удирающему Нарану. Чашки здесь не было, и юноша сжал и разжал кулаки, чтобы немного успокоиться. — Прямо сейчас садись на коня и езжай обратно. Встанешь на ночлег через час и завтра с утра тронешься дальше. Когда я тебя вижу, я вижу, как ты, орёл с толстыми ляжками, падаешь в пропасть и как из твоего сломанного клюва вытекает кровь... как окрашивается ею снег... Если ты скажешь мне ещё хоть слово, я погоню тебя пинками.

Урувай вскочил и потрусил к своей кобыле, на ходу подхватив мешок с вещами. В нём остался огненный камень, но Наран рассудил, что он может обойтись и без огня так же, как и проделать остаток пути без друга.

В дрожащем и хнычущем под редкими снежинками свете Уруваева спина выглядела сторбленной и жалкой. Уже обняв шею лошади, чтобы взгромоздиться в седло, он оглянулся.

— Теперь, бросив друга на полпути, я недостоин полного имени. Отныне все будут звать меня Увай, а слог «ур» навечно останется с тобой, как слабое, но всё же напоминание о нашей дружбе.

Наран подобрал прут, чтобы пресечь очередную попытку вороного добраться до огня.

Глава 10. Керме

И облако действительно кончилось под её ногами. Свистнуло что-то в ушах, плащ ожил внезапно, и превратился в змею, заворачиваясь на голову. Халат надулся, будто жабы щёки, потом хлопнул, выпуская воздух, и земля больно хлопнула её по бёдрам. Следом, заставив вскрикнуть, на голову, плечи и грудь рухнули потоки воды. Частый-частый дождик, когда уже перестаёшь различать, где вода, а где просто мокрый воздух. Слава Йер-Су, он почти сразу кончился. Отряхиваясь и фыркая, Керме вспомнила, как Шаман говорил, что тучи и облака состоят из воды, а она ему не верила. Как это возможно, чтобы вода — летала?..

Однако же вон, летает.

Некоторое время ещё она не могла подняться. Голова кружилась, ноги дрожали, как струны на музыкальном инструменте. Сидела и пыталась слушать сразу во все стороны, понюхать воздух спереди и сзади и исследовать своё тело: нет ли синяков? Она не представляла, какая высота от облака до земли, и была рада, что та оказалась не совсем большой. Ведь если бы падать было высоко, можно было зашибиться... Пальцы щекотала мокрая трава, справа на расстоянии вытянутой руки обнаружился плоский гладкий камень. Где-то рядом хрустело, разминая ветки, какое-то дерево. Из-за уха девушка извлекла листик, каким-то образом оказавшийся там при падении, и исследовала на нём все прожилки, ожидая, пока снова сможет встать на ноги.

Куда теперь двигаться? В какую сторону идти, чтобы найти то, что было так дорого её овечке?

Была бы под рукой карта.

Это была очень странная мысль. Керме слышала когда-то о картах от стариков-рассказчиков. С запада по Великому Морю или верхом наезжали в степь чужие люди. Люди, которые знать не знают о таких богах, как Тенгри или Йер-Су, которые везли за собой в восьмидесяти мехах суждения, которые никак не укладывались в образ жизни степняков. И ещё восемьдесят мехов пустых — любопытство и жадность до представлений о мире степняков. Ёмкости они заполняли буквально всем — запахами сохнущего на солнце навоза, пустобрешеством женщин и неуклюжим лукавством мужчин, которые норовили закидать гостей словесным сором, скрыв по-настоящему важные вещи.

Они спрашивали: «Есть ли у вас карты мира?» — а затем показывали свои, начертанные на тонкой бычьей коже или деревянных дощечках. В этот момент Шаман обыкновенно закатывал глаза:

— Чего там только не было, на этих дощечках! Моря размером с руку взрослого мужчину, чужие города, которые можно закрыть одним пальцем... Аравийская пустыня, тянущая во все стороны огромные песочные руки, и скачущие по ней на верблюдах армии, диковинные гады, высывающие из воды щупальца и морды с выпученными глазами. Черепахи, на спинах которых, ничего не подозревая, жили люди в одних набедренных повязках... урусские царства, где шли друг на друга войною бородатые воины в остроконечных шапках. А на месте, где начинаются великие бесконечные степи, — пустое место. И только далеко за ними изгибающий спину усатый дракон с огромными крыльями-плавниками — Кхитай.

Путешественники утверждали, что если к этим картам прибавить великие степи, получится весь мир.

Монголы сильно удивлялись. К чему карта тем, чей дом — гладкая степь, в которой ничего нет, а всё, что есть, перемещается следом за солнцем, следом за уходящим теплом или убегающим на паучьих лапках дождём?

Путешественники удивлялись следом. Как можно жить в мире, который совсем не знаешь? Это всё равно, что бродить по чужому жилищу с закрытыми глазами. Ощупывать предметы и гадать: что это и можно ли это есть, вместо того, чтобы открыть глаза и посмотреть...

Керме удивлялась сильнее всех. Она-то живёт так всю жизнь.

Но мысль о карте, на которой всё нарисовано, захватила её воображение.

Её внимание вернулось к листику. Это был листик очень странной формы, с резными краями и крылышками, так что напоминал бабочку. Почему он не может быть картой того места, где оказалась она? Керме вспомнила, что на настоящей карте можно найти мифические дороги, о которых в степи даже не помышляли, якобы соединяющие между собой города и земли, и тут же нашла на листике прожилки. Это, стало быть, и будут дороги, по которым она будет путешествовать. Вот тут вот, где начинается черенок, она и приземлилась, наполнив воздухом своё одеяние. А вот эта маленькая дырочка, проточенная каким-то червячком...

Да!

«Растяпа, — сказала Керме, прижимая к груди листочек. — Я знаю, где найти то, что так мило твоему сердцу. И мы немедленно отправляемся туда».

Она с радостью и с трепетом нашла в ногах прежнюю силу. Поднялась, осторожно постояла, покачиваясь, словно молодая берёзка, и по-новому ощущая мир вокруг. Она почувствовала себя мошкой, плавающей в кувшине со сливками. Это одновременно и пьянящее, и пугающее ощущение. В чашке степен сливок было мало, так, что она могла доставать своими коротенькими ножками до дна. Теперь же её вознесло на недостижимую высоту. Всё вокруг имеет смысл, и невозможно почесать даже за ушком без того, чтобы это не отразилось на сущностях по соседству. Даже солнечный свет, который всегда ни при чём и всегда над, словно птица в полёте, здесь резало на аккуратные ломти.

Здесь другие законы.

Чтобы сдвинуться с места, нужно поменяться местами с любой другой сущностью по соседству. Поэтому прежде Керме попыталась установить с ними дружеские отношения при помощи своих верных друзей — обоняния, осязания и слуха. Изгиб пригорка манил её веткой вялой жимолости. Деревья, помахивая над головой жидкими кронами, предлагали попробовать, как приятно находиться в земле, зарывшись как можно глубже пальчиками-корешками. К ним она отнеслась с особым вниманием: никогда она ещё не ощущала запах коры так близко. Вообще не ощущала запаха коры и не трогала листву в своей жизни, поправила она себя, и поэтому с радостью устремила своё внимание к этим невозмутимым, вечно радующимся гигантам.

Потом она заметила ещё кое-кого и устремила своё внимание туда. Настороженность встретила её в том колючем ворчливом мирке. Это живое существо, с настоящим сердечком и настоящей кровью, сопящее и без конца фыркающее себе в усы, и стремящееся зарыться как можно глубже в листву. Его сегодняшняя добыча — какой-то перезрелый, уже наполовину съеденный червями фрукт и гриб, источающий резкий запах, — выдавала его с головой, но расставаться с собственностью ради того, чтобы сделаться для неё как можно более неприметным среди гниющей листвы он не собирался. Хоть и побаивался её, такую большую.

Улыбнувшись, Керме оставила его в покое. И поняла, что может попробовать сдвинуться с места. Она нашла рядом с со-

бой тот самый камень, что встретил её первым, и между ними запульсировала жилка речи на непонятном языке. «Давай меняться! Слишком я тяжёлая, чтобы сдвинуться, никого не потревожив. Ты просто займёшь моё пространство, а я твоё. И никому не будет плохо».

Шею защекотала струйка пота. Керме изо всех сил старалась сделать свою речь как можно более внятной. Каменный дух обогнул её по дуге (приходилось накрепко держать внимание, словно зажатую между двух ладошек муху, чтобы чувствовать его), на виске возникло ощущение холода. Как будто этот самый камень взяли и приложили к коже.

Но мгновение спустя Керме почувствовала его согласие.

Шаг, ещё шаг... мошка в сливках зашевелила лапками. Вот уже и дорога началась между её ногами, пусть даже эта дорога — прихотливо петляющее и закручивающее водовороты вокруг еловый стволов ничто. Обеими руками она прижимала к груди драгоценный листочек и шла, чувствуя, как начинает биться под пальцами жилка растения. Она даже не сориентировалась по сторонам света, не нашла север или юг, она просто чувствовала, как листик принял роль карты, о которых у девушки было очень слабое представление, и ведёт её, куда нужно.

Каким-то образом она умудрилась не наткнуться на деревья, не попадать ногами в ямы и коварные барсучьи норы. Навязчивое, как щекотка, чувство соседства заранее давало ей знать о препятствии. Керме смущённо улыбалась окружающим её духам, прижимая к животу шапочку, протискивалась мимо них дальше.

Она шла и шла, отмеряя шагами вздохи земли. К пяткам приставали мёртвые листья и путешествовали с ней, пока не приходило время освободить место для следующего путешественника.

«Видела бы бабушка, что я сейчас делаю, — подумала Керме. — Как ловко я пробираюсь по чаще и как располагаю к себе многочисленных её жителей».

Постепенно голод завладел всем пространством в её голове, а заодно и желудком. Ещё некоторое время Керме шла, вспоминая последнюю съеденную лепёшку, а потом подумала, что хорошо бы раздобыть здесь молока. Или какого-нибудь мяса. Или хотя бы ягод.

— Где бы нам достать еды? — подумала она, обращаясь к Растяпе. — Хорошо бы вяленого мяса.

Ей вдруг послышалось, как Растяпа подвигал челюстями. Нет, не то. Как же такое может слышаться?.. Вот, на самом деле это в чреве что-то заворочалось и толкнуло его с той стороны.

А потом раздался голос:

— Я не ем мяса.

— Кто здесь? — спросила она уже вслух и насмерть перепугалась собственного голоса.

Вокруг всё оставалось по-прежнему. Будь здесь человек, любопытные ушки донесли бы о нём сразу.

— Это я. Я не ем мяса. Но тебе хорошо бы поесть.

Керме попыталась понять, слышит ли она голос в своей голове или он доносится откуда-то ещё. Впрочем, иногда ей казалось, что весь мир с его многочисленными обитателями существует только в её голове.

— Ой, извини, — сказала она. — Я не имела в виду бараньего мяса. Хотелось бы хотя бы вяленой конины...

— Я не ем мяса совсем. Я бы поел травки. Или листочков. Если можно, не горьких и не сухих.

— Ты можешь говорить?

Голос возмущился.

— Я живу и думаю. Значит, наверное, я могу как-то общаться.

— Ты мой сын?

— Пока ещё неродившийся. Знала бы ты, как здесь тесно.

Пока Керме, вытянув губы трубочкой, придумывала, как бы облечь словами вопрос, который занимал сейчас всё её существо, голос напомнил:

— Ты хотела меня покормить?

Травка! Они же теперь, наверное, одно целое. Что мешает ей поесть травки и листиков? Вряд ли по осени они будут очень сочными, но такое время года куда лучше любой летней засухи.

Керме опустилась на колени. Почва здесь была каменистая и стремилась всё время вверх. Среди голышей и проплешин земли с разбегающимися между её пальцами жуками, Керме обнаружила пучки дряхлой травы. Ещё над головой качались целые ветви с остатками листвы, а по правую руку — колючие кусты ежевики. Ягоды уже кончились, но листья пахли довольно аппетитно. Девушка каким-то образом всё это чувствовала.

— Какие лучше? — спросила она.

— Вон там, слева и чуть вперёд, я чую замечательные лопушки.

Ну конечно. Керме их тоже чувствовала. Она проползла немного вперёд и захватила губами большие листья. Распластавшись прямо на земле, жевала, думая о голоде и о Растяпе.

— Почему ты не говорил раньше? — спросила она с набитым ртом.

— Я собирался попросить тебя не спать на левом боку. На правом или на спине мне удобнее.

Керме кивнула и подождала ответа на свой вопрос, поглощая траву и не чувствуя вкуса. Но его не последовало. Так же, как и возник, голос зарылся в глубины её тела, как рыба в ил.

Она пошла дальше, чувствуя, как недоумённо бурлят желудочные соки. Что это ты нам подсунула, хозяйка? Опять траву?.. С их бурчанием в глубине сознания медленно просыпались воспоминания.

Калечных детей в то время рождалось мало.

Керме оставили и со временем убеждались, что оставили не зря.

— Ты родилась слепая, как крот, но эта слепота забросила в твою голову какие-то знания. Такие, которых нет даже у шаманов, — говорил ей Шаман.

В семь лет она серьёзно заболела. Лежала, закутанная в одеяла, в шатре, и женщины, подходя к ней каждую свободную минуту, качали головами и ужасались наперебой, какая она красная. В лёгких у неё образовалась земля и при каждом выдохе выходила наружу, пачкая губы.

Кости у неё ныли, мышцы истончились, как тетива лука. Изнутри она вся горела и сочилась слизью. Даже моча куда-то пропала. Зато внезапно появились силы стремиться наружу, неважно, ночь ли там была или догорал, как головёшка в костре, день. Керме больше не чувствовала разницы. Она просто хотела к овцам, хотела ковыряться в земле, выискивая вкусные травки и срывая с кустов ягоды...

Нет, не так. К верёвке на шее, на которой болтался колокольчик, будто бы прицепили поводок и теперь настойчиво за него тянули. Шнурок натирал шею, и Керме в бреду мерещилось, что шею ей щекочет ковыль.

— Сбереги нас, бесконечная степь, согрей нас горицвет, куда же ты собралась, слепая белка! Там холодно, так, что даже кузнечики не отказались бы от такого шатра, как у тебя!

Её подхватили под руки, в очередной раз закутали в одеяло, и девочка, вынырнув из бреда, запоздало удивилась: «Я что, пыталась убежать?..»

И после какой-то попытки ей это удалось. Была уже глубокая ночь, и скрипела под ногами единственного часового земля. Храп и дыхание женщин скользнул по краешку сознания, качнулся, задев волосы, полог, и вот наконец свежий воздух, ночной простор, перемежающийся сочащимся из аилов теплом. Керме встала на четвереньки, рванула в темноту, безошибочно определив, в какой стороне стояли овцы.

Когда её вновь поймали, она даже не думала сопротивляться или ещё куда-то бежать. Лежала среди овец, свернувшись калачиком, с вымазанным землёй ртом. Землю эту вычистили у неё потом из-под ногтей и из отворотов халата.

— Что ты делала?

Народу всё прибывало, и овцы, разбуженные суетой, стали перемещаться подальше.

— У меня болел живот.

Керме сонно потёрла глаза, встала, опираясь на руки женщин.

— Конечно, болел! Ты выглядела почти как растоптанная лошадью лягушка!

— Больше не болит.

— Не болит?

Девочка и правда выглядела гораздо более здоровой, хоть и очень грязной.

— Я поела разных травок. Лошадиный чабрец вот. И такую маленькую травку, похожую на лягушачью лапку. И ещё что-то. Много.

— Откуда ты знаешь, что нужно было съесть? Это Шаман тебе сказал?

— А что Шаман? Шаман сам иногда кушает землю. Но клянусь, его животу от этого становится только плохее.

Шаман был тут как тут. Принёс перед собой, судя по звукам, свой огромный живот.

— Нет, я сама, — лепетала Керме. — Овечки едят корешки, когда болеют.

Бабка, уперев одну руку в бок (второй при этом бережно поддерживала Керме), повернулась к Шаману:

— Что ты на это скажешь, старый похотливый суслик?

Было слышно, как он отступил на шаг. Почва вздохнула, напрягая и расслабляя под его ногами уставшую мышцу.

Всё-таки он был очень тяжёлым и очень значительным для этого мира, чтобы его было легко таскать. Но бабу, свою старшую сестру, боялся и уважал. Это единственная женщина, перед которой пасовало его добродушие и величие.

Звякнули украшения на шее: он опустился на колени, разгребая у ног Керме землю.

— Это мятлик. Видите метёлки?.. Она копала луковицы и ела их. Керме, звёздочка, ты ела вот эту травку?.. Я возьму эти растения с собой. Нужно же самому попробовать их на вкус...

— Детка, у тебя точно ничего не болит?

Керме к тому времени уже сладко спала. Разбуженная вопросом, она прожевала сквозь зубы ответ и вновь погрузилась в дрему.

Тогда старуха снова повернулась к Шаману.

— У неё точно больше ничего не болит? Что лечат этими луковицами?

Шаман покачал головой.

— Мне такое неизвестно. Мятлик довольно бесполезен. Кроме того, что его соцветиями иногда играют дети, щекоча друг другу носы. Но, наверное, его действительно едят овцы.

— И девочка это знала?

Шаман пожал плечами.

— Это Йер-Су. Она знает малышку, потому что она растила её с пелёнок. И она растила траву, выращивает каждый год целые луга этих мятликов. Даёт всякому название и какую-то химию. Мы не умеем слушать голос природы и поэтому часто упускаем из виду самое очевидное. А Керме, может, из-за своего зрения, такое может.

Когда идти было трудно и заросли валежника вставали перед ней, словно гигантская паутина, Керме взывала к мужу. И он отзывался, брал её за руку и выводил из лабиринта, успокаивающе гудя над ухом и треща ветвями. После чего исчезал, не сказав ей ни слова.

— Ну прости меня, — говорила вдогонку девушка. — Мне пришлось уйти, когда тебя не было дома. Но ты бы меня ни за что не отпустил.

Одежда тихо шуршала, соприкасаясь то с теплом, а то с прохладой, если солнце пряталось за тучей. Керме пыталась определить, близко ли закат и как скоро нужно будет ложиться спать. Чувства её пока молчали. Раньше она неплохо чувствовала время, но с появлением ребёночка всё изменилось, перемешалось и поплыло, как кусок жира в котле. Под нога-

ми хрустел пышный ковёр из листьев. Если бы вдруг настала ночь, она бы могла рухнуть в этот ковёр и проспаться до утра.

Для интересу, когда устали и слегка загудели ноги, она попробовала так поступить. Нашла себе кучу листьев побольше и, раскинув руки, с визгом туда свалилась.

— Ай! — сказал ковёр.

Мир лопнул. Её окружили вопли и галдёж, будто кто-то кинул камень в лежбище овец, наведя беспорядок.

— Слезь с него!

— Она кусается?

— Я хочу к папе!

— Слезь с него!!! У меня есть кинжал, и я вскрою твою шею прямо сейчас, если не отпустишь братика.

В последнем голоске сочеталась дрожь и отчаянная решимость. Керме замахала руками и попробовала подчиниться. Сердечко провалилось куда-то далеко-далеко, а страх бился в голове пойманной синицей.

Встать не получилось, зато из-под неё кто-то выскочил, взметнув целый дождь листьев.

Наступила тишина, потом тот же голос, девчачий и звонкий, как колокольчик, который Керме таскала на шее, жалобно попросил:

— Ты не могла бы взять себя в плен и пойти с нами в аил?

— Ты что, Тайна? — зашептали совсем рядом. Этот голос был пряткий, как кузнечик, и явно принадлежал какому-то мальчишке. — Это же взрослая. Она может сказать папе, чтобы нас выпороли.

Третий голос хныкал и, кажется, создавал на своём лице настоящий водопад. С той стороны пахло сыростью.

— Ну что же ты молчишь? — чуть не плакала девочка.

Керме открыла рот и попыталась выдохнуть хоть слово. Но получился только шорох. Там, внутри, словно тоже всё забилося листьями.

— Смотрите, у неё белые глаза! Да она ничего не видит. Слепая.

— И немая?

Третий голос прекратил хныкать.

— Не, не слепая. Посмотрите, как она ходит. Как куница. Как подкралась... как упала... Я и уползти-то не успел.

— Я прошу прощения, — наконец выдавила девушка. Её голос казался тоньше этих трёх, вместе взятых. — Меня зовут Керме. Я ничего не вижу.

— Слепая белка! — обрадовался один голос. — Я же говорил.

— Слепая куница.

— Её зовут белка. Она же только что сказала.

Запах сырости почти исчез, однако вода ещё бурлила где-то глубоко в горле.

— А с ней можно поиграть?

— Я просто шла и немного устала. Я не хотела никого напугать.

— Давай возьмём её с собой.

— Ты ждёшь ребёночка?

Судя по голосу, девочка уже втянула своё жало-кинжал обратно.

Керме попыталась улыбнуться, баюкая на руках свой страх. Тот уже почти заснул, только иногда сопел, вызывая холодок возле шеи или между лопатками.

— Да. Это Растяпа. Благодаря ему я путешествую здесь, в горах, без моего мужа.

— Меня зовут Тайна. Это мои братики, Теке и Ти.

— Мы собирали яблоки и нашли несколько грибов. Хочешь понюхать? Они так хорошо пахнут.

— Я не хотела ни на кого падать, — Керме протянула руки, и было слышно, как троица дружно отодвинулась, прижимаясь друг к другу. — Я думала, может быть, поспать здесь до завтра. Переждать ночь.

На некоторое время возникла глубокомысленная тишина. Дети переглядывались, и Керме слышала, как со звуком, похожим на стрекотание стрекоз, летали их мысли. Потом Тайна сказала:

— У нас есть шатёр. Папа пошёл к стаду, и, пока его нет, я самая старшая. Если хочешь, можешь переночевать у нас. А Растяпой зовут твоего ребёночка?

— Вообще-то так зовут овечку, с которой я дружила... эта овечка теперь вот здесь, внутри меня.

— Ух ты! Овечка в животике! Пошли с нами, поиграем. А Тайна приготовит нам поесть.

Поднимаясь, Керме испугалась, что потеряла карту, но нет, та никуда не делась, она устроилась в кулаке, выставив наружу черенок.

Керме вспомнила своё детство, казалось, случившееся совсем недавно. Вернее, это юность произошла с ней совсем недавно, а всё, что было до этого — бесконечное детство, беспеч-

ное, как первый снег, что неминуемо должен растаять и всё равно радостно хрустит под ногами, и укутывает собой подмёрзшую землю так серьёзно, будто бы это до весны.

Дети могли спать и есть в любом шатре, каждая женщина была им матерью. Поэтому иногда так получалось, что матери, не видя своих детей всю ночь, встречали их утром у общего очага, переодетыми и накормленными. И сами приводили к очагу чужих детей.

Детям было позволено даже заглядывать в шатёр к шаманам, хотя почти все боялись поднять тяжёлый, пропахший небесной пылью, как называли дым, и кровью полог. И боялись почти всех его обитателей, тонкокостных, с глазами на выкате и с проглядывающими через прозрачные губы крошечными жёлтыми зубами. Только Шаман пользовался всеобщей любовью, стоило ему вытечь из шатра, если он был в хорошем настроении, на нём тут же повисали дети. Катались на загривке, словно блохи на большом медведе, а он хохотал, когда кто-то скатывался на землю, не выдержав его крутого норова и манеры передвижения.

И даже за уроненный идол, и за непочтительность, и капризность к Небу — за то, за что любой другой схлопотал бы сотню плетей, их только легонько журили. Считалось, что Тенгри любит детей, и шатёр у него всегда полон отпрысков-звёзд.

Взрослые им казались кем-то очень важным с одной стороны и опутанными запретами — с другой. Может, поэтому они такие важные и суровые. У Керме сложилось впечатление, что троица, весело шагающая сейчас рядом, вовсе не считает её ни важной, ни суровой и даже страшной больше не считает. Это сильно согрело ей сердце.

Скоро она уже болтала о том и о сём с девочкой и перебрывалась словами, как мячиком, с братьями. Их корзинки били её по ногам.

Дети привели её в поселение из небольших приземистых шатров. Если шатры кочевников бесконечно стремятся в небо, словно крича: «Мы здесь! Мы властители степи и повелители бесконечных табунов. Ну посмотри же на нас! Мы достойны стоять перед твоими глазами — дневным и ночным — в полный рост», — то здешние большие и приземистые, будто ладони, что гладят и любовно похлопывают по крупу землю.

Знакомый гул людского поселения разбудил в Керме дремавшую робость. Её тянули за обе руки.

— Пошли... пошли! Тебя никто не заметит.

— Вы что же, совсем одни в своём шатре?

— Там моя мама, — сказал один мальчик. Кажется, Ти. Как раз тот, который прятался в куче листьев.

— И наша, — хором прибавили Тайна и Теке. — И ещё одна отцовская жена. Она тоже скоро родит ребёночка. Но ничего страшного, если мы придём четвером. Они будут думать, что ты дочка бека Юсуфа. Или кого-нибудь ещё. Ты же тоже детка, а значит, можешь у нас переночевать.

Сочась сквозь человеческий гомон, как масло, что тает в каше, Керме думала, что дело, может быть, в том, что она похожа на ребёнка. Но нет, каждого из этой троицы она легко могла поцеловать в макушку... ну, во всяком случае раньше, когда она выбралась из места своего несостоявшегося ночлега и встала в полный рост. А теперь голос Тайны звучал не снизу, а здесь, совсем рядом, на уровне её лица.

И действительно, никто не остановил их, когда они гуськом проследовали к нужной юрте. Керме вертела головой, стараясь всё же, чтобы это движение было не слишком заметным.

Здесь всю готовились к зиме. Холода подступили и громыхали оружием у самых стен шатров. Как шкура над огнём, из которой выводили насекомых, аил пропитался дымом. Суета хватала её, осторожно крадущуюся за детьми, за запястья и пыталась затянуть в себя.

Внутри оказалось тепло и мягко, хотя и тесновато. Все заходили и выходили, торопливые шаги, напоминающие девушке каких-то шустрых зверьков, не смолкали ни на минуту. Детям доставалась торопливая ласка. Керме тоже потрепали по волосам и ущипнули за щёку. Втянув голову в плечи, она ожидала, что сейчас её будут расспрашивать, кто она такая и откуда взялась, но ничего такого не последовало.

— Здесь темно, и тебя больше никто не заметит, — доверчиво сообщила Тайна, устраивая вокруг неё подобие гнезда из одеял.

Мальчишки убежали играть, проводив их до аила и отхватив у сестры какую-то съедобную мелочь.

— Спасибо, — шепнула Керме.

— Хочешь кушать?

— Я уже пообедала.

— Ну, может немного кашки на ужин? Я здесь за старшую. Мама и другие папины жёны помогают в аиле. Утепляют ша-

тры. Много работы, вот-вот придут настоящие холода, выпадет снег, и тогда уже ничего не получится сделать толково.

Тайна рассуждала, как взрослая, и Керме почувствовала себя рядом с ней несравнимо младше. Она поблагодарила новую подружку и получила горшочек с кашей.

— У меня впереди длинная дорога, и завтра мне нужно будет уйти пораньше.

Хорошо, если везде в горах её будут встречать так хорошо и везде будет ждать уютный ночлег, но, если верить листочку-карте, который она спрятала за отворот халата, впереди ещё долгий путь.

— Я всегда просыпаюсь затемно, — похвасталась Тайна.

— Можешь разбудить меня тоже? — попросила Керме, хотя была уверена, что сама проснётся, как только ноги немного отдохнут и снова запросятся в дорогу. Ноги всю жизнь подсказывали ей, что делать, и, наверное, ни разу не подводили.

Едва (по заверениям Тайны) забрезжил рассвет, Керме осторожно выбралась наружу. Накрапывал дождик, наверное, из той самой тучки, с которой она спустилась. Вяло тявкнула и завозилась, укладываясь поудобнее, собака.

Провожал её, кроме Тайны, с самого утра деловитой и источающей тот же запах утренней прохлады, что поднимался сейчас от смоченной дождём земли, угрюмый и сонный Ти.

— Ты на меня не падай больше, хорошо? — пробубнил он.

Керме рассмеялась и заключила его в объятия. Попрощавшись на лесной опушке с Тайной, зашагала, вздымая обуви-ми в сапоги ногами тучи брызг.

— Мне так хорошо.

Сначала она подумала, что одна из её обутих ног поблагодарила её за то, что не забыла взять сапоги, и даже задумалась какая. И только потом почувствовала внутри себя чужое присутствие.

— Это зовётся — горы, — сказала она, трогая ладошкой ветку шиповника, на которой благоухали вяжущим ароматом спелые запахи. Сорвала и отправила две штуки в рот. — Ты смотрел на них почти всю свою жизнь.

— Нет. Мне хорошо с тобой. Здесь тепло и ни о чём не нужно думать.

— Ты в животе?

Молчание. Керме начала подумывать, что он снова окунулся в своё молчание, ускользнул на дно, как стайка мальков. Но вот слова возникли вновь:

— Я не знаю. Не пойму. Я и в твоём чреве, плаваю в горячей жидкости, и твоя кровь перетекает в меня. А потом она уносит меня к сердцу и наверх, к голове, и я становлюсь тобой. Наверное, я твоя кровь.

По спине побежали приятные мурашки. Керме готова была слушать внутри себя этот голос вечно, а если он вновь пропадёт, готова была звать и звать, пока не охрипнет, пока не умрёт от утомления.

— Спасибо, что спала на правом боку.

— Для тебя я готова спать хоть стоя. Интересно, все женщины могут вот так разговаривать со своими детьми? Надеюсь, что да. Это такое прекрасное чувство!

Девушке казалось, ещё немного и она почувствует пульсацию этой крови.

— У тебя в голове есть шатёр, и в том шатре, прямо на ковре, рядом с твоими воспоминаниями я разложил свои. Попробуй их потрогать. Может, они откроются тебе.

Керме смеётся внутри.

— Откуда у тебя воспоминания, маленький? Все твои воспоминания — путешествие вокруг моего сердечка...

Она запнулась, вспомнив о Растяпе. А голос внутри неё сказал:

— Вот и нет. Я был кем-то уже много-много раз. Попробуй.

Керме попробовала представить себе шатёр, и это получилось почти сразу, как будто кто-то его там уже возвёл, а потом просто замаскировал... к примеру, отняв у неё зрение.

Ходят здесь только босиком. Под ногами мягко: то овечьи шкуры и войлок, умятый до такой степени, что почти не ощущается ступнями. Между пальцами иногда застревает солома, щекочет пятки. Воздух густой и такой приятный, что хочется тереться об него щекой. Полог задёрнут, и поэтому свежий воздух проникает только через отверстие в потолке. Летний вечер вокруг, летний вечер внутри, и в костре нет надобности, и не будет надобности всю ночь. Однако угли ещё пышут теплом, в них так приятно купать пальчики, пачкая их в золе. Керме всегда это запрещали, тем приятнее было делать это здесь, где никто её не видит.

Девочка попыталась заполнить его тем, что ей близко, и шатёр начал заполняться овцами. Она смеялась и отпихивала их от себя, проводила руками по жёстким загривкам и мокрым носам. В углу валялась пряжа и спицы с различными хитрыми принадлежностями для плетения, шитья и

вязания. Кто-то снаружи наигрывал на моринхуре грустную сказку, откуда-то издалека ему вторила флейта. Музыканта в шатре не было, но его песня была внутри и грела Керме душу.

Музыку заглушало тихое посапывание. Кто-то спал совсем рядом, и Керме с теплотой в груди узнала своего мужа. И правда, больше всего она любила слушать, как он спит, чувствовать ветер внутри, положив ему на грудь ладошку.

И ещё много-много всяких мелочей, вроде пушистых лисьих хвостов, свешивающихся с потолка, птичьих перьев, пробивающийся сквозь стыки шкур на полу молодой ковыль. Большой съедобный гриб с целым выводком детешек под шляпкой, который предстояло ещё найти — тоже приятность.

Кроме всех этих знакомых до щемления в груди вещей, девочка вдруг заметила участок, где не было абсолютно ничего. То есть было, но что-то непонятное, неизвестное, что-то, с чем она ещё не встречалась в жизни.

— Это ты имел в виду, маленький?

Керме приблизилась осторожно, обходя овец и собирая с их спин крупички уверенности. Протянула руку в тёмный угол и коснулась разложенных там предметов.

— Я... я не знаю, что это, — пролепетала она.

— Я тоже. Это то, что я собрал, когда жил в своих прошлых жизнях. Я помню, что ездил там на такой штуке. Уууу! Большой. И живой, она делает так: «Игогого!» Я сидел у неё на спине.

— Это, наверное, лошадь, — сказала Керме и тут же ощутила, как в плечо ей ткнулся влажный нос. Вздрогнула от неожиданности и рассмеялась, признав лошадиную морду. — Как странно. Это не овечьи воспоминания.

Растяпа промолчал, словно не зная, что ответить, и Керме снова подумала, как хорошо иметь ребёнка.

Глава 11. Наран

Ну вот, теперь он один. Если бы у него были оба глаза и они были такие же острые, как у орла, он увидел бы только шапку друга, раскачивающуюся над горизонтом. Время перевести дух, посидеть и подумать.

Наран совсем не был уверен, правильно ли он поступил, прогнав Урувая. Неизвестно, будет ли легче в горах или же, напротив, ему потребуется твёрдое верное плечо.

— Сможешь мне подставить плечо, если будет трудно? — хмуро спросил он у Уголька. Осмотрел его с холки до копыт и обратно. — Ну, или хотя бы круп...

Всё же он сделал всё правильно. Урувай верный и просто-душный. И упрямый, когда нужно. Он обязательно доберётся до аила, а дорогой допишет песню. Заточит её, как атаманскую кривую саблю. Будет петь её в каждом шатре, который даст ему ночлег, в каждом аиле. Может быть, Нарану и правда придётся вернуться домой ни с чем, и тогда песня, которую будут петь по всей степи, послужит ему хорошую службу. В родном аиле его встретят как героя, и батя Анхар будет валяться у него в ногах, вымаливая прощение.

Наран расправил плечи и улыбнулся, представив себе эту картину. Конечно, он его простит. Поднимет с земли, отряхнёт полы халата от грязи и обнимет, как родного отца. Он прошёлся вокруг костра и споткнулся о забытую Уруваем каменную сову. Вздохнул и откатил её к седельным сумкам. Если уж проделала с ними такой путь, пускай едет до конца и напоминает ему о друге-толстяке.

Юноша снова, в который уже раз за несколько дней, подумал, что лисья натура дала ему нечто большее, чем быстрые конечности, клыки и бесполезный невидимый хвост.

Это нужно отметить, и на этот счёт у него припрятан пресвосходный кролик.

Он настиг горы, величественно, вереницей улиток ползущие прямо к рассвету, уже к полудню, хотя полуднем это назвать было сложно. Небо затянули облака, предвещающие новый снегопад. Возможно, он будет таять дольше первого, а может, не растает до весны.

Да, здесь был совершенно другой мир. Здесь уже не распространяются законы степи, за каждым взгорьем Нарану мерещились враждебные тени, и лук, из которого он разучился стрелять, но доверие которого ещё не потерял до конца, грел левое запястье. Наран вовсе не был уверен, что пернатые осы полетят куда надо, но так было спокойнее. Всё же отполированное человеческой кожей дерево оставалось его другом, и сердце начинало биться чуть размереннее, когда оно ручной змейкой скользило по руке вверх, к плечу, и поглядывало оттуда на взбесившийся пейзаж с недоверием.

— Знаю, знаю, — чужим голосом сказал Наран. — Знаю...

Поменялся даже запах. Степные суховеи или зимнюю мокреть кобылицы-степи сменил статный дух мокрой древесины и прелых листьев. Под копытами всё время что-то ломалось, скрипело и трещало, какие-то кусты стремились дотянуться до коленей всадника, оставить там свои отметины, а полы халата топорщились колючками. Ровный бег уступил место вихлянию и игре в поддавки с местностью. Вот я тебя вижу, а вот — нет... С этого пригорка сползти, вызвав крошечный обвал, на этот забраться, слушая, как перетекают в твои голени мышцы лошади и как она фыркает, выдыхая брызги горячей влаги. Может, с какой-то стороны сюда и тѣк ручеёк тропы, но только не с этой. Наран поразмыслил, сумеет ли он за сутки-двое обойти все эти горы, чтобы найти более или менее приемлемую дорожку, но решил, что нет.

Логи и заросли жимолости взрывались стайкой мелких птичек. В траве прятались старые следы копыт, которые паучки уже затягивали в серебристые одежды паутинок, и несколько раз Наран видел вдалеке бег сайгака: коричневая шкурка его то исчезала, то появлялась вновь.

Лисья натура бунтовала внутри, требуя быть ниже к земле, вновь и вновь шептала ему о великолепных укрытиях, будь то высокая трава, всё ещё прямая и стойкая назло приближающемуся холоду, или лог, которым можно пробежать, почти не оставив следов и скрывшись даже от огромного, как её глаза, чутья совы. Наран в который раз подумал, что за его сердце сражаются слишком уж разные натуры и слишком много их накопилось.

Низенькие коренастые деревца обступили его со всех сторон, показывали на него лапами в коричневом игольчатом меху и о чём-то шептались между собою, иногда отпуская в отдалённые концы полеска гонцов-бурундуков.

Нет, это не похоже на болезненную земляную корку. Горы представлялись Нарану голыми кусками скалы, на которые он на своём жеребце взлетит, прыгая с уступа на уступ, гноящимися водой или огнём, полными боли и страха.

В каких же дебрях искать шаманов, которые могут сослужить ему добрую службу?

Когда подкрался вечер, он заночевал там же, где спешил с лошади, стараясь стать как можно незаметнее под маленькой ёлочкой. Когти на лапах заставили его выкопать себе нору — не нору, но подобие ямы, в которой можно было свернуться клубком и забыться беспокойным сном, слушая

над собой сопение Уголька и иногда хруст хвои на его зубах. Дыхание коня спасало его от холода, зато тусклые вспышки, с которыми сгорала в животе растительность, и тускло светящиеся глаза не раз и не два выдёргивали из сна.

Снилась ему близкая цель путешествия. Где-то здесь, между двух голых скал, поросших папоротником и лохматыми ёлочками, он найдёт уродливого младенца, Тенгри, с косами и усами бесконечной длины, которые кольцами и спиральями растекаются от него, вращаясь в почву корнями и прорастая наверх — мхом и всё тем же папоротником, и будет просить его сделать его, Нарана, деревом, чтобы расти рядом вечно. А младенец откроет рот, покажет зажатое между зубами (лошадиными!) второе стремя, о котором так сокрушался торговец, и будет смеяться. Наран облегчённо вздыхал, когда его выкидывало из сна, но когда засыпал снова, в него возвращался.

Наутро, мягкий, как глина, и совершенно не выспавшийся, он вновь тронулся в путь.

Поступь лошади всё время вела его вверх. Утренний туман съедал верхушки и без того невысоких деревьев, время растворялось там же, и казалось, что едешь в гору уже очень давно. Наран поднимал лицо вверх, чтобы проверить: не приблизился ли небесный свод настолько, что придётся рано или поздно познакомиться его с Нарановым лбом?..

Людей он так и не встретил. Да и кому может понадобиться жить в столь страшном месте? В таком месте, где о воде и еде не нужно заботиться совсем... наверное, люди здесь превратились в мох. Степь кнутом и побоями вылепила из них грозных властителей, правителей бесконечных табунов, морила их голодом и уподобила их тела по жёсткости своей плоти, а лица — по красоте своему лицу. Здесь же можно сесть под любой куст и насытиться ягодами, не прилагая к тому никаких усилий.

Вон, например, тот гриб, обрюзгший от собственной важности, с потрескавшимся телом, тоже был когда-то человеком. Сидел в своём горном шатре, ел с блюд подносимые ему ягоды... а может, вот такая же ветка жимолости прорастала ему прямо в шатёр. Он объедал её, закусывал пробегающими мимо мышами. И так и не заметил, как мох поселился на его пятках, а голова зачерствела и начала разбухать от спор грибов. Как начали выпадать один за другим волосы.

Наран сел, опустив руки. Силы вытекали из него, словно вода из кувшина с пробитым днищем. Веточка крапивы тут же залезла в карман халата.

Что ему теперь делать? Так же сидеть и ждать, пока природа обратит на него внимание? Он превратится в какую-нибудь уродливую корягу, чтобы в конце концов погрузиться под снег, и там, может, найдёт ответы на свои вопросы. Может, губы Йер-Су, сейчас сухие и потрескавшиеся, зашитые стяжками корешков и травы, с весной размягчают и снизойдут до разговора с ним. Во всяком случае никому не будет уже дела, сколько морщин и шрамов на той коряге, которой он станет. Птички, те маленькие красногрудки, что выпархивают искрами зари из логов, будут ковырять его кожу в поисках червячков, грызуны сделают под его корнями нору, муравьи проточат свои ходы, а паук сплетёт ему новый, нарядный халат. Уж там-то он точно будет на своём месте. И никто со своего места его согнать не посмеет...

В сумке Наран нашарил не догрызенную с утра заячью лопатку, не глядя, сунул её в рот. Как плохо, что рядом нет Урувая. Ему бы, с одной стороны, пришёлся по душе такой финал сказки. Он плох для самой сказки, но другу бы понравился, непременно. И, конечно, он захотел бы остаться рядом — и под снегом, и под солнцем, и принимая на себя осенний листопад они были бы плечом к плечу, и плечом к плечу ко всем остальным обитателям встречали бы ласковый взгляд Тенгри. Вот это и имел в виду старик, когда говорил, что Верховный Бог всегда смотрит на горы особенно пристально. Здешные люди ничего не делают и поэтому ближе всего к Тенгри. Грозовые тучи деятельности проплывают мимо них, а они созерцают их насмешливо из-под своих грибных шляпок. На земле у них нету дел, и поэтому глаза их открыты для неба...

Острейшая боль пронзила плечо, и Наран задёргался, пытаясь забрать кусок своего халата из зубов Уголька.

— Отпусти... отдай, говорю!

Юноша получил в лицо хвостом, в последний момент увернулся от копыт.

— Ты чего?

Конь просипел ему в лицо что-то нелицеприятное, что-то вроде «чтотыделаешшнесмгр-рзасыпать», и Наран застыл. Потому что увидел наконец между лошадиных ушей настоящих людей.

Чёрное небо загораживал от них Человек. Подлинно огромный. Он сидел на горе, правая нога была в той стороне, откуда приехал Наран, левая затерялась где-то неизмеримо дальше, в одном дневном переходе вперёд. Полы халата лениво колы-

хались, и, кажется, только одно это движение способно создать ветер, который сотрёт с лица земли и Нарана, и коня, и всё, что видят они вокруг себя.

Большой человек был занят довольно обычным делом. Рассеяно прихлопывая (звуков тоже не было, хотя, казалось бы, Наран должен был оглохнуть от грохота) рукой по колену, он играл на варгане, и, напрягая слух, Наран действительно различил далеко вверху музыку.

Лицо старика самое обычное, из тех, что пользуются почётом и уважением в аилах, а сами потихоньку начищают и чинят подошвы сапогов, готовясь отправиться в свой последний поход. Нос приплюснут, а губы тонкие и бледные.

С треском разошлась под лошадиными зубами ткань, но Нарану было уже не до таких мелочей. Они... гиганты? Запросто сидят на горах, играют на варгане, оставляют на земле следы, которые потом порастают тайгой, и на досуге соскребают грязь и копоть с небесного свода, чтобы солнышко светило ярче?.. Тогда как бы Нарану попасть к нему на плечо, чтобы выспросить дорогу к Верховному Богу на самую высокую гору? И нужна ли эта гора, если, просто забравшись на плечо, ты можешь расспросить небо, о чём только пожелаешь...

Или это сам Тенгри?

Да нет... мужчина совершенно не похож на вызывающего трепет Бога, один глаз которого смотрит в день, а другой — в ночь.

Наран перевёл взгляд обратно на Уголька. Тот, вяло работая челюстями, дожевывал клочок его халата и смотрел на хозяйина. Во взгляде его читалось осуждение.

— Мы не видели их из-за тумана, — Наран ткнул вверх. — Только посмотри, какие они огромные! И кони у них, наверное, такие же. На таких конях одним прыжком они могут перепрыгнуть с одного конца света на другой, а Великое море для них не глубже лужицы.

Большой монгол затряс головой. Видно, музыка не до конца удавалась.

Уголёк фыркнул и в сердцах топнул копытом. И вдруг начал расти. Раздвинул грудью ветки, одно копыто внезапно стало размером с маленького телёнка. Наран пукнул и, на карачках, не разбирая дороги, ломанулся через заросли. Затылок вспыхнул болью, оглаживаемый еловыми лапами, носки сапог зарывались в мокрую землю, а гриб неуклюже повалился на бок, растеряв свой моховый халат.

Когда он обернулся, отбежав, в сущности, всего за две ёлки, одно копыто Уголька было размером с хорошую юрту и напоминало выступающую из земли скалу. Большой монгол вскочил со своего камня, уронил варган. Рот его так и остался раззявленным, глаза раскрылись широко и превратились в два бледных озера. Уголёк показал ему зубы, мотнул головой и начал укорачиваться обратно, пока не достиг прежней величины.

Наран уже поднялся на ноги. Он хохотал, похлопывая себя по бёдрам.

— Ай да конь! Не зря я тебя купил. Слава твоему прежнему хозяину, ещё раз слава. Он хороший торговец. Умный конь, который может становиться гигантским так же легко, как я могу встать с колен. А ты посмотри-ка на того старика. Я думал, что это сам Тенгри. Это-то Тенгри? Смотри, какое выражение у него на лице. Смотри, как дрожат руки. Да такими руками можно орлов сбивать в полёте, а они дрожат...

Наран не сразу осознал, что изменилось в нём самом. Лицо ныло, как всегда после проявления эмоций, требующих от лицевых мышц какой-то особенной работы. В пустой глазнице свербело. Но эти ощущения были обычными, а было кое-что ещё: руки с ногами стали какими-то лёгкими, кровь застыла в венах, а потом будто бы начала течь в другую сторону.

Наран замахал руками и схватился за шею лошади. Они росли вместе, и земля осталась где-то внизу, ёлки превратились в ростки папоротника, а вокруг встали новые деревья, по-настоящему огромные, вокруг каждого ствола которого ещё пять минут назад можно было путешествовать годами. Наран, не в силах опустить веки, считал проплывающие сверху вниз, словно заходящие на посадку птицы, завязки на халате старика-монгола. Третья... четвёртая, пятая... седьмая... а вот шея, дрожащий подбородок и лицо с побелевшими глазами. Седые волосы.

— Кто ты такой? Демон!

Монгол потянулся за луком. Дрожащими руками попытался наложить тетиву, но у него не получалось.

Наран надул щёки, пытаясь справиться с тошнотой. Когда немного отпустило, сказал:

— Я не демон, добрый человек. Не нужно тыкать в меня своими стрелами.

С удовлетворением отметил, что голос у него почти не дрожит.

— Тогда кто же ты? И как ты и твой конь появились здесь, распоров и выпотрошив мой покой? Теперь мне придётся провести долгие ночи, запихивая его кишки обратно и зашивая живот. Долгие ночи без сна...

Наблюдая, как трясётся его голова, Наран сказал:

— Я скиталец степи, которого в шатрах привечают только по законам гостеприимства, а не потому, что я кому-нибудь хоть сколь-нибудь симпатичен. Я проделал долгий путь до этих гор, чтобы найти местных шаманов. Я искал здесь людей, но никого не нашёл. И воспользовался эээ... волшебным хвостом своего волшебного коня, чтобы в один миг очутиться перед тобой.

Говорить, что раньше он скитался по этим горам муравьиными шагами, Нарану не хотелось.

Старик неуютно потёр ладони.

— Твой конь действительно хорош. Я так и подумал, когда он очутился передо мной, чтобы разведать, куда перенесёт он своего хозяина: «Какой хороший конь...»

Наран крутил головой. Гора, на которой сидел старик, оказалась побелевшим от времени и наполовину гнилым бревном, через которое уже пробивались молодые деревца. Запах хвои ещё оставался где-то в лёгких Нарана, и сейчас его замечал промозглый запах мокрой листвы.

«Вот он — лес, — подумал Наран. — Жалко, что ты, дружище, этого не видишь. Но ничего. Мне будет, чем дополнить твою песню, когда вернусь...»

Над головой голые ветви рисовали поверх неба узоры. Не слишком высоко, да и не так густо стояли деревья, но, по мнению Нарана, этого достаточно, чтобы назвать всё это, всё вокруг, лесом. Деревьев было больше трёх и даже больше пяти.

В ветвях шумел ветер. Сквозь дырявые лопухи на них смотрела земля, подёрнутая кое-где изморозью и корочкой льда. В горах зима вступает в силу быстрее, и морозы наверняка сильнее выкручивают уши. Как, ну как он мог подумать, что жизнь для людей здесь сладка, как мёд?...

Старый монгол немного успокоился.

— Меня зовут У. Да, просто У и ничего больше. Ты хочешь спросить, почему такое имя? Мой отец был с востока, из далёкой страны Кхитай. И привёз короткие имена для всех одиннадцати своих детей. Мне ещё повезло. Мою сестрёнку, например, звали Ы... Чтобы оно было подлиннее, ты можешь называть меня Старый У. Десять зим назад меня называли

Зрелый У, а ещё раньше, я не помню уже, как давно, — Молодой У.

Он покряхтел, не то посмеиваясь, не то смущаясь.

— А меня зовут Наран, — ответил Наран. — Это — Уголёк.

— Значит, ты ищешь камов?

— Камов?

— Ты говорил про шаманов. Камы — так мы называем своих шаманов. Потому что они камлают, вызывая духов, — У сделал характерное движение, как будто ударяет в бубен.

— Наверное, их. Мне нужен самый сильный! Ты можешь мне помочь, седой человек? — Наран подумал и прибавил: — Наверное, это очень трудно, искать ваших шаманов. Я слышал, в поисках уединения они могут забираться на самые высокие горы. Но я надеюсь, что ты хотя бы подскажешь мне дорогу.

Старик отмахнулся.

— Сначала мне нужно найти свой варган. А камов полно везде. Их здесь словно червей в яблоке. И никто не хочет работать и охотиться. Всем только и подавай, что плясать да выпрашивать еды...

В последний момент Наран спохватился и полез проверять, все ли их с Угольком вещи перекочевали из того состояния, когда их может навьючить любой муравей.

«Горы — волшебные, — размышлял Наран. — Все подзревали это, но никто не подозревал, в чём их волшебство. Я пал духом и попал в их ловушку. У степняков есть поговорка: «Падший духом на голову ниже не падающего». Видно, в горах эта поговорка приобретает по-настоящему глубокую мистическую силу. Как же низко пал я духом, если стал размером меньше земляного жука?.. Спасибо Угольку. Он и вправду отличный конь.

Интересно, какие ещё сюрпризы готовят мне эти горы?»

Наран очень быстро начал находить ответы на этот вопрос. Он никогда не видел столько деревьев вместе. Старик У говорил «Деревья», и для любого степного жителя это слово было странно и почти незнакомо. Как далёкий дядюшка из другого аила, с которым виделись, может быть, раз в жизни в детстве. «Дерево» или, может быть, «Два дерева», «Три дерева» видели за свою жизнь многие, но столько деревьев сразу присутствовало только в сказках певунов и сказителей. И даже там это было много-много отдельных «дерево», стоящих вместе. «Раз дерево, два дерево и так далее столько «дерево» рядом,

что не хватит пальцев на руках и ногах у вас всех, чтобы их сосчитать», — говорил отец Урувая. Три струны моринхура танцевали под его пальцами в то время, как все остальные по привычке и лениво пытались вообразить себе столько «дерев» сразу.

Тайга же и вовсе оказалась чем-то невообразимым. О таком Наран не слышал даже от мужчин, которые, казалось, вечером перед костром получали сокровенные знания и могли судить запросто буквально обо всём — и так, будто бы видели всё своими глазами. Это было даже не много-много деревьев вместе, это было одно существо, большая мохнатая гусеница, цепляющаяся за землю множеством ствол-ножек, и непонятно, какая крона какому дереву принадлежит.

— Тайга, — резюмировал все его невысказанные вопросы старик У. Вложив в одно слово и повседневную скуку — мол, видели мы тайгу каждый день и увидим ещё не раз, в течение сотен и сотен лет — и насмешку над его, обитателя степей, удивлением. И толику должного почтения.

Воздух здесь был, как проклятый и оставленный хозяевами шатёр, брошенный, с провалившимся потолком, зашитым входом и забросанный землёй. Ветра не гостили здесь уже тысячелетия, он обрюзг и раздавался в стороны перед расправившим плечи Нараном (который решил, что всё необычное здесь стоит встречать грудью) неохотно. Земля холодная и скользкая, того и гляди уползёт из-под лошадиных ног. Перед любым подъёмом или спуском лошади собираются с силами, а потом четырьмя большими прыжками взлетают наверх. Или ухают вниз, перебираясь через какой-нибудь овраг, и тогда Наран вцепляется в гриву руками и зубами, ожидая, что уж теперь-то точно эта громадина поскользнётся и так глубоко помнёт его в грязь, что без палки-копалки не откопают.

— У лошадей в крови козлиная кровь, — неуклюже шутит он, и У отвечает флегматично, как торговец на лошадином базаре, уставший уже за день расхваливать свой товар:

— Хорошие лошади.

От земли поднимается и ползает, словно некое новорождённое безглазое существо, туман. Среди кустов папоротника проглядывают кисточки черники и гниющие брёвна.

— У вас здесь был дождь?

— Был. Недели три назад, — кратко ответил старик. — Здесь влажно почти всегда.

— Даже зимой?

— Зимой нет.

У, не торопясь, степенно достаёт самокрутку и огненный камень. Наран открывает от изумления рот, а потом вспоминает, что в горах, должно быть, этих камней видимо-невидимо. Высекает о кору ближайшего дерева искру, ловко раскуривает. Облако дыма за его спиной оседает, клубясь над пресмыкающимся-туманом. Едут дальше, и Наран тянется за стариком, как будто к кончику его носа привязали нитку. Любопытно, чем пахнет курево, но не уловить. Как будто бы ничем.

— Зимой всё замерзает, и здесь становится очень красиво. Всё из льда. Как идут кони, так стоит хруст на всю округу. Они, правда, так-то не забредают в тайгу, неча им тут делать. Но если вдруг забредут — всё. Пиши пропало.

У хитро косится на Нарана, и Наран заинтересованно водит носом.

— Как это?

— А так. У них же глазки по-другому устроены. Например, вверх они посмотреть не могут, поэтому небо видят только в отражении в пруду и думают, что оно где-то глубоко на дне, а деревья растут кронами в землю. Зато хорошо видят различные отражения и всё, что в этих отражениях отражается. Когда вокруг лёд, они путаются и не знают, куда идти. Где дорога? Везде дорога! Им кажется, что вокруг блуждает целый табун лошадей, хотя на самом деле две-три бедняжки. Так и уходят глубже в тайгу, а оттуда уже никто не возвращается.

Наран качает головой, а У улыбается. Рад, что ему удалось такой простой байкой развлечь иноземного попутчика, а задом и навешать ему на уши вьюнковых плетей. Он считает, растения хорошо там смотрятся.

Проехали по тайге совсем немного, и послышались частые хлопки. Наран подумал, что это какой-то ритуал, но потом увидел, что старик крутится с явным намерением кого-то на себе убить, и спросил:

— Что ты делаешь?

— Проклятые мошки... грызут почём заживо.

Старик продемонстрировал на ладони вяло трепыхающее крыльями и подёргивающее ногами насекомое с длинным, похожим на шило хоботком.

— А тебя что же, не грызут?

Наран пожал плечами.

— А, ну да, — неприятно пробормотал старик. — Степная шкура. Смотри. Может, у вас ещё и кровь, как у лягушек, замерзает зимой?..

Наран оглядел себя и заметил, как эти мошки безрезультатно пытаются прокусить его насквозь и взлетают ни с чем, иногда оставляя в его шкуре свои хоботки.

Старик бледен и похож на кусок коровьего сыра. Или на луговой мёд, в то время, как степные жители все как на подбор — тёмные, как мёд, что собирают здесь. Позже Наран понял, что, в отличие от степных жителей, жители гор все куда светлее. Им не приходится находиться весь день под солнцем, солнце для них светит только четверть дня, а всё остальное время светит для кого-то по другую сторону гор. У них такой же приплюснутый нос, но большие, дряблые ноздри, и волосы они предпочитают не заплетать в косы, а прихватывать специальными кольцами и прятать под одежду, чтобы не мешались. Жители степей усохлые, словно не куски мяса, а сами они лежали всю дорогу под сёдлами. От местных же жителей так и тянулась рука отрезать с боков по куску мяса, ещё один с живота и такой же на шее.

«Уруваю бы среди них понравилось», — с грустью подумал Наран.

Тайга выплонула их на открытую полянку, на дальнем конце которой виднелось поселение. Дальше снова начинался лес, а потом земля тяжело, словно отъевшийся гусь, уходила на взлёт и превращалась в горный пик. У сидел на лошади степенно и прямо, Наран же бросил повод и водил руками по волосам: ему казалось, что со всех сторон к нему прилипла паутина.

— Ты ведёшь меня к каму? — спросил Наран, когда они проделали половину пути до аила.

— Какой тебе кам? — неприветливо спросил старик.

— Самый сильный, который есть. Мне нужно спросить с Неба. Да так, чтобы оно ответило.

— Ах, вот как. Я веду тебя в деревню, чтобы накормить и напоить молоком, и уложить в своём шатре. Гость — большой праздник.

Старик был теперь такой мрачный, что, казалось, лоб его сейчас треснет и оттуда польётся желчь. Будто говорил не о радостном событии, а о падеже скота.

— Я приехал сюда найти кама, — повторил Наран.

— Конечно, — усмехнулся старик, разглядывая его пустую глазницу. — У тебя есть что-нибудь, чтобы оплатить ус-

луги проводника по гиблым горным тропам? Таким, где твой конь сломает три из четырёх своих ног, а пятой зацепится за молодую ель и сорвётся в пропасть? Таким, где едва проходят даже двойники, которые умеют путешествовать на небо и под землю?

Наран спокойно сказал:

— Нет. Но у меня есть что-то, чтобы оплатить услуги проводника по удобным горным тропкам, где мой конь пройдёт хотя бы и боком, где птицы вьют гнёзда так часто, что яиц можно насобирать и на завтрак, и на ужин. Но только по таким тропкам, которые приведут меня к лучшему каму.

Старик вытянул трубочкой губы, внимательно разглядывая Нарана.

— Ты не так глуп, как я думал. Но излишне юн и самонадеян. Лучшие камы не селятся там, куда легко добраться. Они лезут куда повыше, — старик сплюнул. — Кажется, будь их воля, они жили бы в дуплах сосен, как совы.

— Ты не прав, старый человек. Высоко забираются шаманы, которые хотят, чтобы их искали. Хорошие, опытные шаманы живут пониже и помогают всем, кто к ним приходит. Таких, может быть, не очень много, потому что все отправляются искать шаманов-козлов, которые любят на солнце сверху вниз и думают, что только поэтому стали лучше других.

На этот раз пауза затянулась так надолго, что Наран стал думать, что сказал невероятную глупость. Потом У кивнул.

— Ладно, как скажешь. Сейчас отдохнём, а потом отдохнём немного от отдыха. А потом можно будет идти.

— К проводнику?

— Искать твоего кама.

— Так ты и есть проводник?

— В горах не нужен проводник. Нужен кто-то, кто живёт здесь всю жизнь и умеет подмечать приметы.

Они въехали в аил, и навстречу, как в любом другом поселении, высыпали дети и собаки, шумная, галдящая стая.

Глава 12. Керме

К вечеру Керме свалилась с дикой болью в животе. Будто бы ежевичная ягода, которую она ненароком проглотила, проросла в желудке колючим кустом.

— Может быть, это от травы? — спросила она маленького. — От тех цветов, которые я ела?

Голос в голове окрасился тревогой.

— Но я ел эту траву много-много-много раз. Она хорошая.

Керме сидела, чувствуя лопатками, как то нагревается, то остывает ствол дерева. Мир плавал и вращался от этой боли, и девушка понимала, что, если даже поднимется на ноги, едва ли сможет сделать даже шаг. А если сумеет, вряд ли это будет шаг в нужном направлении. Скорее потерянная точка опоры заставит её шагать по стволу вверх.

— Мой желудочек любит мясо. Он никогда не ел траву в таких количествах.

— А теперь соки этой травы дали плохую кровь, — раздумчиво произнёс маленький.

— Наверное... — от нового приступа боли Керме ближе притянула к подбородку колени. В горле появилась горячая сухость. — Но это ненадолго. Посажу так, и всё пройдёт.

Маленький не отвечал. Он ушёл по венам вглубь тела. Керме чувствовала его присутствие, но так, как чувствуешь мерное движение челюстей овечки, касаясь шеи животного.

Голос вновь возник у неё в голове через некоторое время.

— Там всё полыхает. В твоих венах живой огонь, а сердце колотится так, будто ты обежала несколько раз по кругу всю степь. И там есть что-то ещё. Белая змея, такая скользкая, что не поймать ни руками, ни рогатиной. Огонь пытается её сжечь, но она пьёт твою горячую кровь, как воду. Остужает её и становится всё длиннее. Я её боюсь.

Керме пошевелилась. Она не знала, что сказать. Новости из глубин организма звучали неутешительно. Молчание затягивалось. Малый, похоже, ждал её ответа.

— Не бойся. Мы дойдём. Нам осталось недолго. Хоть доползём. Там, куда мы идём, есть шаман, чтобы спасти тебя?

Раньше она никогда не спрашивала, куда ведёт её листок-карта. К чему, если можно отдаться во власть ласкового ручейка, которым представлялся ей её ребёнок, и плыть себе беспечно, как листик по течению? Она всегда может ощутить всё на месте.

Маленький задумался. Глухой стук сердца сопровождал эту тишину.

— Там есть что-то очень хорошее. Что-то, куда нам нужно попасть. Если мы туда попадём, белая змея не будет иметь уже никакого значения.

— Выходит, ты сам не знаешь, что нас там ждёт?

— Не помню.

— Значит, мы туда дойдём и увидим, — Керме попыталась придать своему голосу уверенные и радостные нотки, но это едва ли получилось.

Малый продолжал:

— Я заберу всю плохую кровь в себя. Заманю её. Я знаю хорошую приманку.

— Что? Нет!

— Так нужно. Ты моя мама, и я должен тебя спасти.

Керме попыталась удержать в руках стремительно разрастающийся страх.

— Но ты же сам можешь погибнуть. Я запрещаю тебе это делать!

— Пусть так. Но ты не должна из-за меня страдать.

Голос отзвучал в голове и пропал. Тишина была так же ощутима, как тишина после громкого хлопка в ладоши. Керме закрыла глаза. Интересно, ищет ли её муж на своём быстром ветряном коне?

Лесная опушка подбадривала её птичьими трелями. Полы халата медленно намокали, соприкасаясь с сырой листвой. Керме запрокидывала голову и открывала рот, и древесные кроны поили её крупными каплями воды, посылая каплю за каплей и наблюдая, как те разлетаются брызгами о язык или о верхние зубы. Девушка подумала отстранённо, что, несмотря на всю её любовь к открытым пространствам, на всю ту жажду простора, которую воспитала в ней великая степь, она с удовольствием могла бы жить и в лесу, в хорошей компании. Здесь было тесно от толпящихся вокруг сущностей. Странно, как это, соприкасаясь друг с другом боками, они умудряются не производить грома.

Почти никому не было до неё дела. Они торопились по своим надобностям, застыв в бесконечном движении вглубь земли или, напротив, выковыривая из облаков остатки солнечного света. Несколько муравьёв заметили на тыльной стороне её ладони оставшееся с завтрака медовое пятнышко и теперь гуськом пробирались по рукаву к цели. Пролетающая мимо пчела тоже заметила сладкое и теперь кружилась над Керме, опускаясь всё ниже. «Наверно, она торопилась бы быстрее, если бы заметила муравьёв», — вяло подумала Керме.

А потом она почувствовала что-то, что заставило её тихо застонать от страха. Боль начала стремительно уменьшаться. Сколько Керме не пыталась поймать эту змею за хвост, она

каждый раз ускользала у неё из рук, преследуя более лакомую добычу.

Ноги наконец сумели выдержать её вес. Керме обхватила руками голову. Что теперь делать? Как помочь малышу?

Сколько ни размышляй, а остаётся только одно. Дальше следовать за изгибами жилок на кленовом листке. Можно попробовать вернуться к Тайне и её братикам: наверняка у них там есть толковый шаман. Но вряд ли она так просто найдёт дорогу обратно. Следы её, отпечатавшиеся в земле, к сожалению, ничем не пахнут, а прочие запахи вобрал в себя дождь.

О том, что по карте можно идти и в обратную сторону, Керме даже не подумала.

Спотыкаясь, она побрела дальше, вывернув уши наизнанку и прислушиваясь к ощущениям внутри.

Звала Растяпу, мысленно повторяя призывы до тех пор, пока не начала болеть голова. Пыталась пускать по ручьям крови, текущим вглубь, к плоду, накарябанные на кусочках бересты послания. Потом звала в голос и в конце концов перестала отличать голос, звучащий снаружи и бьющий по ушам, от голоса, что звучал внутри. Он не откликался.

Керме шла вперёд, пока вновь не проснулась резь в животе — на этот раз от усталости. Она забилась в чащобу, в кокон из паутины и, обняв колени и зарывшись боком в листву, попыталась уснуть. Поговорила немного с малышом, но никто не откликался. Потрогала живот, и ладони мгновенно вспотели. Будто бы там, в чреве, было не живое существо, а нагретый на костре камень.

Что-то неуловимо изменилось в её потаённом шатре. Овцы сгрудились у выхода, уткнувшись друг в друга носами, девушка ощутила их смиренное, дружное беспокойство. Угли остыли, и звёзды, огромные холодные искорки, которые, как Керме была уверена, нависали над дымоотводом, дали сок ночного холодка. Касание свешивающихся с потолка перьев к шее больше не вызывало улыбку — только испуг и краткий миг облегчения. Перья? Всего-то...

Какое-то время спустя она поняла, что случилось. Тот тёмный, полный загадок угол больше не тянул к себе. Он превратился в провал, оттуда поднимался и заполнял юрту затхлый воздух. Точно какое-то животное сделало подкоп под стенкой шатра. По пальцам ног пробежало какое-то насекомое, большой земляной жук свалился на плечо, заставив землю вздрогнуть и едва не перевернуть кверху ногами мир.

Там, у входа в проход, в ореоле из разбросанной земли лежало что-то большое, и, подкравшись поближе, Керме поняла, что это труп лошади.

Все эти загадочные вещи, которые хранил и которыми так дорожил маленький, тоже были там. Но они больше не казались привлекательными.

Только теперь запах разложения наконец добрался до её ноздрей и рта, заполнил всё её существо едкой жижей. Она согнулась, выплеснув всё это себе под ноги, и это выдернуло её в реальный мир.

Здесь, снаружи, действительно царилась ночь. Она проспала несколько часов, и, судя по спокойствию вокруг, утро уже близко.

Керме нарушила эту тишину, шумно напившись из какой-то лужи. Волосы намокли и отяжелели, она попыталась отжать их и заправить под одежду.

— Ветер, — плакала она. — Где ты, ветер? Приди ко мне. Мне так плохо.

Но никто не откликнулся. Ветра не было рядом уже долгое время. Может быть, он не мог зайти в лес и деревья становились поперёк его широкой груди прутьями клетки. Керме представила, как он беснуется на опушке, бросаясь на деревья и качая их своими огромными руками.

Она побрела дальше, уже толком не понимая, куда идёт. В ушах то возникал, то пропадал снова шум крови. Жидкость бурлила внутри неё, перекатываясь по руслу вен и водопадами обрушиваясь в глубины организма.

Шум крови теперь звучал непрерывно, и девушка почувствовала себя крошечной частичкой своего же тела, маленькой выпью, прячущейся в заросших берегах кровавой реки. Рёв этот закупоривал уши, кажется, что мимо, буквально в двух шагах, движется табун огромных сердитых яков. Можно было различить отдельные всхрапы, как через дряблые ноздри течёт воздух. Только вот животного тепла от них не чувствовалось, и пыль была не сухая, а холодная и мокрая. Керме зажмурилась, чувствуя, как с ног до головы её обдаёт ледяными каплями и как намокает одежда. Тело покрылось гусиной кожей.

О, нет, конечно же. Звук не внутри, а снаружи. Это на самом деле река. Вроде ручейков, в изобилии текущих по степи весной, но только гораздо, неизмеримо больше. Насколько больше и можно ли её перейти в брод, Керме не представляла.

Она впечатывала шаги в дряблую землю, вот-вот, ещё немного, и она почувствует воду, как внутри вновь возникло долгожданное и милое сердцу присутствие.

Керме сначала обрадовалась. Но потом почувствовала, как он слаб и как ему больно.

— Это бешеная вода. Не смей в неё ступать, лучше даже не купать в ней руки. Она может утащить тебя с собой и больше никогда не вернёт на твёрдую землю.

Голос был слабым, звучал так тихо и неразборчиво, что походил больше на стон. Накатила боль, заставив её вновь схватиться за живот.

— Не исчезай больше, — взмолилась Керме.

— Я делаю тебе плохо.

Керме сказала, пытаюсь успокоиться и осторожно подбирая слова:

— Но ты погибнешь, если будешь держать плохую кровь в себе. Она съест тебя изнутри. Моё сердечко побольше, может, оно справится с заразой — твоё не справится точно.

По телу, будто огромный паук, ползал озноб.

— Я делаю тебе плохо, — отозвался с той же интонацией маленький, и в голове девушки возник образ вонзившего копытца в землю и нагнувшего голову в своей обычной упрямой позе Растяпы. — Тебе нужно идти вдоль берега, пока не попадёшь в объёты огромных, вывороченных из земли корней. Это поваленное дерево, такое огромное, что по нему можно перейти на ту сторону.

Ощущение, что маленький здесь, рядом, повисело в её голове и растаяло вновь. В тёмном углу снова не было ничего живого, кроме мух над гниющим трупом лошади. Керме пошла, спотыкаясь и всхлипывая.

Как и обещал Растяпа, дерево она нашла. Залезла на скользкий ствол, села на него верхом и, перебирая руками и ногами, переползла на другую сторону. Один сапог сгинул в потоке, руки, кажется, покрылись корочкой льда, так что у Керме ушло достаточно времени, чтобы избавиться от второго. Земля обжигала холодом. Зато на истрёпанной, скрюченной и слегка хрустящей в ладонях кленовой карте, которая благополучно переждала переход через реку за пазухой, пальцы сразу отыскивали нужную жилку.

Впереди холм.

Керме с трудом забралась наверх, представляя себя насекомым, что ползёт по крутому боку яблока. Уселась на самой

верхушке, вдыхая запах перезрелого боярышника. Хотя степняки употребляют его в пищу сушёным, свежий тоже имеет свой аромат, неизмеримо более тонкий и приятный. Кажется, его можно продеть в игольное ушко. А потом тёмный угол в её собственном шатре снова наполнился смыслом. Кто-то сидел там, обняв руками колени, и она наблюдала за ним, затаив дыхание, не смея приблизиться.

— Я помню это место. Оно пустое, только несколько плоских камней в центре да жёсткая трава. И вокруг заросли боярышника. Это холм, откуда можно пересчитать все горные шапки в округе. Ночью над ним низко-низко нависает луна и носятся летучие мыши.

Керме продралась сквозь кусты, оставив на неожиданно колючих ветках клочки шкуры, выбралась в центр, где трава и впрямь была жестковата, и будто это не трава, а маленькие-маленькие рыбные косточки. Ощутила животное тепло, старелое, будто бы оно впиталось в загромок холма.

Она обо что-то споткнулась, упала, неловко и в последний момент завалилась на бок, чтобы не повредить малышу.

— Здесь ступеньки, — Керме встала на колени, руки отправились на разведку, осторожно ощупывая всё вокруг. — Неровные такие, будто из древесной коры сделаны... Кому такие могли понадобиться? И куда же ведут?

— А потом они обрываются, — маленький был уже в кончиках её пальцев, ощупывал вместе с ней странную конструкцию.

— Да. Две ступеньки — и половинка третьей.

— Это остатки лестницы в небо. Оставь её в покое, сейчас она никуда не ведёт. Странно, что мы можем её почувствовать. Она должна быть видима только для людей, которые наполовину здесь, наполовину там. Ты знаешь таких?

— Шаманы... То есть глазами её не пощупать?

— Нет. Я уверен, что кто-то другой не сможет её пощупать даже руками. Здесь давно уже никто не проводил обрядов. Лестница захирела и развалилась. Ступай осторожнее, здесь могут быть ещё ступеньки вниз, в подземный мир. А лучше — оставайся прямо здесь.

— Что?

— Я знаю, куда ведёт тебя этот смешной листик, — в голосе маленького не было и намёка на весёлость. — Я вспомнил. Там тебе ничем не помогут. Сейчас я уйду насовсем. Мне осталось недолго. День — и всё. После этого я выйду из тебя ком-

ком отравленной крови, и ты вновь будешь свободна. Лучше оставайся здесь. Здесь много пролитой крови, она будет подпитывать тебя, и поможет мне исчезнуть.

Керме почувствовала, как из глаз хлынули слёзы.

— Но я не хочу! — сказала она, но там, в тёмном углу, снова никого не было.

Керме вскочила, ухватившись за край верхней ступеньки, ступни оказались вдруг слишком маленькой опорой, чтобы удержать тело. Отчаяние влекло её, словно лавина, дальше, вперёд и вперёд.

— Я тебя не брошу, — шептала Керме. — Как ты мог подумать, что я тебя брошу?..

Глава 13. Наран

Наверное, горы — это огромный муравейник в степи. Людей там куда больше, чем можно встретить, всю жизнь кочуя от аила к аилу. Здесь совершенно другие правила: юрты здесь тоже возводят из войлока, но они куда реже покидают насиженное место, чем где-либо в степи, постепенно полнеют и отрачивают себе панцири из камней и древесины. Ходишь вокруг такой и разглядываешь со всех сторон, пытаешься понять, что это за животное и из какой тайги оно выползло, и самое главное: где здесь вход, пока с какой-нибудь стороны не колыхнётся войлочный порог и не покажется лысая голова монгола, вопрошающая:

— Чего ты тут шатаешься?

Они более приземистые, широкие и плоские. Такие, чтоб не уволокло ветром и чтоб внезапно обрушившийся с горы камень не смял юрту целиком, а всего лишь проделал в ней дыру. Идолов здесь не ставили, а обязанность поклонения богам целиком перекладывали на камов. Да и те просили о милости не напрямую у Неба, а перекладывали эту обязанность на своих многочисленных духов. У камов не было своего шатра в аиле, ютились они высоко в горах, так, что сам кам по прошествии десятка лет забывал, из какой деревни он родом.

К удивлению Нарана, к камам здесь относились с долей презрения и отзывались о них довольно грубо:

— Они много едят, и от них мало пользы. Только трясут своими костями попусту... вон, у Танагара не проснулась поутру жена, так до сих пор эти бездари ищут её двойника. Пока искали, где бедолага заплутал, нашли в тайге кости коня, которого ещё в начале весны потерял тот же Танагар. Он гово-

рит: отыщите жену, а они конские кости нашли... ну куда это годится? И ведь коня по весне тоже искали. А нашли собаку Уура. Медведь задрал. Уур её по хвосту узнал...

На полянках, если приглядеться, всегда можно заметить белые точки: то пасут овец, табуны отправляют на зиму в горы, самим искать себе пропитание. В степи, где по зиме постоянное перемещение служит залогом выживаемости, здешние порядки обложиться шкурами и зарыться как можно глубже в снег показались бы дикостью.

Они отправились в путь следующим утром. Старик сразу взял резвый темп, подгоняя свою лошадку пинками. Сама собой отыскалась среди деревьев тропа, белеющая голым камнем, и Наран живо представил, как долгие десятилетия лошадиные копыта сдирали с неё кожу и мясо, оставляя только кости.

Ехали в молчании, в желудке юноши впервые за долгое время переваривалось не добытое им самим, а сдобренное специями и поджаренное мясо. Хотя там была кровь, лис внутри него остался недоволен, он грыз Нарановы рёбра, вызывая в позвоночнике протяжную, ноющую боль.

Может быть, тут и не пахнет родными степями, может, колючий пейзаж взрезает Нарану живот, и он буквально чувствует, как ледяные шапки гор рвут на мелкие части кишки и ломают позвоночник. Но всё же здесь потрясающе красиво. Он и не помышлял, что такая высота возможна, что можно разглядывать аил сверху, будто бы уместившись верхом на облаке и свесив ноги. Воздух сам был как кусочек льда, его требовалось долго рассасывать, прежде чем удавалось получить немного кислорода, и сердце то замедляло свой стук, то снова ускоряло, пытаясь приспособиться к новым условиям.

Через несколько часов, когда солнце зависло прямо над пальцем скалы, на которую они поднимались, дорога милоливо предоставила им возможность передохнуть на развилке. Одна тропа по-прежнему звала их за собой вверх и со временем грозила превратиться в череду прыжков с уступа на уступ, другая ползла влево, огибая скалу и вяло помахивая пушистым от поросли папоротника хвостом.

Рядом с беспокойной, убегающей наверх дорогой, на плоском камне был намалёван какой-то знак.

— Что это значит?

У ковырял в зубах.

— «Трудная тропа к хорошему каму».

— И много там таких указателей?

— На каждом повороте. Ещё отмечены места, где тропа плохая и где нужно вести себя потише, чтобы не накрыло лавиной.

— А к плохому каму?

— К плохому не нужно указателей. Люди и так знают, как их найти.

Наран повернул коня налево.

Наконец они пришли на более или менее ровную площадку, окаймлённую, словно ожерельем, кустарником с синими ягодами жимолости.

На шестах здесь были развешаны шкуры, очень старые, проеденные насквозь солнечными лучами или, быть может, полевыми мышами. Солнце как раз было на их стороне и заглядывало то в одну, то в другую прореху, будто бы любопытный ребёнок.

— Место для камлания, — коротко сказал старик. — Мы уже близко.

Шкуры развешены по кругу, а в центре кострище с останками чьих-то костей. Вся растительность здесь была вытоптана, даже земля протёрта до самых костей, будто шкура на спине старого мула, для которого три четверти жизни проходят в упряжке.

Лошади жались к обрыву, обходя кострище по большой дуге, над ним в солнечных лучах танцевали мошки. На самом дальнем шесте, там, куда солнце ещё не добралось, Наран заметил важную и уже почти слепую сову, видимо, так и не полюбившую себе место для днёвки.

— Мы будем ждать его здесь? — спросил Наран.

У мотнул головой:

— Поедем дальше.

Кобыла его подустала и теперь тащилась сзади, а старик сидел на ней, грозно расправив плечи и оглядывая окрестности так, будто искал в окружающей природе хоть какой-то изъян, к которому можно было бы придраться.

Потихоньку вновь надвинулся сумрак, и Наран подумал, что той сове, возможно, место для ночёвки и без надобности — достаточно чуть подождать, и солнце скроется за какой-нибудь горой. Или потеряется в ветвях деревьев.

Дорога не самая лёгкая, петляет, бросаясь то вправо, то влево, как лань, которую вот-вот настигнут охотники, Наран напряжённо следил за её бегом, дёргая повод. Конь злился и

пытался донести до всадника резкими махами головы, что он сам не хотел бы сорваться в пропасть. И что он может миновать опасный участок без всяких сопливых указаний со стороны.

— Подними голову, — сказал со смешком У.

Наран поднял. И увидел прямо над собой густой, клубящийся сумрак, как будто кто-то, пересекая степь, поднял целое облако пыли, но только плотнее и сочащийся влагой.

— Что это? — он пытался пригнуться и слышал позади задорный смех. Кто бы мог подумать, что старик может так смеяться?..

Вот уже и лошадиная голова скрылась в этом странном тумане, а потом гора под копытами сделала очередной, отчаянный рывок вверх, подкинув их на подушке из диких колокольчиков, и они оказались внутри.

— Всего лишь туча, — отсмеявшись, сказал У. Он уже успел нырнуть следом. — Так весело всегда смотреть, как вы, степняки, пытаетесь увернуться от тучи. У нас так балуются разве что дети... Не бойся ты, ничего плохого она тебе не делает. Разве что голову помоеет.

Здесь дышать было трудно из-за скопившейся в воздухе влаги. Халат Нарана отяжелел, плащ мокро и жалко хлопал по крупу коня. Будто бы их вместе с горой окунули в огромное озеро, и теперь вода размывала всё на расстоянии в конский корпус, и даже деревья казались невнятными, танцующими тенями. Земля с мокрым хлюпаньем налипала на копыта лошадей. И с таким же звуком отваливалась.

Наран хватал воздух ртом, потому что носом дышать стало почти невозможно.

— Это что, те самые тучи, которые видно с земли?

— Да.

— Те самые, далёкие? Вестники осени, небесный войлок, в который оно, Небо, одевается, когда холодает? Не могу поверить!

— Вообще-то ты бы потише, — неодобрительно сказал У. — Здесь бродит гром, и всё, что шумливее его, он считает вызовом. Очень яростный гром. Ты хотел бы с ним посоревноваться?

Наран замолчал, хотя у него сложилось впечатление, что старик просто хотел заставить замолчать суетливого спутника и насладиться тишиной.

Тучу они миновали незадолго до заката, и почти сразу же У сказал:

— Мы на месте.

Он сбросил к ногам лошади сумку. Покряхтывая, спешил-ся сам.

Наран оглядел шатёр, опасно подползающий к краю скалы. Он подивился, как эту постройку до сих пор не смыло вниз во время какого-нибудь дождя, но потом подумал, что все дожди, должно быть, идут вниз, раз уж они прошли через облака, и отсюда легко можно плеваться туда, внося свой крошечный вклад в этот дождь.

Шатёр растянут между тремя коряжистыми невысокими соснами, кажется, их корни пронзили рыхлый войлок и шкуры, из которых сделано это жилище, насквозь и буквально пришили его к земле. Сосны старинные, очень живописные и как будто бы вырезанные человеческими руками; Наран был уверен, что у каждой есть собственное имя. Во всяком случае, если бы он, степная душа, мог здесь жить, он бы обязательно дал.

Повсюду вокруг видна деятельность существа, не до конца принадлежащего этому миру. У земли со стволов сосен в нескольких местах содрана кора, по голый, успевшей уже загрубеть коже тянулись рисунки красной и белой краской. Камни, раскиданные вокруг, тоже не походили на обыкновенные. Они словно специально сползли сюда со всей округи пощеголять формой. На некоторых виднелись рисунки, нанесённые той же самой рукой и краской, что и на деревья, а у одного на спине сверкало, как железная монетка, крошечное озерцо. Видно, туча, которая накрыла их по дороге, спустилась отсюда — на траве блестели капельки влаги.

Картину дополняло несколько старых кострищ, ворох прелой хвои, какие-то кости, клочки шкур. Шатёр расшит таким множеством нитей и щеголял таким количеством ленточек разного цвета, что был, наверное, самым пёстрым, что Наран видел в своей жизни, но вместе с тем довольно кособоким и давно уже намекал, чтобы поменяли полог и давно уже прогнившие стойки.

Коновязь изображала грубо вырезанную змею с человеческими ушами, с широкой трещиной посередине головы, и Наран пару мгновений посомневался, стоит ли привязывать сюда лошадь и что, если по возвращении он найдёт скакуна с перекушенными сухожилиями на ногах?..

Уголёк притопнул копытом и дал ему понять, что это уши коновязи скорее пострадают от его зубов.

Пока они спешивались, на лошадином языке уже шёл обмен приветствиями. Тощая колченогая кобыла, ни к чему не привязанная, отвечала на вопросы Уголька и коня старика унылым храпом.

Старик У, уперев в бока руки, обратился к кобыле:

— Эй, Тарам! Хватит делать вид, что замечаешь только лошадей. Мы тоже достойны твоего внимания, — и та повернула голову.

У пихнул Нарана в бок:

— Теперь проси, за чем пришёл.

— У неё?

Старик строго поправил:

— У него. Камы часто притворяются животными, чтобы быть ближе к тонкому миру и уметь видеть в дыму и в дожде послания от духов. Совами, лошадьми, собаками. Иногда орлами или норками. Ну, да я не знаю подробностей.

— Они и вправду такие могущественные?

Наран с трепетом разглядывал клячу, хотя ничего похожего на могущество в ней не было и в помине. Позвонки можно пересчитать прямо под шкурой, губы грустно отвисают, позволяя рассмотреть жёлтые зубы с большими просветами между ними. Уши в таком состоянии, будто бы ими поживился с десятков летучих мышей, отщипывая от них по кусочку хряща. Копыта с непропорционально большими роговыми наростами, такими, что стучаются друг об друга при каждом движении.

Нет, такого не может быть, чтобы камом было такое жалкое существо.

Наран прищурился, и сразу всё обрело смысл. Торчащие рёбра и живот, похожий на пустую бочку для кумыса, — от аскезы и для того, чтобы лучше путешествовалось по тонким мирам. Лестница в небо, наверное, хрупкая, недаром что невидимая, и на полный желудок по ней не пройдёшь. Уши сгорели в священном огне, а копыта такие тяжёлые и большие, чтобы шаман не потерялся на пути к небу и непременно вернулся на землю. Кроме того, их удобно — стук-стук! — использовать в качестве бубна, когда ты в животной шкуре.

У лениво потирал руки. Между пальцами у него зеленела очередная самокрутка.

— Конечно. Проси. Подношение можно потом. А можно вообще не давать — отдашь мне. Главное, дай ему понюхать. Камы питаются духовной пищей, это всем известно. Они могут есть глазами и ноздрями.

Наран выступил вперёд, ощущая, как по телу прокатываются волны трепета. Да! Это могущественный шаман, раз позволяет себе встречать гостей и просителей в животном обличи.

— Тарам! Я здесь, потому что просил этого человека привести меня к мудрому и могущественному каму. Я знаю, твоего могущества... — Наран ещё раз взглянул на выпирающие рёбра. — И жизненного опыта хватит на то, чтобы исполнить мою просьбу.

— Кто там зовёт Тарама, — послышался из шатра, как будто из-под воды, голос. Полог колыхнулся, и вышел старик ещё древнее и ещё скрюченнее, чем У. По правде говоря, хирее даже своей лошади. Он кутался в лошадиную шкуру, лошадиный череп, облепленный клочками шкуры, свешивался с макушки на правое плечо, хвост болтался между коленями, а лоскуты кожи, что обтягивали прежде лошадиные ноги, болтались по обеим сторонам от него.

— Ух, — сказал У невозмутимо, и самокрутка переместилась в уголок рта. — А я думал, ты конь.

— Я конь, — гордо сказал старик. — Разве не заметно? Так кто здесь звал могущественного Тарама?

— Я, — пролепетал Наран.

Он разглядывал старика. Высокие скулы, щёки такие впалые, что видно, в какую сторону двинулся язык. Из-под лошадиного черепа спадают на лоб птичьи перья. Нос приплюснутый и слегка свёрнутый на бок, отчего оттуда на верхнюю губу постоянно текут сопли. На щеках закрученные спиралью узоры нанесены той же белой краской. Уши обкусаны так же, как у кобылы, зато зубы под прозрачными губами, как ни странно, все на месте.

— О! Что ты хочешь от меня, черепашьё лицо? Ты принёс мне награды?

Старик за спиной Нарана возмущённо фыркнул. Несмотря на неумное желание подшутить над своим спутником, иногда довольно жесткое, его симпатии были на стороне Нарана. Странно. Он что, не уважает собственного шамана, проводника в иной мир и наделённого даром разговаривать с богом?

— Держи руки при себе, старик, — сказал У. — Этот юноша пришёл к тебе с просьбой, которую ты должен выполнить, а его милость будет зависеть от результата. И потом. Он не расплатился ещё даже со мной!

Теперь в сторону Нарана смотрели сразу две руки. Наран вздохнул, завозился с перевязью ятагана, что достался ему от

атамана, и вложил его в ладонь У. Та захлопнулась так, как может захлопнуться только крышка сундука, и старик довольно заурчал.

— Я побуду тут, пока вы не уладите твои дела.

Он отошёл и уселся на один из плоских камней, на котором были нарисованы молнии. Положил на колени оружие и принялся рассматривать рукоятку. Такое оружие было редкостью среди кочевых племён, и, видно, даже среди горных жителей его водилось немного. Хорошее оружие всегда в цене.

— Ну, хорошо, — кам опустил руку. — Ты желаешь разговаривать с духами? Просить их о чём-то? Может, чей-то двойник потерялся между небом и землёю? Или заблудился в подземном царстве? Может, у другого айла больше табунов, чем у вашего? Я вижу... о, я вижу что-то другое. Я вижу длинный путь и внутреннюю борьбу. Мне нужно подготовиться.

Наран открыл рот, чтобы ответить, хотя бы на один из данных вопросов, но кам уже скрылся в шатре. Он сказал У:

— Я думал, камы живут в почёте и сытости.

— Весь их почёт в том, что их боятся. Они как бешеные крысы, которых гонят из айла. Или восславляют и дают им корму, чтобы они селились не в юртах, а где-то рядом. Но чаще гонят с метлой.

Наран, который не понял, для чего крысам вообще селиться в человеческих жилищах, неопределённо покачал головой. В степи шатры переставляли с места на место так часто, что не каждое утро там заново успевал поселиться солнечный свет. Видно, здесь у крыс были другие порядки. Да и для чего их выгонять, если можно поймать, зажарить на костре и съесть? Любой степной житель так бы и поступил. Это большая радость, когда к тебе само ползёт мясо!

Наран сказал старику:

— Может, и правда стоило подняться повыше? Он похож на побитого пса. В нём же ни капли достоинства.

— Как пожелаешь. Дашь мне какого-нибудь шёлка и серебра, и я буду водить тебя по горам хоть до солнечного стояния.

Из шатра вдруг послышался голос, хриплый, ворчливый и похожий на воронье карканье.

— А в тебе достоинства столько, что переливается через край.

В голосе было столько злобы, что Наран отшатнулся. Он раскрытыми глазами смотрел на шатёр, размышляя, как это его прямо сейчас не унесло в небо.

— Тебе, который каждый день убегает от себя, чтобы спрятаться за доводами разума и запросами желудка! Тебе место не в степи! Тебе место — засохнуть в пустыне.

— Я останусь здесь, — шепнул Наран старику. — Спасибо тебе за услугу.

— Иди сюда. Мне нужны твои руки, — сказал уже тише шаман.

Внутри нужно было перемещаться воистину камским шагом — лёгким и почти незаметным для этого мира, каким, может быть, перемещаются тени и скачут с лопуха на лопух солнечные бурундуки. Словом, таким, чтобы опора вместе с частью стены не свалилась тебе на голову.

Запахи были знакомы Нарану ещё с шаманского шатра в родном айле. Только здесь они были гуще, как будто их поставили на огонь и хорошенько разварили. Он ступал осторожно, чтобы не потревожить предметы обстановки, прикорнувшие тут и там, словно большие и маленькие ящерицы. Всё это — одежды, шкуры, хрупкие поделки из костей — всё лежало на своём месте, и место это было в таком месте, где Наран никогда бы ничего не положил. Побоялся бы, что раздавят. Однако кам перемещался во всём этом так уверенно, что, казалось, легко мог бы ходить здесь с завязанными глазами. Сверху свешивались сушёные зубы, часто выкрашенные в чёрный цвет, птичьи и звериные глаза, похожие на засохшие ягоды.

Идолы в понимании любого монгола он здесь тоже не увидел. Зато из угла на него уставилась странная конструкция из костей, похожая на паука, только вместо головы у него был человеческий череп. И почти в центре шатра куча не то земли, не то пересушенного навоза, облепленная совиными перьями и выглядящая как большая сова, за тем лишь исключением, что место клюва занимала высушенная не то собачья, либо волчья лапа.

Наран не знал, были ли это идолы или нет и стоило ли их приветствовать, поэтому просто протиснулся мимо.

— Возьми бубен, — коротко приказал Тарам.

Наран покряхтел, разминая руки. Этот бубен размерами доходил ему до поясицы, круглый, как солнце, и с короткими метёлками-лучами, а колотушка напоминала дубину, перед которой не устоит черепушка ни одного зверя. Даже такого, который привык отвоёвывать себе место на земле рогами и крепким лбом.

Кам направил свои шаги в сторону, противоположную той, откуда пришли, и принялся сосредоточенно взбираться по тропе, состоящей из переплетения сосновых корней. Устался рядом с шатром, расстелив шкуры и завалившись спать. Наран кряхтел под тяжестью бубна, колотушку милостиво отобрал у него Тарам.

— Итак, ты пришёл просить себе новое лицо? Или, может быть, новое тело? Первое я дать не могу, а вот второе могу попробовать выпросить.

Наран, всё ещё чувствующий стыд за то, что не сумел удержаться за зубами язык, попытался загладить его подхалимством:

— Ты великий кам, если так вот запросто читаешь человеческие мысли.

Кам обернулся и строгим взглядом чуть не спихнул Нарана вниз.

— Стоило мне на тебя посмотреть, как я понял все твои помыслы. Понял так же, для чего ты преодолел половину степи и забрался так далеко в горы. Что ты хочешь? Летать, как птица, или, может быть, собирать с трав росу мышкой-полёвкой? Скакать по степи мустангом, до тех пор, пока какой-нибудь удалец-монгол не сможет тебя оседлать? Волчью, медвежью или леопардовую шкуру я тебе не предлагаю, уж прости. Слишком много возни, да и кто меня защитит от твоих когтей либо зубов после того, как ты станешь зверем?

— Это настолько обычно? Можно вот так, запросто, взять и менять существ телами?

Кам передёрнул плечами. При его комплекции и в лошадиной шкуре это выглядело довольно забавно. Лошадиная голова качнулась на плече, как будто хотела дотянуться до травы.

— Один кам попытался переместить сознание собаки в тело человека. Ничего хорошего из этого не вышло. А может, он просто недостаточно воспитал свою собаку. Но вообще, да, это не сложно. Если, конечно, на то будет воля высших сил.

Наран сказал:

— Мне нужно немного другое. Я хочу вот этим лицом предстать перед Тенгри. Поговорить с ним и спросить его. Я думаю, что моё лицо — это какой-то знак. Может, он не вернёт мне глаз и не заживит шрамы, но хотя бы скажет, для чего я живу в его мире.

— И всё? Ты хочешь, чтобы я проводил тебя на небо, к Богу всех Богов, к повелителю огня и самому высокому среди всех гор?

— Да.

Кам молчал так долго, что Наран засомневался, будет ли вообще ответ.

— Что же. Это будет большое путешествие. Такое большое, что даже твой двойник может состариться и умереть, хотя двойники не старятся и не умирают.

— Какой такой двойник?

Наран даже оглянулся, чтобы убедиться что рядом не шагает его точная копия. Даже пригляделся к листьям папоротника, которыми окаймлены обе стороны тропы. Шаманы рассказывали детям и ему в том числе: есть много невидимых существ, которые почти не взаимодействуют с этим миром. И поймать их можно, только заманив в папоротниковые заросли: листья его такие чувствительные, что беспокойно шепчутся даже под невидимыми и неосязаемыми ногами.

Из ноздри лошадиного черепа выползла и лениво улетела муха.

— У каждого существа есть свой двойник. У каждого! Они оберегают нас от всяческих болезней, а мы — привязываем их к этой земле. Мы и наш двойник связаны конским волосом. Такая взаимовыручка.

— Если я его спрошу, он ответит?

— Так могут только камы. Камы могут отвязывать двойника и отправлять по разным поручениям, но прежде учат его, как вернуться обратно. Бывает, что двойники теряются. Или их кто-то специально уводит так далеко от спящего, что они уже не могут вернуться обратно. Если человек не просыпается, значит, двойник его где-то заблудился.

— И что тогда?

— Тогда люди идут за помощью к нам. Мы камлаем и отправляем своего двойника на поиски.

После долгого молчания Наран спросил:

— Значит, ты сможешь сделать так, чтобы Тенгри посмотрел на меня? И услышал меня?

Кам беспечно помахал руками.

— Конечно. Тенгри большой, и вся твоя степь — всего лишь соринка в его глазу. Я поднимусь по небесной лестнице в небо, к самому его уху. Постучусь к нему в ухо — для этого у меня есть бубен — или подёргаю за мочку и скажу, что его желает видеть его преданный.

— Он прислушается? — спросил Наран. Им овладела внезапная робость.

— А ты принёс мне подношения? — прищурился Тарам.

Наран пошарил в сумке и извлёк горсть украшений, которые они с Уруваем нашли под деревом. Кам закрутил пальцем ус и поцыкал зубами.

— У тебя такие хорошие зубы, — не сумел не восхититься Наран. Вернее, не восхититься он сумел бы легко, но было бы неплохо побольше задобрить повелителя духов. — Даже у молодой лошади зубы хуже.

— Оо, — протянул кам. — За своими зубами я когда-то ходил в далёкое путешествие. Нашёл их все, хоть это и потребовало от меня отпустить двойника на целых четыре года. А самому это время провести в полной неподвижности. Так что? Это всё, что у тебя есть?

— Ещё есть каменная сова. Мы с другом сняли её с одной из веток растущего кверху ногами дерева Йер-Су. Она отлично приживётся у тебя в шатре.

Тарам недоверчиво подбросил бровь:

— Ты хочешь расплатиться со мной валуном?

— Не валуном. Каменной совой. Я столько раз пытался её потерять, но, похоже, она облюбовала круп моего коня. И только подумай, старик, она сидела на ветке кверху ногами! Разве тебе не нужна такая диковина?

Кам ответил в тон:

— Я думаю, твоё рвение достаточно для того, чтобы он к тебе прислушался. Хотя на твою каменную сову нужно ещё взглянуть.

Возник и придвинулся шум реки. Постепенно он стал настолько громким, что слова тонули в нём, как новорождённые щенки. Подъём, как стрела на излёте, превратился в склон, и Наран затаил дыхание, глядя в кипящую воду.

— Я первый раз вижу горную реку, — сказал он каму, приблизив к обкусанному уху лицо. — Она и правда похожа на пену изо рта скачущей лошади!

— Этот шум помогает мне разговаривать с духами, — проскрипел в ответ кам. — Давай сюда бубен.

Он принял у Нарана инструмент легко, будто миску с кашей, и одной рукой. Мышцы на циплячьих руках едва напряглись, в то время, как юноша пытался размять свои, затёкшие и с посиневшими венами.

Здесь не было ни развешанных шкур, сквозь которые солнечные лучи рисовали на земле замысловатые фигуры, ни совы. Внизу качались кроны деревьев, которые, словно улыб-

ка, разрезала река. Вокруг, на перекатах гор, уже лежал снег, а они с камом стояли на чистой площадке, окаймлённой кустами шиповника. Ягоды уже обобрали птицы и животные, но кое-где в глубине, среди маленьких круглых листьев, нет, да и сверкнёт красная искорка-ягода.

С севера напозлали тучи. Наверное, это один из последних дней, дней ранней зимы, когда они видят чистое небо, подумал с лёгкой грустью Наран. В аил в этом году он уже не вернётся. Ему придётся где-то здесь залечь на зимовку, и, если ни в одной из местных деревень, проросших корнями в скалу, не примут его, семя одуванчика, влекомое ветром надежды на исправление несправедливости, самому создавать себе убежище, пускать корни в промёрзлую почву...

«Постой-ка, — сказал себе Наран. — Так ведь ты, юноша, готовишься разговаривать с самим Тенгри. Кто знает, будет ли в тебе вообще течь после такого разговора кровь? Или — не придётся ли от стыда и отчаяния броситься отсюда в кипящую воду?» Если ничего не получится, если небо будет глухо к его голосу, может быть, захочется отдать рыбам то, что не сумел забрать с собой на небо стервятник.

Страх вернулся, заставил колени трястись, как зайцев перед раздвоенным языком питона, и Наран, устыдившись, позволил им усадить себя на землю. Сложил руки на коленях и стал смотреть, как кам готовится к церемонии.

Зазвучал бубен. Тарам колотил в него со всей силы, и никакого намёка на ритм, о котором всегда так радел Урувай, не было и в помине. Дряблая рука выколачивала из протёртой кожи звуки, и, словно подчиняясь ей, кам начал свой странный танец. Тело, ноги — всё двигалось, избегая всяческого ритма. «Если бы мог, — подумал Наран с беспокойством, — он бы, наверное, разорвался на несколько частей». Вдруг разом начали звенеть колокольчики и всякие железяки, подвешенные к бубну. На поясе, на груди выпутывались из складок материи пришитые к одежде колокольчики, словно птенцы из яйца, начинали истерично звенеть, требуя пищи.

Какой пищи могут требовать такие вот, железные, птенцы? Наверняка духовной.

Лошадиная шкура легла на землю бесформенной грудой, и кам остался в халате. Присовокуплял ли он к своему танцу какие-то слова или песни, как делали это шаманы в степи, Наран не слышал за шумом реки, но рот у него открывался, и между зубами полоскался красный язык. Один из усов при-

лип к нижней губе, но кам не замечал, зрачки его сменились желтоватой белизной желтков, и ноздри раздувались, как и положено, когда всё остальное тело сходит с ума: одна больше, другая меньше.

На Нарана уже напала сонливость, когда внезапно всё прекратилось. Кроме, конечно, шума воды. Кам застыл в неудобной позе, и зрачки вернулись на место, хотя при этом каждый смотрел в свою сторону.

— Возьми мою шкуру, — сказал он хрипло и очень громко. Громовой голос тёк через хрупкое тело, так, что казалось, будто всё держится на нём, как на скелете.

Наран вскочил, бросился исполнять получение. Шкура оказалась очень тяжёлой, так, что с первого раза её поднять не получилось.

— Выверни её наизнанку и накинь мне на спину.

Кам так и стоял в неудобной позе, как будто боялся двинуться. Руки едва повиновались, плечи дрожали от тяжести, юноша закусил губу, трогая языком шрамы. Будто бы пытаешься поднять коня. Кое-как извернувшись, он исполнил порученное, и кам расслабился, будто одежда освободила его от необходимости чувствовать тяжесть чего бы то ни было — в том числе и тяжесть обязательств. Тарам тряхнул плечами, по шее пробежала дрожь облегчения, губы сложились в слабую, слегка перекошенную улыбку. И превратился в птицу.

Только теперь Наран заметил, что на изнанке шкуры нашиты белые перья, нашиты так часто, что кажутся пенной шапкой, оброненной рекой на вершине горы. Перевернутый лошадиный череп действительно напоминал остов клюва, тем более что с этой стороны на него были нашиты большие, раскрашенные птичьи глаза из войлока.

— Сейчас я поднимусь в небеса, — доверительно шепнул Нарану кам. Лицо его дёргалось, один глаз гулял где-то в стороне, периодически обнажался жёлтый оскал. По подбородку текла слюна. — Следи за мной внимательно. Ведь ты там тоже в какой-то мере будешь.

Танцующими птичьими шагами он принялся прохаживаться вокруг, неритмично стуча в бубен ладонью, а Наран пятился на край полянки и там, не глядя, опустился на землю. Скрылось солнце, послав напоследок ласковые лучи, и тут же подул ветер. Вечерний сумрак с готовностью занял своё место, и большая птица заволновалась, поворачивая голову то вправо, то влево — резко, как принято это у птиц.

Хлопнула крыльями и сделала первые шаги по лестнице, ведущей в небо.

Наран её не видел, но какими-то чувствами почувствовал, что она есть. Кам шагал по ступенькам широкими цыплячьими шагами и при этом оставался на земле, но так и хотелось поднять подбородок, чтобы провожать его глазами выше и выше... хлопал крыльями, кричал птичьими голосами, перекрывая даже рёв реки. Колокольчики, которые целыми семьями гнездились среди перьев, позвякивали, едва успевая внести свои ноты в общую музыку. И, конечно, опять не попадая в ритм.

Для шаманов степей связью с Тенгри всегда служил костёр. Из искорок, отправляющихся напрямик на небо, они ткани ему послания и потом долго танцевали вокруг кострища, выкрикивая бессвязные песни и ратуя за то, чтобы эти письмена по воде благополучно были увидены Богом всех Богов. Здесь никакого костра не было, и Наран подумал: «Да он на самом деле идёт разговаривать с богом лично...»

Он поёрзал, и в спину впилась чьи-то когти. Обернулся резко, так, что с головы слетела шапочка. Кусты боярышника, которые до этого сонно накручивали на ветки солнечный свет, вывернули наружу все свои шипы. Ничего мирного в них не осталось: они походили на разъярённых зверей, застывших перед прыжком. На двух или трёх шипах Наран увидел ещё живых и шевелящих крыльями мотыльков, а ягоды напоминали глаза навывкате, перетянутые частой-частой сеточкой вен.

Проткнувший одежду шип будто бы впрыснул в кровь толлику страха. Наран на четвереньках отполз к центру круга, где, похоже, ступеньки становились всё более крутыми, и каму приходилось на каждую взлетать, высоко подпрыгивая и отчаянно хлопая крыльями. Так, будто шагает не по ступенькам — а по вершинам скал.

Мир натянул себе на голову покрывало из облаков, словно наслушался перед этим страшных сказок от мамы. Розовый закат умер, и луна выпала из-за горизонта, несуразная и неровная, словно лепёшка. Рёв реки теперь слышался, казалось, со всех сторон сразу, будто бы гору, на которой происходило камлание, она окружила кольцом.

Кам выпрямился, словно его вдруг натянули вместо струны на морин-хуур, сквозь сцепленные зубы просочился не то всхлип, не то хриплое карканье. А затем сложился, словно

перерубили позвоночник, и кулем свалился с высоты в пять человеческих ростов на землю. Наран ощутил под ногами явственный толчок. Бубен откатился в одну сторону, молоточек улетел в другую. Колокольчики отозвались жалобным звоном.

Он ждал, нервно трогая ногой перед собой землю и раздумывая, не подойти и не проверить ли, жив там старик и часть ли это ритуала. Ничего не происходило. Выглядывала через сеточку туч луна и подсвечивала летящие снизу брызги.

Наран прожевал и проглотил свой страх, поднялся на ноги, пытаясь прогнать воспоминание из детства, как он вот так же вместе с другими мальчишками крался к спящей дряхлой собаке. Это была большая собака, но на самом деле очень старая. Задача была — дёрнуть её за ухо или за хвост и успеть выскользнуть из-под беспорядочно щёлкающих челюстей, что было несложно, но изрядно подогревало мальчишкам кровь. Так случилось, что собака испустила дух от злости именно после того, как очередь «злить Клячу» подошла к Нарану, и это были не лучшие воспоминания в его детстве. По сути, хороших воспоминаний водилось там не так уж много. И едва не бросился наутёк, когда кам поднял ему навстречу голову — голову белой вороны, с облезлым клювом и глазами, похожими на бесконечно глубокие дыры в чёрной земле.

Из него полилось нечленораздельное бульканье. Клюв раскрылся, вывалился язык. Постепенно оно стало складываться в слова.

— Что... ты... хотел... от... меня.

Слова выпадали из раззявленного рта одинаковые, интонации не было и в помине.

Ноги отнялись, и Наран уселся прямо на задницу. Он разглядывал красные отметины вокруг ноздрей, плешь под клювом, открывающую морщинистую кожу.

— Ты... Тенгри?

— А... кто... ты... такой... ужасный? Я... рожал... многих существ... но... таких... никогда...

— Да! — юноша собрал всю свою волю в кулак. — Я уже десять лет живу, видя лишь одним взглядом. Скитаюсь, неприкаянный, пытаюсь зацепиться сердцем хоть за что-то.

Существо молчало, блуждая бессмысленным взором. Больше всего сейчас Наран боялся встретиться с ним глазами.

— Может, ты скажешь, что я должен сделать для тебя, — жалобно сказал Наран. — Может, являться детям в ночных

кошмарах? Я сделаю всё, что ты скажешь. Для чего ты меня так изуродовал, да ещё и оставил жить? Должна же быть какая-то цель...

— Я... знаю... твоё... предназначение? — сказала существо, веско бухнув в конце вопросительную интонацию, и расхохоталось хриплым хохотом. — Я... создатель... неба... и я... покрыл... землю... своим... семенем... Зачем... мне... знать... твоё... предназначение... жалкий...

С каждым словом Наран всё глубже погружался в пучину отчаяния, пока неожиданно не обнаружил на самом дне злость.

— Тогда, может, ты сумеешь своей силой вернуть мне прежнюю внешность и, если не глаз, то хотя бы один ус? Посмотри на моё лицо! Оно ужасно, оно, словно страшная камская маска, отпугивает людей...

Сверху глаза существа казались подёрнутыми мутью, словно у старой рыбины, кончившей свою жизнь в сетях.

— Ты... шёл ко мне... прячась... под масками. А теперь... ты хочешь... чтобы я смотрел на твоё настоящее... лицо?

После каждого слова он припечатывал Нарана к земле своей яростью. Нарану показалось, что вокруг уже дымится земля и что он сейчас возьмёт и провалится в подземный мир — навсегда. Существо зашевелилось, попыталось подняться, опираясь на крылья-руки, но клюв перевесил и неуклюже ткнулся в землю.

— Но ведь ты его сотворил! — попытался оправдаться Наран.

— Я... — существо захрипело, кашель невообразимым образом сливался с карканьем, до самой земли свесилась ниточка слюны. — Отлил ту руду, из которой получился ты. Твоё сердце несёт на себе отпечатки моих пальцев. Твоё лицо содержит отпечатки судьбы и твоих же собственных действий.

— Так измени её! — заорал Наран, чувствуя, как рубцы начинают щипать слёзы. — Зачем мне такое сердце, когда у меня нет лица и все смотрят на меня с жалостью — в лучшем случае — или же с отвращением! Или убей меня. Да! — Наран ударил себя в грудь. — Убей. Я шёл сюда навстречу зиме, презрев опасности и погнав от себя прочь единственного друга. Меня стало в два раза меньше, когда он ушёл.

— Этот... большой... человек...

Наран грустно поковырял в носу. При мысли об Урувае на него вдруг напало отчаяние.

— Ты прав. В три раза меньше. Я не ценил его, думал, что он сможет послужить моей славе вдали от меня, в то время, как он хотел быть рядом и послужить мне самому. И вот теперь мои надежды обмануты. Мне больше ничего не остаётся, как погибнуть под копытами белогрудой кобылы-реки.

— Ты... не ценишь то... что я... для тебя сделал, — тихо сказал кам. Вокруг его головы кружились мухи, садились туда, где среди перьев проглядывала розоватая кожа. — Я убью тебя... Вырву... твоё сердце... и... вложу... его... в тело... другого... существа.

Он собрал всю мочь слабосильного тела и сел, раскинув ноги. Они тонкие и голые, и не принадлежат ни птице, ни человеку — так, нечто среднее. Пальцы человеческие, однако непомерной длины и их всего три. Конечности, а следом за ними всё тело ходили ходуном, как локти молодой берёзы на осеннем ветру; голова всё время кренилась вниз, и существо выставило одну коленку, на которой уместился клюв. Коленка тоже оказалась костлявой и непомерной длины. Он размышлял вслух, и речь с каждым словом удавалась всё лучше:

— Да... другого существа. Такого... которое не смеет... повышать... голос... на своих создателей... сотрясать криком мир богов и духов... Не смеет отбиваться от стада... и ни жеста не может сделать... поперёк воли старших... Такая... шкура... послужит... тебе... неплохим... уроком.

Наран попытался вообразить себе то, о чём говорит Тенгри, но прежде попытался запротестовать. И осознал, что потерял дар речи и что вместо слов изо рта вырывается невнятное блеяние. Лисья натура металась где-то в глубине сознания, загнанная взглядом выпученных белесых глаз в дальний угол.

— Это... ещё не всё... — существо загнуло палец на левой ноге. — Раз! Я оставляю тебе память... Ты будешь помнить свою предыдущую жизнь... вплоть до последних секунд. Два! — второй палец присоединился к первому. — Ты будешь иметь... непомерно... длинную жизнь. До тех пор... пока не погибнешь от чьих-нибудь когтей... или зубов. Но, следуя своей природе... малодушной и трусливой... ты не сможешь умереть по собственной воле. И если тогда ты сумеешь приползти ко мне... уже с большим почтением... я, быть может, прощу тебя...

Наран попытался что-то сказать своим новым визгливым голосом, но было уже поздно. На вершине горы, опоясанной белым поясом реки, оставшимся незагнутым пальцем существо распороло человеку шею.

Камлание подходило к концу. Покров из перьев и костлявый старик снова были порознь. Среди кустов наметилось первое движение, где, взмахивая крыльями, порхал заблудившийся между колючек и маленьких круглых листочков белокрылый мотылёк. Летучие мыши, чуя запах крови, носились над холмом.

Глава 14. Керме

Керме поняла, что пришла. Тропинка свернулась у её ног и тяжёло дышала, высунув язык, словно старая собака. Девушка ощутила близость человеческого жилья, тёплый дух его витал над полянкой (Керме почувствовала бы, если бы над головой были кроны. О нет, там было небо, и до ближайшего скопления деревьев отсюда было довольно далеко). Дорожка под ногами была смирной и прирученной, даже встречные камни приглашали на них посидеть. Резь в животе и не думала утихать, но Керме не поддавалась.

Позволяла вести себя дорожке до тех пор, пока не почувствовала руками резную коновязь, треснувшую посередине. Сосны склонились перед ней, коснувшись кронами земли, и Керме протянула им руки, совершенно ожидаемо ощутив на двух стволах черты лица. Носы с бородавками, лепёшки-губы из древесных грибов. Брови из коры.

— Привет, мои хорошие, — сказала она, совершенно не удивляясь ожившим деревьям. Боль в чреве и тина в голове избавили её от возможности удивляться таким вещам.

Между соснами возвышалась громада, и девушка поняла, что эта громада — шатёр, к которому она шла. Та самая проеденная гусеницей дырочка в кленовом листике.

— Есть здесь кто? — позвала она, комкая карту в кулаке.

И тут же пришло осознание, что вряд ли её голос способен извлечь хоть какой-нибудь ответ из этого затхлого жилища.

Руки с трудом нашарили откинутый полог. Его перекосило, так, что пришлось нагибаться, чтобы попасть внутрь. Под ногами хрустели сухие листья, спрятавшиеся здесь от зимней непогоды ещё прошлой или позапрошлой осенью. Сонные кузнечики, коих здесь, кажется, было целое поселение, прыгали из-под её ног в разные стороны.

— Спасите маленького, — услышала она свой голос. Шатёр вздохнул и приблизил к ней свои стены, заставил полуистлевшие, неопознанные вещи двигаться, перебирая калечными ногами.

Кажется, здесь ночевал какой-то крупный дикий зверь. И не раз. Полог разодран когтями, внутри застарелый запах животного, разрытая земля и хвоя. Для барсов здесь слишком холодно, кабаны предпочитают низины.

Резь в животе усилилась, и Керме завалилась на бок, подтянув к груди колени. Потихоньку, как белка к разложенным нерадивым путником продуктам, подкралось осознание, что здесь давно уже никто не появлялся, никого, кто мог бы ответить на её зов. Даже лица деревьев, наверное, были порождены тем ядом, что затуманивал сейчас её разум.

— Кого ты зовёшь? Здесь нет никого. Только кости.

Первое время Керме показалось, что это очередной ни к чему не привязанный звук. С детства она слышала множество звуков, которые не могла связать ни с одним животным или явлением. Какие-то из них Время и суровый монгол по имени Учение поставили на место. Но бывали и такие — в том числе и голоса — которые непонятны ей до сих пор.

Тем не менее она решила ответить.

— Я ищу... хоть кого-нибудь, кто может мне помочь.

— В халате кама, который жил здесь, уже два десятка прорех. По одной прорехе каждую зиму. Его кости покоятся в кургане за рекой, и глаза его взошли черничными кустами.

Голос существовал в шатре совершенно естественно, так, что Керме начало казаться, что язык, нёбо, гортань и прочее совершенно необязательны для него. Он был не строгим и не ласковым, не грубым и не мягким. Он просто был.

— Что же мне делать?

Керме напряжённо вслушивалась в тишину. Но на этот раз ответом ей было только вялый стрекот кузнечика над ухом.

А потом возник второй голос. Резкий и крикливый. С таким, наверное, очень удобно работать на лошадином базаре: тебя будет слышно отовсюду. Но, правда, не совсем понятный. Владелец его, видно, имел очень длинную шею, по которой слова перекатывались, прежде чем находили выход. А некоторые застревали или проваливались обратно.

В шатре вдруг стало тесновато. На шее выступил пот, дышать стало труднее, и девушка поняла, что кто-то стоит прямо у входа. Отгораживает её от потоков свежего воздуха. Один из двоих был очень полным. Привычку отъедаться и полнеть обитатели гор имеют зимой, когда приходится согреваться собственным мехом, тем, что внутри, под гладкой шкуркой.

— Будь помягче, друг мой, — ответил ему первый. Он тоже постепенно обретал массу, будто войлочное одеяло, которое вымочили в кипятке. — Девочка на пороге смерти, и некому помочь ей, кроме нас.

Керме он нравился. Человек с таким голосом мог ловить в ручье рыбу не на обед, а просто так, чтобы затем её выпустить. Такой человек мог пускать в свой шатёр играть детей и с улыбкой смотреть, как носятся они вокруг. Он должен быть в меру старым, умудрённым годами. Конечно, у него должны быть седые волосы. Наверняка седина венчает его голову, как корона.

— Да, ...тец, — пропыхтел второй. Части слов, не находя выхода наружу, валились обратно в его бесконечное горло. — Боюсь только, если она нас видит, то остаётся только запрягать ей в дальнюю ...орогу одного из наших коней.

Керме не поняла слов, но услышала в голосе беспредельное уважение. И ей понравилось, что седого называют отцом.

— Она нас не видит. Дай лучше мне воды... нужно напоить страждущих. Хочешь пить?

Хрустнул валежник под ногами, прынули, словно испуганные мыши, за движением листа. Нет, этот худой. Под ногами полного человека земля хрустит по-другому. Керме почувствовала у себя на затылке руку, такую холодную, что только жалкие остатки сил, которые требовалось сберечь на дыхание и глотательные движения, помешали ей отдёргнуть голову. Жадно глотнула из поднесённой к губам фляжки. Такой вкусной воды она не пила никогда.

Керме размышляла: нет, всё-таки этот человек связан не из мягкой овечьей шерсти. Руки у него такие, какие могут быть только у воина. Даже у Ветра ладони помягче, хотя, казалось бы, кожу на них годами вытирал воздух разных стран, от жаркой Аравии до холодной Урусии.

Полный монгол остался у входа. Органы чувств доносили до Керме, как шевелится вокруг ног плащ, когда он двигает плечами. Кажется, он только теперь заметил её слепоту. Скрипнула под подошвами земля, он наклонился вперёд, разглядывая лицо.

— Как ты ...обралась сюда? Я не видел ни лошади, ни проводников снаружи. Сороки рассказывают только об одном ...еловеке, что поднялся на холм ...амана. И как тебя зовут?

Керме растерялась. Она вдруг поняла, что перестала понимать, в каком шатре звучат голоса. Здесь ли, где она лежит на трухе и истлевших одеялах и чрево её кричит от боли так, как

будто его режут ножом, или в том, что в её голове. Овцы там сгрудились у дальнего от входа полога, но с ними вместе был не страх, а ожидание чего-то светлого и прекрасного. С другой стороны, в тёмном углу у лошадиного трупа вместо хвоста выросла вторая голова. Там жужжали мухи, так пронзительно, будто у каждой было по визгливой флейте. От этого звука рухнули какие-то преграды в теле, и порция боли хлынула через горло в голову.

Девочка подавилась вдыхаемым воздухом. Сказала, делая паузы между словами:

— Меня зовут Керме.

— Белка, значит... Слепая белка. Поведай же нам, как ты сюда попала?

— Мне показывали дорогу прожилки на листе. Я шла туда, куда тянулись корни сосен. Бежала следом за рекой. А когда я боялась, меня вёл за руку муж мой ветер.

— Ты на самом ...еле очень храбрая, — скрипуче сказал полный. Он, должно быть, знал, какое впечатление оставляет голос у людей, поэтому старался говорить потише, но отдельные звуки всё равно получались громкими. — Наверное, в степи только и складывают песни, что о слепой белке, и в каждом аиле считают тебя своей дочерью, и гордых отцов наберётся несколько десятков. Зачем тебе был нужен тот старый кам? Я неплохо ...ал его в своё время.

— Чтобы спасти моего маленького. Он умирает.

Керме кое-как села и положила обе руки на живот, пытаясь ощутить ток крови. Седой чуть отодвинулся, но остался сидеть на корточках рядом.

— Ты больна? — спросил он.

Девушка дёрнула подбородком, и выбившиеся из косы волосы прилипли к влажным губам.

— Это его что-то грызёт изнутри. Наверное, какая-то зараза. Что-то вроде жабы сидит в его сердечке и дрыгает лапками. Но тут, конечно, виновата я.

Керме прекрасно умела чувствовать настроение овец. Они смотрели на пришельца с восторгом и обожанием, и словно бы с некой надеждой. Здесь, в её голове, он разулся — по-простому, наступая носками на пятки сапог.

А в настоящем шатре пусто. Тяжёлый животный запах, начисто обглоданные кости каких-то зверьков. Куча засохших экскрементов совсем недалеко. Все эти голоса ей мерещатся, подумала Керме. Попыталась нащупать языком на губах хоть

каплю воды, которой её недавно поили. Может, белая змея, которая путешествует по её крови, уже убила малыша, проникла в голову и всюду развлекается, рисуя в её воображении несуществующих людей.

Знали бы ещё эти люди, что их не существует...

По шелесту шагов Керме поняла, что монгол прогулялся по шатру и присел на подушки для гостей. Конечно, в шатре в её голове были самые мягкие и самые душистые подушки, которые только можно вообразить. Всё там было ей по душе, кроме гниющего трупа лошади и этих мух.

Длинношей остался стоять на пороге. Он пыхтел себе под нос, видимо, оглядывая её обитель, и качал головой. Кто бы мог сказать: одобрительно или же с укоризной?

Седой спросил:

— Может, ты простудилась? У тебя лицо степной дочери. Может, холодный горный воздух пришёлся тебе не по нраву?

— Я не знаю, — Керме чувствовала, как по щекам её катятся крупные слёзы. — Он больше не разговаривает со мной. Он забрался в свою нору со змеями и засыпал вход. Отрава не попадает больше в мою кровь, но и моя, чистая кровь, не может к нему пробиться. Я знаю, как ему больно. У меня болит всё так, будто муравейник злых муравьёв грызёт меня изнутри, но это лишь отголоски той боли, которую испытывает он.

— А раньше — ...азговаривал? — в голосе длинношеего проснулось удивление. Правда, на какой-то краткий миг оно показалось Керме наигранным.

— Конечно, разговаривал. Ты, может быть, не знаешь, но все маленькие разговаривают со своими мамами.

На самом деле Керме была вовсе в этом не уверена. Но её вдруг стал раздражать этот толстяк, хотя она по-прежнему обращалась к нему с отчаянной надеждой. Ей больше не к кому было обратиться.

— И что же он тебе говорил? — спросил седой.

О нет, он никуда не прошёл, да и нет здесь никакой подушки для гостей. Останки заговоров и черепки давно минувших чудес, которые шаман когда-то водил за собой, словно послушных лошадей. Стоит здесь, рядом, брезгливо трогая носком сапога истлевшие ковры, смотрит на неё. Может быть, в задумчивости крутит между пальцами ус.

Керме рассказала о Растяпе, о том, как он впервые заговорил внутри неё. Когда она закончила, седой монгол повернулся к своему спутнику.

— Ты знаешь что-нибудь об этом?

Длинношей издал горлом странный звук.

— Ну, я не уверен. Столько всего происходит в мире каждую секунду.

— Так подумай. Ты мой конь.

— Конь? — переспросила Керме и тут же обругала своё лезущее даже в самые отчаянные минуты наружу любопытство.

Однако седой монгол ответил благожелательно:

— Это мой небесный конь, конь с лебедиными крыльями, который разносит в клюве мои поручения по всем степям и приносит мне обратно новости. Какой народ погиб, какой раскололся на два народа. Где сдвинулась с места скала, где море вышло из берегов. Родились ли у козы в затерянном среди вечных снегов аиле козлятки. Когда кто-то взывает ко мне, перед ним, как верный страж, встаёт мой конь и пропускает ко мне, только если у того доброе сердце и чистые намерения.

Длинношей в сознании Керме из толстого монгола превратился в говорящую лошадь с крыльями и массивным вороньим клювом. Однако от него не веет тем животным теплом, за которое она так любит лошадей, да и в шатёр он прошёл вместе со своим спутником, не нагибаясь и совершенно не смущаясь своей лошадиной натурой.

Может быть, это маленький конь? Керме слыхала, что где-то есть такие породы. Такие, которые можно посадить себе на плечо или спрятать за пазуху. Правда слыхала она исключительно из сказок. Но разве не похоже на сказку всё её путешествие сюда?..

Рассказывались сказки и про столь же маленьких барсов, но в них Керме совсем не верила. Как может быть гордый, редкий и самый опасный хищник южных степей таким маленьким и столь же ласковым?.. Гордость его в таком случае следует уменьшить пропорционально размерам.

— Удивительно, что ты добралась сюда одна-одинёшенька, да ещё по горам.

— Когда было трудно, мне помогал муж. Я, должно быть, сильно обидела его тем, что сбежала из его шатра и отправилась в путешествие в одиночку, поэтому навещает он меня, только когда я посылаю ему зов. А потом уезжает на своём небесном коне пасти отары облаков. Он сердится и дёргает меня за косы. Я понимаю его. Я плохая жена.

— Я предчувствую ...анное, — сказал человек с длинной шеей, как всегда, растеряв половину звуков. Веско хлопнул по бокам руками.

— Жёны даны мужьям, чтобы быть их тенью, — строго сказал седой монгол. — Чтобы служить им и в нужный момент указывать мужу на нужные решения. Жена без мужа — всё равно, что сердце, которое пытается обернуться лягушкой и попрыгать степями и горами вершить великие дела и дорогой ловить комаров. Всё равно, что лёгкое, которое хочет отрастить себе крылья, как у бабочки, и слетать посмотреть, как солнце на закате катится по склону горы Белухи. Ужасная нелепица. — Керме представила, как он облизывает губы, глядя на девочку и качает головой. — Так почему ты ослушалась мужа?

Керме вдруг подумала, что он похож на старый мешок, набитый банальностями. Так вещают (именно вещают! Это слово показалось девушке очень правильным) люди в сказках и легендах. И то, эти люди так часто оказывались в кругу слушателей у костра, когда сказитель данной ему силой даровал героям прошлого, чужих домыслов и вымыслов жизнь, что, казалось бы, им пристало говорить более прозаичным языком.

Оба они всерьёз ждали ответа. Кажется, гостями заинтересовался даже маленький — он отправил в Керме струйку своей крови, вроде как улитка, вытянувшая на усике глаз, и новую порцию боли. И, подбирая слова, пропуская сквозь пальцы песок переживаний и тревог, Керме поведала им про то, как решила на путешествие, которое тогда казалось ей вовсе не таким трудным и далёким. Казалось бы — вот они, горы, прямо под ногами, шагай себе да шагай с вершины на вершину... во всяком случае так было со слов мужа. А оказалось, что на каждой ты не крупнее божьей коровки на склоне холма. На том месте, когда Керме прыгала с облака прямоком на горные пики, между мужчинами стояла настолько густая тишина, что её, казалось, можно было потрогать руками.

— Его отец — Ветер? — спросил седой монгол. Керме подозревала, что даже в её родном аиле, где она с детства жужжала всем желающим в уши, что сужена Ветру, её слова поставили бы под сомнение. Но в устах этого человека звучало только удивление. Никакого недоверия.

— Можно мне ещё воды? — попросила Керме.

Седой монгол поднёс к губам флягу, а после помог ей лечь и устроил голову у себя на коленях.

Длинношейй заскрипел:

— Зачем Ветер спутался со степной женщиной? Нет, она, конечно, достаточно красива, и зубы, словно речные камешки, один к одному... — Керме вновь перенеслась в воображении на конский рынок, где её осматривают, словно племенную кобылу, а покупатель с таким вот крикливым голосом пытается найти в ней изъяны.

— Вы не понимаете. Я была сужена ему с самого детства. С самого детства я игралась с ним, и он знал, что будет моим мужем. Ещё бабка мне рассказывала...

— Я спрошу с Ветра, — перебил длинношейй. — А по поводу твоей овечки... кажется, во мне шевелятся некие воспоминания. И связаны они с жившим здесь когда-то камом.

Седоволосый преисполнился грозности.

— Поведай же мне, мой верный слуга. Твоя бесконечная память, похоже, размякла, как стенки медвежьей берлоги по весне. На голову-то хоть не капает?.. Думаю, я подарю тебе голую скалу в открытом море, на которой ты сможешь выбивать события за каждый свой день и каждый год эту скалу демонстрировать мне. Чтобы впредь ничего не забывал.

— Но это такая мелочь... — попытался выкрутиться длинношейй.

— В моём промысле нет мелочей, — сказал монгол с такой торжественностью, что у Керме заскрипели зубы. От этой торжественности пролётные птицы со всей их гордостью и грацией должны падать замертво, а завораживающее движение мышц под лошадиной шкурой на галопе можно сравнить с колыханием цветка на невнятном, робком полуденном ветерке.

Длинношейй поведал, смущённо хлопая рукавами по бёдрам и путая звуки настолько, что многие слова стали неразличимыми. Тем не менее монгол его понял, а Керме эта история показалась настолько невероятной, что какая-то мистическая связь между маленьким, Растяпой и человеком, который пришёл вопрошать о своей роли в этом бесконечно крутящемся мире, выстроилась сама собой.

— Думаю, тебе следует его похвалить, — недовольно сказал седой. — Он и приполз — не к тебе, но ко мне, как изначально и хотел. И при этом сам собою проявил самую невероятную жертвенность, которую мне доводилось видеть. Поймал всех своих мух одним взмахом руки.

— Пожалуй, так, — в голосе длинношеего Керме услышала что-то такое, что понудило представить его с поджатым хвостом. — Моё ...омнение в хитрости и изворотливости человеческой рассеялось. Они ...итрят, даже когда сами того не осознают... да, да, я знаю, отец, ты скажешь, что здесь не было места низменным побуждениям! Но какова изворотливость — добиться желаемого с самыми высокими помыслами. Это ставит его куда выше меня. Этот малыш многому сейчас меня научил.

Под одобрительное ворчание седого монгола этот же голос взвился одновременно конским ржанием и торжествующим лебединым криком.

— Смельчак! Вы...оди сюда, на свет. Чар, которые на тебя наложили, больше нет, и ты ...ожешь не опасаться за здоровье своей слепой белки. Твоя кровь её убивала, теперь же будет всё наоборот: её кровь излечит твою хворь. Выползай, кукушкин птенец, не прячься. Я хочу! Увидеть! Твоё! Лицо!

Голос обернулся ворохом искр, и тьма в углу шатра её памяти рассеялась. На миг Керме показалось, что она поняла различие между светом и тьмой, поняла даже, что такое цвет и какой цвет у огня. Поняла, как выглядит пламя, та кусачая змея, зубов которой её руки в своё время попробовали немало.

Всё встало на свои места. Двухголовый труп лошади обернулся скомканным походным шатром без опор, и все непонятные предметы вдруг обрели форму и названия. В ведении Керме появились: седло, пропитавшееся запахом лошадиного пота, кривой меч, маленькая дудочка, в звуки которой так приятно вплетать шаги твоего коня во время путешествия. Золотое стремя. Запах гниющей плоти растворился где-то в вышине, под звёздным светом, назойливое мушиное жужжание стало скрипом цикад, под который любая девушка может мечтать, тихо зарывшись в одеяла, до самой полуночи, до первых брызг рассвета — для Керме они всегда выражались капельками росы. У полога ли она спала или ближе к кострищу, в походном ли шатре или в постоянном; эти капельки неизменно находили её щёку и сдабривали предутреннюю дрему, как засушенные травы сдабривают вкус мяса.

— Это всё — вещи твоего сына. Не знаю, понадобятся ли они ему после рождения — это ты спросишь у него сама, — сказал длинношей.

Керме вновь чувствовала биение маленького сердечка. Чувствовала, как внутри вновь происходит обмен кровью и как

боль сходит на нет. Отголоски её ещё прячутся меж рёбрами, но из этих гадючьих яиц уже не вылупятся гадюки. Здесь, в шатре давно почившего и похороненного где-то за рекой кама, она пошевелилась на коленях человека, но он молча придержал её голову: мол, не торопись вставать.

Там, в углу, на шкурах, которые составляли стенки походного шатра, кто-то сидел. Керме впервые за свою жизнь горько пожалела, что не может видеть. Она хотела броситься к малому, обнять его, но голова покоилась на руках седого монгола, и не было сил встать с этой подушки.

— Всеми своё время, — шепнул ей седой монгол, не то в одном мире, не то в другом.

— Как он выглядит? — вопрошала Керме. — Расскажите мне, как он выглядит?

Длинношей хмыкнул.

— Он ...е выглядит. У ...его нет лица. Пока нет.

А потом обратился к сидящему в углу:

— Ты можешь быть доволен. Твоя просьба исполнена.

— Это не так важно.

Голос у маленького, как начисто вычищенный котёл, в котором закипают, словно прозрачная вода из родника, эмоции. Вроде бы и детский, а вроде и нет. Звонкий, как капель, там и намёка не было на хрипотцу взрослого.

— А что ...еперь важно? — насмешливо спросил длинношей.

— То, что я вижу Его. Я Его вижу и не могу насмотреться.

Седой монгол подал голос. Он сказал мягко:

— Смотри лучше на моего слугу. У него птичий клюв и лошадиные копыта, и крылья, а в перьях прячутся руки. Он диковина, какой ты никогда не найдёшь в мире. Я же просто странник по бесконечным землям, и лицо у меня самое обычное.

Маленький молчал, и седоволосый продолжил:

— Ты можешь обращаться ко мне, когда только захочешь. Ты и твой народ. И если ваши просьбы будут достаточно истовы и чисты, я сделаю всё, чтобы они исполнились. Запомни это — нарисуй где-нибудь, запиши... женщина, у тебя здесь что, нет бумаги? («У них есть сказания, — подсказал длинношей. — Эти люди передают всё самое важное в стихах. Это немного неудобно, но зато хорошее искусство. Иногда так поют — заслушаешься!») И когда родишься, расскажи всем. Когда захочешь! Я обещаю, что больше не подошлю к вам своих слуг.

— Отец, — с укором сказал длинношей.

— Не бойся, ты без работы не останешься. Многое нужно делать. Являться во снах сумасшедшим провидцам, которые желают странного, таскать на землю новые души... узнать, в конце концов, что за Ветер обрехотил нашу слепую белку...

— Я запомню, — услышала Керме голос Малого. Она отчаянно пыталась запомнить, какой же у него голос, как же он дышит, чтобы пронести эти воспоминания как можно дольше — хоть до самого рождения. Но голос у него был как степной дождь в начале весны — растрескавшаяся земля впитывала его весь, без остатка. А дыхания будто и не было вовсе.

— Насчёт Ветра, — вставил длинношей. — Я уже слетал и узнал. Это не тот Ветер. Это другой, земной ветер. Не тот, что гоняет по океану белые барашки, а тот, что гоняет по степи белых барашков. Но наш, в смысле — твой, верный слуга тоже приложил руку к судьбе этой женщины.

Голос седого погрубел:

— Думаю, вы слишком уж вмешиваетесь в судьбы людей. Если это так интересно — может, спуститесь и поживёте вместо них одно поколение, а они будут бросаться вами, как игральными костями, и наблюдать, сколько же выпало? А? Каково?

Длинношей сказал поспешно:

— Ветер защищал нашу белку. Сказал, что она ему как сестрёнка, что с самого рождения был ей подмогой и товарищем по играм, а она... он сказал, эта девочка многому его научила. Это и есть самое удивительное. Громокрылый, конечно, проказник и склонен к перепадам настроения, но совсем не сентиментален. Но добиться от него ещё каких-то разъяснений я не смог.

Седоволосый вздохнул.

— Коли так, ладно. Чем больше я брожу по этому болоту, тем сильнее вязнут ноги. Связала, называется, бабка пряжу... вот смотри! Даже разговариваю их поговорками. Пошли отсюда скорее. Вы двое — хорошо бы вам попрощаться. Только не очень долго: всё равно скоро увидите. Да, кстати, вряд ли вы теперь сможете так запросто разговаривать через кровь. Ты отныне станешь обычным семечком, упавшим в благодатную землю, а ты — обычной матерью, пусть и слегка ничего не видящей.

Керме устремила всё своё существо к сидящему в уголке шатра, и тот потянулся навстречу.

— Я буду ждать встречи с тобой, — пришло с током крови. «Я тоже», — хотела сказать Керме, но слёзы сжали её в своих душных объятиях.

Он исчез вместе с шатром в её голове, растворился в водовороте образов, в мешанине запахов, звуков и ощущений, к которым примешивались редкие вспышки света. Осталась только хвоя, что норвила впитаться в тело да запах навоза. Да шёпот листьев, вновь и вновь переживающих события минувшего лета, звон не уснувшей ещё мошкеры и прочие лесные звуки, которые просыпаются, когда рядом никто не суетится и не разводит бурные дела, ломая и подминая под себя хрупкое дыхание степи или горной и лесной местности, как это умеют только люди.

— А вон кто-то уже скачет навесить тебя, — отзвуками ухнуло сердце.

Керме не поняла, кто это сказал: седой ли монгол, длинношей ли его конь. Но перешёптывание прелой листвы на миг замерло, а потом пошло на убыль, растворившись в дробном лошадином топоте.

Содержание

Глава 1. Наран.....	3
Глава 2. Керме.....	25
Глава 3. Наран.....	47
Глава 4. Керме.....	66
Глава 5. Наран.....	80
Глава 6. Керме.....	97
Глава 7. Наран.....	106
Глава 8. Керме.....	137
Глава 9. Наран.....	152
Глава 10. Керме.....	176
Глава 11. Наран.....	190
Глава 12. Керме.....	202
Глава 13. Наран.....	209
Глава 14. Керме.....	227

Литературно-художественное издание

Дмитрий Александрович Ахметшин

ТУДА, ГДЕ СЕДОЙ МОНГОЛ

Роман

Книга издана за счёт средств бюджета Самарской области

Самарская областная писательская организация
искренне благодарит за поддержку и помощь
в реализации проекта

«Народная библиотека Самарской губернии»

***Ольгу Васильевну Рыбакову,
Лидию Алексеевну Анохину***

Руководитель проекта
«Народная библиотека Самарской губернии»

Александр Громов

Художник — *Татьяна Дудинская*
Корректор — *Алексей Сыромятников*

Издание подготовлено издательством

«Русское эхо»

Самарской областной писательской организации
Адрес: 443001, г. Самара, ул. Самарская, 179,
телефон (846) 333-48-01

Подписано в печать 25.06.2014. Формат издания 84x108/₃₂.

Объём 12,6 печ.л. Гарнитура SchoolBookC .

Бумага офсетная. Печать офсетная. Тираж 500 экз.

Отпечатано в типографии ООО «Медиа-Книга»
443070, г. Самара, ул. Песчаная, 1; тел.: (846) 267-36-82
e-mail: izdatkniga@yandex.ru